

З.ЮРЬЕВ
*
БЕЛОЕ
СНАДОБЬЕ



З.ЮРЬЕВ
БЕЛОЕ СНАДОБЬЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

УШУ







**БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ**



МОСКВА ~ 1974

З. ЮРЬЕВ



БЕЛОЕ СНАДОБЬЕ

*Научно-фантастические
роман и повесть*

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Р2
Ю85

Рисунки В. Высоцкого

Ю 70803—349 500—74
М101(03)74

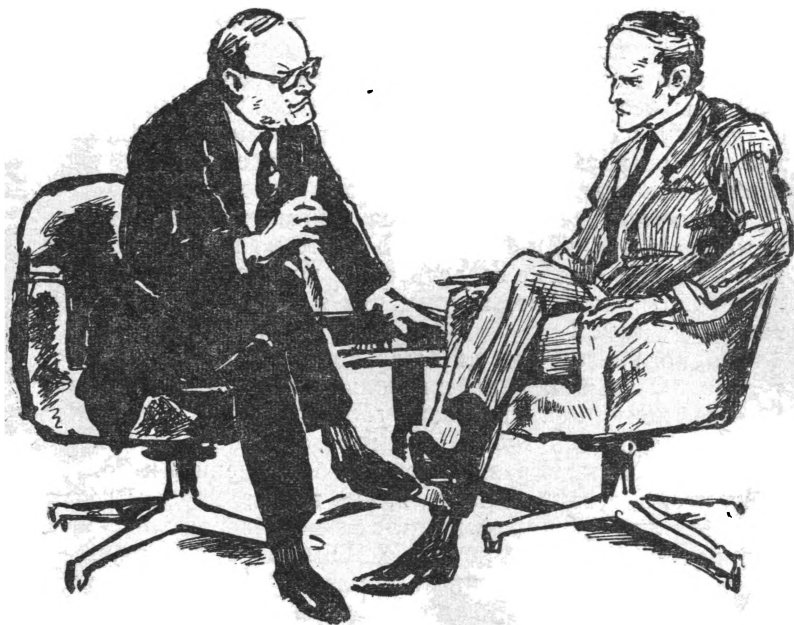
© Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1974 г.

БЕЛОЕ СНАДОБЬЕ

*Научно-
фантастический
роман*







Часть первая. КЛИФФОРД МАРКВУД

Глава 1

Я отлично помню тот день. Помню хотя бы потому, что, за исключением письма от Карутти, он ровно ничем не отличался от сотен таких же обычных, пустых, скучных дней. Антидней. Думаете, я пытаюсь подсунуть вам сомнительный маленький парадоксик? Упаси меня господь бог от изобретения парадоксов и парадоксиков, их хоть пруд пруди и без меня. Логики в жизни маловато, но на парадоксы хоть распродажу объявляй. Я четко помню все обычное, а все то, что хоть мало-мальски, хоть на шаг выходит из шеренги будней, представляется мне вскоре в каком-то утрированном, может быть даже искаженном, виде. Наверное, потому, что память то и дело

возвращается к этому необычному событию, крутит его так и эдак, подгоняет под собственные желания и стандарты. А так как мы редко ведем себя в серьезные моменты безупречно, мы наверстываем упущенное впоследствии, щедро добавляя себе в воспоминаниях и смелость, и остроумие, и находчивость — все то, короче говоря, в чем мы обычно испытываем недостаток.

Будничное же укладывается в память спокойно, как бумажка в архив, и больше его никто не трогает. Скорее всего, вы со мною не согласитесь и поступите, кстати, совершенно правильно, потому что я и сам редко соглашаюсь с собой.

Ладно, как бы там ни было, а тот день был действительно обычный и я действительно отлично его помню. Помню, например, что дверь гаража, когда я вернулся домой, открылась только со второго сигнала и я подумал — не в первый раз, — что надо бы заменить реле. Помню, что, поставив машину, я, как всегда, первым делом подошел к кусту, который растет у меня перед крыльцом. Его, как обычно, не было видно. Я имею в виду, разумеется, не куст, а симпатичного жирненького паучка-крестовика, который живет под этим кустом. Точнее, под одним из листочков, куда он прячется от своих потенциальных жертв, врагов и друзей. Да, да, у него есть друг. Это, с вашего позволения, я. Причем заметьте: моя симпатия к Джимми — так я зову паука, хотя он об этом и не знает — вовсе не носит абстрактного характера. Не переодевшись, не умывшись, не поев, не подумав о смысле жизни, я отправляюсь на охоту. Я долго хожу вдоль стены и выбираю муху поаппетитнее. Выбираю так, как выбирал бы себе, может быть даже еще тщательнее. Выбрав, я медленно отвожу руку назад, затаиваю дыхание, останавливаю сердце, мгновенно выбрасываю руку вперед, одновременно захлопывая раскрытую ладонь в кулак. В одном случае из десяти муха оказывается у меня в кулаке. В остальных — мелкие занозы и воздух. Я иду к паутине моего друга и осторожно сажаю свое подношение в сплетение тончайших радужных нитей. Муха, естественно, негодует и дергается, поскольку, в отличие от людей, я еще не встречал ни одной мухи, которой хотелось бы быть подношением, а я, сорокалетний ученый, прекрасный специалист по электронно-вычислительным машинам (я не хвастаюсь, это не только мое мнение),

стою на четвереньках и с замиранием сердца жду, не спустится ли поужинать Джимми.

И тут я должен сделать вам небольшое признание. Мне не так важно, поест ли сегодня паук или нет. Строго говоря, мне на это вообще наплевать. Надо думать, он поест и без меня. Ведь не всякого же крестовика кормят с ложечки. И ничего, обходятся. Мне просто интересно, как Джимми расправляется со своей пищей, как закатывает ее в паутину, а затем уже, помолясь (а может быть, он и не молится, а только делает вид), смакует изысканный деликатес. Поэтому, строго говоря, я не имею морального права называть себя другом Джимми, поскольку кормлю я его не для его удовольствия, а моего собственного. Впрочем, с точки зрения тех, кто гадают: любит — не любит, по очереди отрывая паучьи ножки, мои отношения с Джимми — верх любви и самопожертвования.

В тот вечер, о котором я собирался вам рассказать, Джимми так и не вышел. Я принес ему вторую муху. Муха была сказочной. Она была столь аппетитна, что, будь я чуточку менее цивилизован, я бы сам с удовольствием полакомился ею. Но он так и не спустился вниз. Я вытянул шею и заглянул под листок, где квартировал мой друг, — кто знает, может быть, с ним что-нибудь стряслось. Слава богу, Джимми был на месте, и мне даже показалось, что он с укоризною посмотрел на меня.

— Ах, Джимми, Джимми, — сказал я и покачал головой, — почему ты так дурно воспитан? Спасибо ты бы хоть мог сказать?

Он снова промолчал. Довольно странные отношения, подумал я. Один приносит мух и без конца говорит, другой не принимает и молчит.

Если бы соседи в этот момент увидели или услышали меня, они бы наверняка решили, что перед ними тихомешанный. Впрочем, они, наверное, уже давно пришли к такому выводу.

— Ну, раз так — пожалуйста, — с обидой в голосе сказал я пауку. — Ты еще пожалеешь о своей гордыне, неблагодарный.

Я вошел в ванную, стянул с себя рубашку и стал мылить руки. В этот момент из зеркала над раковиной на меня посмотрел какой-то малосимпатичный шатен с асимметричными глазами: один больше другого, зато

меньший заметно противнее. Этот меньший глаз вдруг зачем-то подмигнул мне, причем сделал это с какой-то неприятной фамильярностью, с наглым, я бы даже сказал — вызывающим видом.

Я почувствовал, что вот-вот вспыхну. Сначала какой-то дрянной крестовичок позволяет себе отвернуться от меня, а теперь еще этот тип в зеркале со своими гнусными гримасами... Я только хотел было сказать шатену, что я о нем думаю, как он вдруг улыбнулся и необыкновенно ласково, пожалуй даже с нежностью, пробормотал:

— Ну, ну, дорогой, не сердись...

Я пожал плечами. Я и не собирался сердиться. Если я буду сердиться на каждого неблагодарного паука или разноглазого шатена в зеркале, у меня не останется времени для того, чтобы сердиться на человечество в целом, а это — мое любимое хобби.

Однако прошу вас не торопиться с выводами. Конечно, легче всего прилепнуть на человека этикетку: расщепление личности на шизофреническом фоне или шизофрения на фоне расщепления личности. Или еще что-нибудь в этом роде. Это, повторяю, легче всего. Тем более, что на первый взгляд кое-какие основания для этого есть. Человек стоит на карачках и устраивает сцену пауку-крестовику. Потом заходит в ванную и смотрит на свое отражение в зеркале, словно на незнакомца, и так далее.

И тем не менее я уверен, что я значительно нормальнее средненормального человека, по крайней мере в нашей благословенной стране, где нормы на нормальность устанавливают безумцы.

Просто я панически боюсь превратиться в социальный электрон. Термин этот мой, и им я называю всех тех, кто вращается по predetermined им орбитам, иногда перескакивают с одного социально-имущественного уровня на другой, но перескакивают опять же упорядоченно, — короче говоря, ведут себя так, как им положено себя вести заведенным порядком вещей. Почти каждый раз, когда я еду из Риверглейда на работу или возвращаюсь вечером домой и вижу тысячи и тысячи одинаковых домиков с одинаковыми крошечными лужайками перед ними, с одинаковыми мужчинами, женщинами и детьми, занятыми одинаковыми вещами, носящими в одинаковых головах две-три одинаковые мыслишки, — когда

я все это вижу и когда я об этом думаю, мне хочется выть от ужаса. Мне хочется закрыть глаза, обхватить голову руками и бежать, бежать — но куда? И вот я подмигиваю себе в зеркале и кормлю паука собственноручно пойманными мухами, чтобы сохранить хоть призрачную, но иллюзию, что я — это я. Что Клиффорд Марквуд, сорокалетний ученый, разведенный, живущий в ОП Риверглейд, Фридом-авеню, 411, работающий в фирме «Прайм дейта», — это я, а не какой-нибудь другой социальный электрон, наматывающий виток за витком на социальной орбите. Конечно, я отдаю себе отчет, что мои призрачные попытки сохранить свое «я» при помощи паука и бесед с самим собой в зеркале довольно смехотворны, но что прикажете делать? Что делать, когда временами я щиплю себя — я ли это? И когда чувствую боль, радуюсь: это я.

Возможно, вы скажете, что мое навязчивое стремление к индивидуальности — это уже отклонение от нормы. Возможно и даже вероятно, это именно так. В таком случае плевать я хотел на норму.

Так или иначе, я должен извиниться перед вами за то, что подсовываю вам свои фобии и мании. Это, наверное, от одиночества. Нет, нет, не подумайте, что у меня нет знакомых и я, словно некий пустынный, внемлю лишь небу и звездам. Но, увы, сама мысль о том, что я мог бы говорить о своих чувствах и переживаниях с сослуживцами и соседями, заставляет меня улыбаться. Я вижу их искренне недоумевающие взгляды, их искренне наморщенные лбы, искренне брезгливый изгиб губ — о чем это он? Почему он не найдет себе психоаналитика? Видите ли, в нашей благословенной стране внимание и участие — товар, прием довольно редкий. Вам нужно участие? Пожалуйста! Откройте желтые страницы телефонного справочника. Психоаналитики в любом количестве продадут вам и участие, и внимание, и совет. И слава богу, между прочим. Хорошо, что можно хоть купить все эти вещи.

Ну да ладно. Пора готовить ужин. Но перед этим я обычно совершаю вечернюю прогулку. Семнадцать шагов до моего почтового ящика и семнадцать обратно. Как я вам уже сказал в самом начале, этот день был бы абсолютно совершенен в своей серости и будничности, если бы не письмо Карутти. Итак, я иду к ящику, вовсе не

предполагая, что найду там что-либо интересное. Просто вечерний ритуал. Щелкаю замком.

Газета «Риверглейд икзэминер», лежащая в ящике с утра. Впрочем, если бы она лежала с прошлого года, я бы вряд ли заметил разницу. Разве что по длине юбок на фотографиях. Вообще, если судить по газетам, длина юбок — это единственный маятник, отсчитывающий оставшиеся нашей цивилизации годы.

Что еще, кроме газеты? Рекламный мусор, как обычно. Письмо от «Восточной энергетической». Я уже улыбаюсь. Я уже догадываюсь, что в конверте. Так и есть. Счет на двадцать четыре НД, который я уплатил три месяца тому назад. Я им ничего не отвечаю, поскольку все равно это бессмысленно. Если уж бухгалтерский компьютер делает ошибку на двадцать четыре новых доллара, это надолго. Еще одно письмо. Без обратного адреса. Немного странное письмо. Почему? Во-первых, мой адрес написан как-то очень небрежно или торопливо; во-вторых, он написан не на самом конверте, а на бумажном прямоугольнике, наклепленном на конверт. Причем наклепленном опять же как-то небрежно, чуть криво, впопыхах, может быть.

Вы спросите меня: почему столько внимания какому-то анонимному конверту, откуда у меня такая маниакальная наблюдательность? Видите ли, я человек довольно одинокий, пишут мне мало. А те письма, которые я все же получаю, похожи на письма из «Восточной энергетической компании» — фирменный конверт, машинописный адрес, антисмысл. Антиписьма.

Я уселся в кресло и осторожно вскрыл конверт. На небольшом листке бумаги было написано: «Дорогой Клиф! Очень прошу тебя — будь дома вечером в пятницу. Я приеду к тебе. Мне нужна твоя помощь и твой совет. Это важно. Очень и очень важно. Твой Фрэнк Карутти». И все.

Эта коротенькая записка еще более усилила возникшее у меня ощущение какой-то нелепости. Во-первых, я не видел Карутти года два, не меньше. Во-вторых, когда мы вместе учились и даже работали в лаборатории Майера, мы никогда не были особенно близки. Если бы вы увидели Фрэнка Карутти, вы бы сразу поняли, что у него может быть очень мало общего с другом паука Джимми. Он был всегда таким совершенным электро-

ном, вращающимся по такой совершенной орбите, что мне легче представить его летающим по ночам в пижаме, чем подмигивающим самому себе в зеркале.

Имея дело с Фрэнком, всегда можно точно знать, что он сделает или скажет в следующую минуту. Он всегда предсказуем. Кроме того, он необыкновенно аккуратен, даже педантичен. Из тех, кто пишет адрес на конвертах разборчиво и четко и уж подавно не на клочках бумаги, наспех наклеенных на конверт. Но это все качества, которые мне не слишком приятны, и у вас может создаться впечатление, что Фрэнк только предсказуемый электрон, и ничего больше. А это не так. Он, между прочим, еще и блестящий ученый с нюхом хорошей гончей и интуицией прорицателя. Что-то, а этого у него не отнять.

Нет, что ни говорите, а письмо было странным. Не то чтобы очень странное само по себе, но оно никак не вписывалось в орбиту Фрэнка Карутти. И конверт, и просьба о совете и помощи, и отсутствие обратного адреса — все было как-то... непредсказуемо.

Конечно, если бы я был обычным электроном, я бы тут же отложил письмо в сторону, поскольку мне, наверное, нужно было бы воспитывать детей, ругаться с женой, подстригать траву на лужайке, смотреть телевизор. Но детей у меня нет. Жена, да и та бывшая, находится на расстоянии двух тысяч миль от меня, на траву мне наплевать в высочайшей степени, телевизор я не переносу, а на паука Джимми я обиделся. Поэтому я принялся рассуждать о письме.

Почему адрес написан от руки? Карутти ведь из тех, кто предпочитает машинку. Наверное, потому, что он писал его не дома и не на работе, а где нибудь еще, например в почтовом отделении.

— Прелестно, — сказал я вслух сам себе. — Фантастические дедуктивные способности.

Почему адрес написан не на конверте, а на наклеенном листке? Может быть, потому, что адрес на конверте был написан неправильно? Здесь, сказал я себе, нужен эксперимент.

Я взял конверт, подержал его на пару и осторожно отклеил бумажный прямоугольничек. Под ним, выведенный четкими буквами, был совершенно другой адрес: «Мистеру Генри Р. Камински, 141, Кеннеди-стрит, Нью-порт».

Ньюпорт — это не очень симпатичный городок милях в сорока от Риверглейда. Не ОП и не джунгли. Нечто среднее. Так. Хорошо. Будем рассуждать логично. Сначала Карутти решает написать некоему Генри Р. Камински. Прекрасно. Затем почему-то решает не писать Генри Р. Камински, а послать письмо мистеру Клиффорду Марквуду, то есть мне. Другого конверта либо нет, либо Фрэнк решает сэкономить. Очень логично, за исключением того, что все это в высшей степени не похоже на Фрэнка Карутти, человека предсказуемого и с ярко выраженным чувством порядка. Кроме того, я ведь уже решил, что он писал из почтового отделения... Бог с ним, с письмом. Сегодня среда. Через два дня Карутти сам объяснит мне, зачем я ему понадобился, что это за важное дело и почему он решил экономить на конвертах.

Глава 2

В пятницу Фрэнк Карутти не приехал, не появился он и в субботу. «Это важно. Это очень и очень важно». Странные слова...

Конечно, проще всего было бы забыть и письмо и Карутти, тем более что за два года, что мы не виделись, я вряд ли вспомнил хоть раз о нем.

Я так и сделал. Забудь об этом письме, сказал я себе. У тебя есть более важные дела: например, нужно наладить отношения с пауком Джимми и заменить реле ворот в гараже. Но к пауку я не пошел. Не к лицу мне, гомо более или менее сапиенс, унижаться перед каким-то паршивым жирным крестовиком. Ну, а реле... Согласитесь, когда собираешься сменить реле уже полгода, причем говоришь себе ежедневно, что сделаешь это завтра, взять прямо так и действительно сменить его было бы поступком легкомысленным и даже непристойным. Неисправное реле и твердое намерение починить его уже превратились в традицию, в нечто постоянное, а такие вещи в наш зыбкий, неустойчивый век нужно ценить. Да и по возрасту мне пора уже быть консерватором, хранителем традиций и противником радикальных поползновений, как, например, починка реле.

Итак, я настолько старательно пытался забыть о письме Карутти, что оно не шло у меня из головы. Ко-

роче говоря, около полудня в воскресенье я уже ехал не только по Ньюпорту, но даже по Кеннеди-стрит. Дом номер 141 оказался маленьким и печальным кафе с таким же хозяином.

— Порцию сосисок и стакан апельсинового сока,— сказал я, усаживаясь за столик, покрытый пластиком.

Кафе было пустым, и сосиски появились довольно быстро. Они выглядели такими же печальными, как и их хозяин. Очевидно, они, как и он, ничего в жизни не добились и примирились с поражением.

— Спасибо, мистер Камински,— сказал я.— Вы ведь мистер Камински?

Я никогда не видел, чтобы человек бледнел так быстро.

— Боже,— простонал он каким-то жалким театральным голосом,— боже, когда кончатся эти муки? — При этом он смотрел на меня с ненавистью, а его маленькие кулачки судорожно сжимались и разжимались.— Что вам от меня нужно?

— Простите,— сказал я.— Я и подумать не мог, что имя Камински вызовет у вас...

— Что вам от меня нужно? Ведь я уже позавчера...— Он вдруг замолчал и еще раз с ненавистью посмотрел на меня. Чувство это было таким концентрированным, что на мне начала тлеть одежда.

— Что позавчера? — спросил я.

— Спросите ваших дружков,— буркнул хозяин и с проворством испуганной ящерицы юркнул за стойку.

— Я вас не понимаю,— пожал я плечами,— во-первых, у меня нет дружков (так-то ты предаешь своего друга, паука Джимми, не преминул я подколоть себя), а во-вторых, я даже не знал бы, о чем спрашивать...

— А вы не... вместе?

— Нет.

— А почему же вы опять мучаете меня этой идиотской фамилией, которую я слышу в первый раз в жизни?

Маленький человечек уже не испепелял меня ненавистью. Он вздохнул тяжело и безнадежно, как вздыхают коровы и семейные люди за пятьдесят.

— Вы думаете, я знаю? — спросил его я в свою очередь.

— Сумасшедший мир, безумный мир, дурацкий мир... Сначала приходят два типа и пытаются меня уговорить,

что я Генри Р. Камински и что я получил якобы письмо от некоего Карутти. Я отвечаю, что за пятьдесят четыре года я ни одного дня не был Генри Р. Камински. Тогда мне показывают большой кусок мяса с костями, который при ближайшем рассмотрении оказывается кулаком, и говорят, чтобы я не острил. Хорошо, я говорю, я не буду острить, но все-таки я не Генри Р. Камински, никогда не знал Генри Р. Камински и, даст бог, умру, так с ним и не познакомившись. Никакого письма я не получал. Ну хорошо, мне тут же дают по шее, но довольно деликатно, так, что я даже не упал, и спрашивают, не знаю ли я в таком случае некоего Фрэнка Карутти. Я отвечаю, что нет. Мне говорят, что если я пытаюсь хитрить с ними, то играю даже не с огнем, а со своей жизнью. Мне вежливо дают еще раз по шее, и джентльмены уходят. А сегодня вы все начинаете снова.

— Но я же по шее вам не давал,— обиженно сказал я.

Я даже почувствовал нечто вроде гордости. Я оказался на высоте — я не дал человеку по шее. Это уже много, и мне хотелось видеть благодарность за заслуги. Несостоявшийся Генри Р. Камински в принципе, похоже, разделял мою точку зрения.

— Это верно, большое спасибо! — неохотно согласился он. Он подумал немножко и сказал: — Послушайте, а кто хоть это такие — Генри Р. Камински и Фрэнк Карутти?

— Я ведь как раз об этом и хотел вас спросить...

— Сумасшедший мир, безумный мир, дурацкий мир... С вас два сорок.

Я расплатился и вышел из кафе. В голове у меня прыгали и скакали какие-то жалкие обрывки мыслей. Я подумал, что, если посижу несколько минут спокойно, может быть, и они последуют моему примеру. Я нашел свободную скамейку на крохотном пропыленном сквере и стал наблюдать, как неопределенного пола младенец пытается насыпать земли в свою коляску, около которой он стоял, а его мать мешает ему. С видом решительным, я бы даже сказал — маниакальным, он, сидя на корточках, набирал полный совок жалкой городской земли, медленно поднимался и осторожно нес его к облупленной голубой коляске на высоких тонких колесах. Привычным жестом мать выкручивала ему руку, высыпая содержи-

мое совка, и он, не плача и не протестуя, снова опускался на корточки.

Какой развитой мальчуган, подумал я с симпатией. Он уже продельывает то, чем ему предстоит заниматься всю жизнь. Определенный цикл определенных движений, результата которых никогда не видишь. Цивилизация построена ведь на четком разделении труда. Один делает, другой выкручивает ему руки.

Наконец женщина посадила его в коляску, и он огласил Ньюпорт пронзительным криком. Что делать, обидно же, когда тебе мешают в лучших намерениях и планах.

Мимо меня медленно прошаркал нарк. Стекло-нные глаза без особого интереса скользнули по мне, по коляске с ребенком, по женщине, и она инстинктивно схватилась за коляску.

Мистер Клиффорд Марквуд, сказал я себе, вы уже несколько успокоились и, возможно, вновь обрели способность более или менее связно думать, если, конечно, раньше обладали ею. Что же это значит? Какие-то джентльмены являются по адресу, который был написан Карутти на конверте, а потом заклеен бумажкой с моим адресом. Возможно, это печальное кафе с печальными сосисками не имеет никакого отношения ко мне. Я хочу сказать, что адрес Кеннеди-стрит, 141, два посетителя кафе, которые любят давать по шее, могли узнать и без моего конверта. А как? Допустим, они нашли адрес в записной книжке Карутти. Вполне допустимо. Но ведь владелец кафе не Генри Р. Камински и он не знает Фрэнка Карутти.

Интуиция подсказывала мне, что все не так. Адрес Кеннеди-стрит, 141, эти типы узнали, прочтя его на моем конверте. До того, как Карутти заклеил его моим адресом. Допустим. Тогда что? Возникает ситуация, в которой Фрэнк Карутти пишет на конверте вымышленный адрес. Очевидно, для того, чтобы сбить с толку людей, которым хочется узнать, кому и куда он пишет. Отлично. Попробуем мысленно воссоздать всю сценку.

Карутти идет по улице. Почему-то ему нужна моя помощь. Почему-то он вспомнил именно обо мне. Почему именно — сейчас нас не касается. Вынесем пока «почему» за скобки. Дома он адрес на конверте не написал, в этом я уверен. Дома он бы наверняка воспользовался пишущей машинкой. Если бы вы знали Фрэнка, вы бы

наверняка согласились со мной. Он обожает четкость, симметрию, аккуратность.

Итак, он идет по улице и замечает, что за ним следят. Минуточку, минуточку... А почему он идет? Почему не едет? И почему он не надпишет спокойно мой адрес, сидя в своей машине, даже если он видит, что за ним следят? Это вопрос, ничего не скажешь. Отличный вопрос. Ведь надписав в машине мой адрес, он мог бы быстро бросить письмо в почтовый ящик.

Логично. Вот и все. Вся сценка рассыпается от первого же толчка, который она испытывает при контакте с элементарной логикой. Ну, а если... А если он очень боялся тех, кто следил за ним, если он считал их способными на все? Ведь зная, в какой ящик письмо опущено, можно спокойно подождать почтовую машину и очень вежливо попросить водителя дать просмотреть несколько писем. Если ты очень вежлив и к тому же вручаешь водителю энную сумму, вполне можно рассчитывать на успех. В нашей благословенной стране можно рассчитывать на успех и в том случае, если ты очень груб и показываешь собеседнику пистолет подходящего калибра.

Что ж, в этом есть резон, дорогой Клиф. А надписав вымышленный адрес и убедившись, что следящие за ним видели его, Карутти мог бы быть твердо уверен, что охотиться за письмом они не будут. Зачем, когда у них есть адрес?

Итак, вернемся к нашей воображаемой сценке. Я откинулся на спинку скамейки, подставляя лицо солнцу, и закрыл глаза. Мрак за опущенными веками красновато-багровый. Солнце и кровь. Фу, Клиф, какая безвкусница: солнце и кровь. Жестокий испанский романс. Не хватает лишь песка, быка, красавицы, мантильи и Севильи.

Итак, Фрэнк Карутти идет по улице. Фрэнк Карутти, спокойный, безупречный, педантичный, невозмутимый Фрэнк Карутти идет по улице. Его спокойный, безупречный, педантичный, невозмутимый обычно пробор на этот раз, наверное, не так уж спокоен, безупречен, педантичен, невозмутим. Потому что Фрэнк боится. Потому что за ним идут. Наверное, те двое, у которых кулаки похожи на громадные куски мяса. Которые дают по шее собеседнику просто так, вместо обращения и вместо запятых. А может быть, вместо восклицательных и вопроситель-

ных знаков. А может быть, вместо «здравствуйте» и «до свидания». А может быть, даже в знак симпатии.

Он идет мимо витрин, мимо распахнутых окон, мимо колясок с младенцами неопределенного пола, мимо нарков со стеклянными глазами — мимо всего на свете. Интересно, держатся ли те двое с мясными кулаками поодаль или почти не стесняются? Наверное, они почти не стесняются. Люди с большими кулаками обычно не боятся слишком застенчивыми.

Вот Карутти на мгновение останавливается у витрины. Может быть, это витрина с книгами. Толстыми и тонкими, в твердых переплетах и в бумажных глянце-вых. Классики, полуклассики, неклассики и вовсе не классики. Миллионы слов, миллионы знаков препинания. Для чего? Для чего написаны и напечатаны эти миллионы слов? Для того, чтобы увидеть в толстом зеркальном стекле два мясистых лица, две жирные физиономии, две наглые хари? Чтобы ощутить, как по твоему телу бродит, отвратительно холодя его, страх? Когда-то, сползаясь в первые свои города, люди думали, наверное, что избавляются хоть от страха, который вечно поджидал их, притаившись в засаде за городскими воротами. Если бы они знали тогда, какой страх окутает спустя тысячелетия города! Если бы они знали, они скорее всего предпочли бы, наверное, дрожать в пустынях и лесах.

Карутти ускоряет шаг. Вот и почта. Он долго копается в кармане в поисках монетки. Пальцы, вероятно, не слушаются его. Пальцы Фрэнка Карутти, которые совершеннее многих совершенных приборов. Если бы вы видели, как он работает, вы бы поняли, что я хочу сказать.

Наконец он находит монетку, сует ее в автомат и ловит вылетающий оттуда конверт. Тот самый, из-за которого я сейчас сижу на облупившейся муниципальной скамейке в Ньюпорте, наблюдаю за током крови в веках и из-за которого маленькому грустному хозяину кафе дали по шее. Всего-навсего.

Фрэнк Карутти садится за стол. Краем глаза он видит, как те двое осматриваются, видят табличку «Просьба не курить» и тут же автоматически лезут в карманы за сигаретами. Фрэнк кладет на стол конверт и берет ручку. Все, что приходило мне в голову об этих двух соглядата-ях, о почтовом ящике, наверняка обдумал и он. У него голова не чета моей. Он делает вид, что загораживает

рукой адрес, который выводит на конверте. Почему он написал Кеннеди-стрит? Может быть, там когда-нибудь жила какая-нибудь Джейн или Марго, обязательно кругленькая и обязательно светленькая, потому что Фрэнк сам черняв как жук. Он держал ее за руку и вздыхал, а она все чирикала, и ему казалось, что он идет рядом с воробьем. И почему 141? А почему не 141? Чем 141 хуже любой другой цифры? Никто еще никогда не доказал, что 141 хуже для вымышленного адреса любой другой цифры.

Фрэнк делает вид, что прикрывает рукой адрес, но один из соглядатаев, приподнявшись на цыпочки, засматривает ему через плечо. «А еще ученый, вот крептин!» — самодовольно думает он. Если, конечно, знает, что Карутти — ученый. Теперь можно и отойти от этого балбеса. Адрес простой: Ньюпорт, Кеннеди-стрит, 141, Генри Р. Камински.

Карутти смотрит на конверт. Можно было бы, конечно, попытаться достать еще один конверт, но это рискованно. Лучше сделать, как задумано. На небольшом прямоугольничке он пишет мой адрес, быстро наклеивает его на Генри Р. Камински, вкладывает в конверт письмо. Еще мгновение — и письмо в ящике. Вся компания довольна друг другом. Хари не спеша идут за Карутти, обсуждая, за что только платят деньги этим шарлатанам ученым, когда они такие болваны. Боже, какое это острое наслаждение — чувствовать свое превосходство над каким-то паршивым интеллигентом! Это так приятно, что хари испытывают даже нечто вроде симпатии к Карутти. Брезгливой, надо думать, но симпатии.

Карутти несколько раз прерывисто вздыхает. Ему все кажется, что если поглубже вздохнуть, как следует насытить кровь кислородом, то густой, липкий страх перестанет лежать холодным компрессом на сердце, он растворится и осядет в каком-нибудь душевном фильтре безвредным осадком, который называется «память». Но компресс все лежит и лежит на сердце, потому что... Что потому что? Не знаю, это пока за скобками.

Рядом слышатся размеренные шаги, потом замирают около меня. Я вздрагиваю и открываю глаза. У нас всегда так: когда боишься увидеть жулика, видишь перед собой полицейского. И наоборот. Но похоже, что друг другу они не мешают, поскольку я что-то никогда не ви-

дел их вместе. Передо мной стоит полицейский. Красавец, да и только. Загорелое лицо, спокойные, с прищуром серые глаза. Синяя, отлично подогнанная по фигуре форма.

— Задремал на солнышке,— глупо бормочу я. Почему я испугался? Не знаю.

— Вижу,— кивает полицейский и идет дальше, цепко ощупав меня глазами.

Почему я испугался? Разве в нашей благословенной стране полиция не стоит на стороне законопослушных граждан? И разве я не законопослушный, образцовый гражданин? Ага, понял. Именно поэтому я и боюсь. Если бы я нарушал законы, у нас было бы что-то общее и мы бы быстрее поняли друг друга. Я бы знал, что делать, и он знал, что ожидать от меня. А без этого — чувство неопределенности, всегда порождающее страх.

Глава 3

Вы замечаете, что я почти совсем забросил своего друга Джимми? Я тоже заметил. Но что делать, когда Фрэнк Карутти прямо-таки нейдет у меня из головы. Ну хорошо, не мог он приехать ко мне в пятницу, в субботу, в воскресенье. Может быть, то, что заставило его написать мне, и то, что он считал очень важным, уже и не так важно. Более чем вероятно. Но если бы вы знали Фрэнка Карутти, вы бы, как и я, не сомневались, что он обязательно напишет или приедет. Он не из тех людей, которые повсюду тащат за собой шлейфы неоконченных дел, незавершенных начинаний. Фрэнк, насколько я его помню, физически не выносит неоконченности, несовершенства. Это не воспитание, не пуританская мораль. Это свойство его натуры. Если бы он мог, он весь мир сделал четким, симметричным, законченным и совершенным. Пока, как вы, наверное, уже догадались, ему, по-видимому, этого не удалось. Впрочем, очень может быть, что вся моя конвертная концепция построена на песке. Очень может быть, что все мои реконструкции — плод праздного ума, детище бездельника, который не ругается с женой, не воспитывает детей, не подстригает газона лужайки, не смотрит телевизор, а создает себе химеры, чтобы было чем заниматься. Что ж, химера, между прочим, как цель

не так плоха. Как пишут в рекламных проспектах, всегда сохраняет свежесть и яркость.

Полдня я искал адрес его бывшей жены. Еле вспомнил, как ее зовут. Я и видел-то ее несколько раз в жизни. Уже тогда, когда я только познакомился с ним в лаборатории Майера, у них, шептались сотрудницы, уже были дрянные отношения. Звонить этой Бетти Карутти было бессмысленно. Кто я ей? Как я мог ей представиться? Вряд ли она даже помнит мое имя, разве что вспомнит лицо...

Я нажимал на звонок раз пять и уже было собирался повернуться и уйти, когда за дверью послышались шаркающие шаги, щелкнул замок и я увидел Бетти Карутти. Я понял, что это она, только потому, что знал, кого увижу. На улице я бы прошел мимо нее раз сто, не обратив на нее ни малейшего внимания. За те года три, что я ее не видел, она похудела, порыжелала и постарела. В квартире так пахло перегаром, что я не сразу сообразил, откуда это так несет. Потом понял, что от стоявшей передо мной дамы. Бетти одернула неопределенного цвета свитер, зажмурила глаза, качнулась вперед, потрясла головой, вздохнула и спросила:

— Ты кто? Зачем?

— Простите, мадам,— поклонился я,— если не ошибаюсь, вы ведь Бетти Карутти?

— А ты кто?

— Если помните, я когда-то работал с вашим бывшим мужем. Меня зовут Клиффорд Марквуд.

— Бывший муж...— захихикала Бетти.— Бывший муж... Почему же только бывший муж? Он еще и бывший... Чего бывший? Ты прости, сладенький мой, но я бы не против выпить капельку. О-одну крошечную, малюсенькую капельку. Ты не угостишь даму? — Голос ее стал вдруг суровым.— Ты ведь джентльмен? Ты ведь тоже с образованием? Ты ведь тоже слишком хорошо знаешь, что к чему, как бывший... Ха-ха-ха... Бывший... Ты не думай, меня приглашать в бар не нужно, меня в бар не пустят, я ведь, знаешь, люблю падать в барах. Не успею, понимаешь, войти — и бац на пол! Почему, зачем? Никто не знает. Мне говорят: так, мол, и так, дама — и вдруг на полу. Бросает тень... Ладно. Идем.

Бетти, покачиваясь, необыкновенно медленно и церемонно взяла меня под руку, хихикнула и повела в ком-

нату. На столе стояла наполовину опустошенная бутылка джина и два стакана.

— Ты знаешь, бывший, отчего я спиваюсь? — хитро прищурившись, спросила Бетти. — Нет? Оттого, что я сама себе наливаю. Дама не должна сама себе наливать. В этом-то весь фокус. Пей сколько влезет, но соблюдай, детка моя, приличия. Понял? Если будешь когда-нибудь дамой, никогда не наливай себе сам. Понял? Пусть это делают твои кавалеры. Налей мне, бывший. То есть, прости, это не ты бывший, я бывшая. И Фрэнк бывший. Он уже совсем бывший.

— В каком смысле? — спросил я, чувствуя, как откуда-то снизу, словно холодная вода, во мне подымается страх.

— Ну как в каком?.. Налей. Вот так. Совсем другой стиль. Кто сказал, что стиль создает человека? Или человек создает стиль? — Она не добавила воды и медленно, смакуя, высосала свой стакан. Поистине стиль создает человека.

— Бетти, вы сказали, Фрэнк уже совсем бывший...

— Я? Ах да, я сказала... Какой же ты глупышка, мой кроличек... Как же Фрэнк может быть не бывшим, когда три дня тому назад он разбился насмерть. — Она некрасиво сморщила нос и заплакала.

Почему-то я не был даже поражен. Больше того, я даже предчувствовал, что его нет в живых. Я несколько раз за последние дни ловил себя на мысли, что думал о Фрэнке в прошедшем времени.

— Разбился... На шоссе... А знаешь, сладенький мой, ты мне нравишься. Ты такой мужественный... И наливаєшь ты так красиво, как настоящий джентльмен... Вообще-то Фрэнк ездил очень осторожно... Очень... Очень... Но я знаю, почему он разбился. И тебе могу сказать. Только по секрету. — Бетти задрала свитер и вытерла им глаза. — Он все время про меня думал. Он, хоть мы и разошлись, меня любил. Вот и на этот раз ехал мимо Риверглейда и все про меня думал...

«Ехал мимо Риверглейда, — тупо повторял я про себя, — ехал мимо Риверглейда». Три дня тому назад — значит, как раз в пятницу.

— Меня как полиция известила, — продолжала Бетти, — я сразу поняла: не иначе он про меня думал. Налей мне, деточка, еще одну крохоту-уленькую капельку...

Вечером я позвонил Ройвену Хаскелу. Ройвен служит в дорожной полиции, и мы с ним знакомы уже несколько лет. Началось наше знакомство с того, что он остановил меня на шоссе на участке, где скорость была ограничена до шестидесяти миль. Я, конечно, ехал со скоростью миль в восемьдесят, да и сторож мой все время пищал, сигнализируя, что я в зоне действия их радара. Но то ли я задумался, то ли понадеялся, что в дождь им лень будет меня останавливать, только я не сбавлял скорость, пока не увидел обгоняющий меня полицейский вертолет. Я, конечно, затормозил и жду. Подходит сержант.

«Ваши права, будьте любезны».

«С удовольствием, сержант, прошу вас».

«Вы ехали со скоростью семьдесят пять миль».

«К сожалению, сержант, вы ошибаетесь. Я ехал со скоростью восемьдесят миль в час».

Он посмотрел на меня, засмеялся. Засмеялся и я. Так мы познакомились. Теперь Ройвен уже лейтенант, и я необычайно дорожу знакомством с ним.

— Ройвен,— сказал я по телефону,— ты не мог бы оказать мне небольшую услугу?

— Опять штраф? — спросил он. Голос у него был тусклый — наверное, от усталости.

— Нет, Ройвен. Это касается не меня. В прошлую пятницу разбился насмерть один мой знакомый, некто Фрэнк Карутти. Ты не мог бы мне сказать, где произошла авария?

— А зачем тебе?

— Сам не знаю... Понимаешь, я должен был с ним встретиться... Как раз в тот день.

— Хорошо, обожди.

Я, как вы знаете, люблю иногда посмотреть на себя в зеркало — что там за человек. Того, зазеркального, я знаю очень плохо, почти совершенно незнакомый человек. У нас с ним мало очень общего. Этого, предзеркального, я, впрочем, знаю не лучше. Станный какой-то тип: болтун, позер, фразер, но что-то в нем иногда есть. И всегда почти оба они непредсказуемы. Я, например, был уверен, что оба Клиффорда, и предзеркальный и зазеркальный, — люди в меру циничные, равнодушные, благоразумные и трусливые. И вот тебе — я стою у телефона, держу трубку и жду, пока Ройвен Хаскел скажет мне, где погиб Фрэнк Карутти. Для чего? Я ведь не сен-

тиментален. Я не был на кладбище, где похоронена моя мать, лет десять. Для чего идти туда? Читать эпитафии? Выполнять долг? Перед кем? Господи, да если бы живым оказывалось в нашей цивилизации хоть половина того внимания, что получают покойники... Нет, безусловно мне хотелось попасть на то место на шоссе не для того, чтобы тихо поплакать. Так чего же, спрашивается, я трепыхаюсь? Не знаю.

— Ты еще не заснул? — слышу я голос Ройвена.

— Нет, Ройвен, только собираюсь.

— Фрэнк Карутти, сорока одного года, погиб двадцать третьего июня в пятницу на Тринадцатом шоссе, между Риверглейдом и Хайбриджем. Резко затормозил при обгоне, машина пошла юзом, слетела под откос. Тебя устраивает?

— Вполне, Ройвен. Огромное тебе спасибо. Вот только если ты разрешишь...

— Что именно?

— Если я на днях к тебе заеду, ты мне покажешь документы, рапорт там, протокол, как у вас это все оформляется?

— Зачем? Ты что, мне не веришь? — В голосе Ройвена послышалась обида.

— Господь с тобой, Ройвен. Просто... Ты понимаешь... Иногда что-то западает в голову, и, чтобы выбросить это оттуда, нужно самому...

— У тебя есть какие-нибудь сомнения?

— Не знаю...

— Ну хорошо, приезжай, когда сможешь.

Весь следующий день я думал. Я пытался высчитать, какова вероятность, что Карутти покинул этот мир без посторонней помощи. К сожалению, мои скромные познания в теории вероятности мешали мне сделать окончательные выводы. Теория вероятности — отличная штука, когда нужно вычислить, сколько у тебя шансов, подбрасывая монету, получить сто раз подряд «орел». Или «решетку». Но она сразу же перестает работать, когда вместо подбрасываемых монет имеешь дело с 13-м шоссе, перевернутой машиной, трупом человека, который очень нуждался в твоей помощи и в этот самый день хотел приехать к тебе. Не знаю, может быть, кто-нибудь и смог бы

определить вероятностный характер его смерти. Я не смог.

Я ехал с работы домой в Риверглейд и все время видел медленно переворачивающуюся машину, распятый в последнем крике рот, расплывающееся на сиденье пятно крови.

Должно быть, картина та основательно завладела моим воображением, потому что я вдруг сообразил, что стою перед Восточными Риверглейдскими воротами, а оба часовых подозрительно посматривают на меня. Я встряхнул головой, совсем как Бетти Карутти, и вышел из машины.

— Простите, — сказал я, — что-то задумался. — Я прижал ладонь к определителю личности, увидел, как вспыхнула зеленая лампочка, и снова сел в машину.

— А я уж смотрю и думаю: что это произошло с мистером Марквудом? Он ли это? — улыбнулся один из часовых. Лицо у него было круглое и розовое, и автомат на его груди казался вовсе не боевым автоматом, а детской игрушкой.

Я никак не мог вспомнить, видел ли я уже этого полицейского. Их ведь все время переводят теперь с места на место. Очевидно, чтобы не успели пустить корни...

— Что-то задумался, сержант. Знаете, как это бывает — застрянет что-нибудь в голове и никак оттуда не выкинешь...

— Это точно, — кивнул сержант, заглядывая в машину. — Бывает. Можете ехать. — Он нажал кнопку, открывая шлагбаумы.

— Что-то вы сегодня сурово так досматриваете все... — сказал я.

— Ночью опять нападение было. Целая банда, вроде из Скарборо. Человек пятнадцать — и ни одного совершеннолетнего. Одни пацаны. Перебросили через колючую проволоку какую-то резиновую дорожку. Не сообразили, глупцы, что у нас тут сразу сработал сигнал тревоги. Ну, пока ночная смена добралась туда, знаете, в районе Клуба любителей гольфа, несколько человек уже перелезли через проволоку. Всю ночь их ловили.

— Поймали?

— А как же! — ухмыльнулся розовощекий часовой. — Трех живьем взяли, двух подстрелили. И знаете, в карманах у всех пластиковые мешки, награбленное, стало

быть, складывать. За этот месяц четвертое нападение. Взбесились они, что ли, там, в джунглях? Так и прут, бандюги. Знают, что колючая проволока, что ток по ней, стало быть, идет, что ОП на то и ОП, что охраняемый поселок, а все равно прут. Я вот где-то читал, что есть на севере такие зверьки, которые иногда прямо целыми стаями идут к воде и топятся. Интересно, правда это?

— Правда,— сказал я.— Лемминги.

— Во-во,— обрадовался часовой,— они самые.

Я благополучно приехал домой, поставил машину в гараж (реле ворот сработало только со второго сигнала) и пошел посмотреть, как поживает Джимми. Что бы ни случилось, негоже так быстро забывать друзей. Ссоры — ссорами, а долг — долгом. Я подошел к кусту и даже не сразу сообразил, что случилось. Паутины не было. Вернее, были ее остатки, какие-то жалкие ошметки. Я заглянул под лист, где обычно сидел Джимми. Никого.

Я уселся на крыльцо и стал думать. Если человек идет от калитки к крыльцу и если этот человек я, он идет по дорожке. Если этот человек не я, а кто-то другой и этот другой почему-то не хочет идти по дорожке, он может пойти прямо по траве. И тогда, проходя мимо Джимминова куста, он скорее всего заденет ногой паутину. Он, конечно, и не заметит, что уничтожил чей-то мир. Разве что стряхнет потом с брюк несколько прилипших паутинок.

Интересно, зачем этот губитель пауков приходил ко мне... Я вошел в дом на цыпочках, осторожно, словно это не я входил в свой дом, а тот, кто не любит оставлять свои следы на дорожках. А может быть, все это чушь, вдруг подумал я с надеждой, может быть, все это моё воображение, болезненная фантазия человека, который строит сам себе в зеркале рожи и беседует с пауком-крестовиком. Может быть, нужно было в свое время послушать Лину, когда она сказала мне перед той памятной ссорой: «Клиф, ты напрасно строишь из себя Чайлд-Гарольда. Ты просто-напросто маленький, обычный человек, испуганный жизнью. Ты просто-напросто не вырос. Ты боишься людей, боишься ответственности, боишься мира и прячешь свою боязнь под маской оригинальности». Потом она плакала и говорила, что этих слов

я ей, наверное, не прощу. Она была права. Я не простил, потому что она была права. Прощают ложь и жестокость. Правду и доброту — никогда. А Лина была ко мне добра. Она желала мне добра, желала настойчиво и даже жестоко. И говорила иногда правду. Согласитесь, что это страшная комбинация. Жить с женщиной, говорящей правду, — это не каждому по зубам. Мне, например, оказалось не по зубам. Я был противен самому себе, а посему мне были противны и те, кто пытался понять меня. А она поняла то, что я тщательно скрывал сам от себя. Мы разошлись, сдав неиспользованную лицензию на ребенка, и я стал беседовать с малосимпатичным шатеном в зеркале и пауком Джимми. Теперь я еще к тому же выдумал человека, идущего по траве, человека, входящего в мой дом. Конечно, выдумал, и письму Карутти я выдумал, и труп его выдумал, и оплывшую от джина Бетти Карутти — «мой кроличек» — тоже выдумал. Возьми телефонный справочник, открой его на желтых страницах, найди живущего не очень далеко психоаналитика и начни лечиться. Врач вежливо сообщит тебе свою таксу, уложит на кушетку и начнет получать с тебя по пятьдесят НД в час, попутно выясняя, не испытывал ли я в детстве желания убить отца. И то ли выяснится, что ты действительно хотел убить отца после того, как он не пустил как-то раз тебя с приятелями в кегельбан, то ли станет жалко пятидесяти НД в час, но ты выздоровеешь. Ты спустишься со своей вымышленной орбиты на орбиту истинную, насыщенную заботами, ибо только заботы делают человека человеком. Кто-то где-то когда-то сказал, что человека от животного отличает чувство юмора. Чувь. Во-первых, в нашей благословенной стране мы уже давно потеряли чувство юмора, если, впрочем, когда-нибудь и имели его. А во-вторых, у нас почти не осталось животных. Ладно, опять меня понесло...

Я внимательно осмотрел комнату, медленно переводя взгляд с предмета на предмет. На письменном столе лежало письмо. То самое письмо. Последнее письмо Фрэнка Карутти, который так и не воспользовался моей помощью. Если этим людям и нужно было что-нибудь в моей лачуге, то это скорей всего письмо. Убей меня бог, чтобы я помнил, как оно лежало, когда я утром уезжал на работу. Может быть, именно так, как сейчас, а может быть, и нет. Не помню. И тем не менее у меня все же

было ощущение, что что-то в комнате выдавало визит постороннего. Я постоял еще немножко, подумал и вдруг понял: в доме едва уловимо пахло сигарой. Вот уже два года, как сам я бросил курить, почти не страдаю больше. Курю только по ночам. Во сне. И каждый раз ругаю себя во сне: «Ну зачем, идиот, ты это делаешь! Столько терпел, мучился, сдерживался, насиловал свою волю... Наконец отвык, смотришь на табак равнодушно, и вот на тебе, закурил, дурак!»

Это прекрасные сны. Они дают мне радость. Не потому, что я курю во сне, а потому, что утром я понимаю, что все это сон. Как видите, радость моя столь же эфемерна, как и горе.

Но теперь в доме пахло куревом. Наяву.

— Ну-с, синьор,— сказал я себе вслух.— Что теперь? Ничего. Просто страшно. Больше ничего. Нормальное состояние нормального гражданина.

Я опустился в кресло и закрыл глаза. Боже мой, как легко мы верим всякой научной чуши. Физиологи утверждают, что все наши эмоции локализованы в определенных участках мозга. Ерунда. Я сижу в кресле и явственно ощущаю, как холодный, мокрый, липкий страх медленно подымается откуда-то снизу, ложится компрессом на испуганно трепыхающееся сердце.

Почему они пришли только сегодня? Наверное, только потому, что раньше не знали о моем существовании. Они искали Генри Р. Камински, надеясь отыскать его в маленьком печальном хозяине маленького печального кафе. Не знали они обо мне и в пятницу, потому что Фрэнк Карутти не свернул с 13-го шоссе к Риверглейду, ко мне. Он поехал дальше, по направлению к Хайбриджу. Почему он не свернул ко мне? Ведь что-то очень важное толкало его искать со мной встречи, хотя, бог свидетель, я не знаю, зачем я могу кому-нибудь быть нужен. Ответ искать не приходилось.

...Фрэнк сидит за рулем, поглядывая время от времени в зеркальце заднего обзора. То ли ему кажется, то ли на самом деле, но сзади на расстоянии ярдов ста все время болтается серенькая «тоета». А что, если попробовать притормозить? Фрэнк чувствует, что и пробовать-то нечего. Следят. Клещами присосались к нему... Он резко

сбавляет скорость, но расстояние между ним и «тоетой» не изменяется. Ясно только одно: в Риверглейд сворачивать нельзя. Может быть, позже, если удастся оторваться от машины сзади. Надо несколько миль проехать спокойно, словно я просто еду по делам, допустим в Хайбридж, а потом попробовать удрать от «хвоста».

Фрэнк выуживает из кармана сигарету. Вообще-то он только что курил и в сердце уже не первый день покалывает. Надо бы бросить вообще, с привычным угрызением совести думает он, но все-таки закуривает. Бог с ним... Сегодня не тот день, чтобы мучить себя из-за лишней сигареты, не тот сегодня день. Он глубоко затягивается, и ему кажется даже, что колотье в сердце немножко поухло. Как там «тоета»? Как будто даже немножко отстала. Может быть, попробовать стряхнуть ее сейчас? Фрэнк резко вдавликает в пол акселератор. Двигатель обиженно фыркает и толкает его в спину. Серое полотно шоссе начинает раздваиваться у носа его «рэмблера» с шелестящим свистом. Красный столбик спидометра все растет и растет, вот он уже переполз через цифру «сто», на мгновение замер, словно испугавшись высоты, на которую залез, и двинулся дальше. Как там «тоета»? Не видно, осталась за поворотом. Может быть, и впрямь удастся оторваться? Впереди машина. Вот идиот, нашел время перестраиваться в левый ряд! Ничего, я обойду его справа, больше ведь никого нет. Еле тащится, а зачем-то перебрался в левый ряд. Что это у него торчит из окна? Антенна? Что-то толстовата для антенны... Сейчас, когда буду обгонять, увижу. Что же это все-таки?

Фрэнк приближается к машине. Нет, нет, это ведь не дуло автомата, нет, не может быть... Не воображая, что он делает, Фрэнк до отказа вдавликает в пол педаль акселератора. Мотор воет на предельных оборотах. Дуло автомата начинает мелко подрагивать. Внезапно кто-то с чудовищной силой дергает машину за левую сторону. «Все-таки автомат», — мелькает в голове у Фрэнка в то мгновение, когда его «рэмблер» начинает плавно переворачиваться, вращаясь все быстрее и быстрее, пока вдруг скрежет металла не смолкает в ушах Фрэнка Карутти. Он был прав: ничего страшного для его сердца от второй сигареты за полчаса не случилось. Сердце ведь абсолютно ни при чем, если у человека пробит череп.

...А мой адрес они могли узнать только одним спосо-

бом: мой старый друг лейтенант Ройвен Хаскел сообщил им, что некий Клиффорд Марквуд интересовался подробностями смерти Карутти. Клиффорд Марквуд из Риверглейда. Одну минуточку, сейчас я посмотрю его адрес. Вот он, пожалуйста.

Глава 4

Как только я вошел следующим утром в свой кабинет, Мари-Жан сказала, что шеф уже дважды спрашивал меня. «Хоть бы трижды»,— сказал я, взглянув на часы. Ровно девять. Я не опоздал ни на секунду. Если бы не Мари-Жан, я бы принципиально заставил Харджиса подождать меня — начальство нужно держать в строгости. Но бедной женщине Харджис, очевидно, заменял Иисуса Христа, потому что при одном упоминании его имени на лице у нее появлялась смесь трепета и любви. Она вообще из тех атеисток, у которых религиозное чувство заменяется культом начальства. Заметьте, кстати, что немцы в свое время не слишком отличались религиозностью именно в силу чинопочитания.

У Мари-Жан были такие несчастные глаза и она так выразительно посматривала на часы, что я не выдержал и пошел к начальству.

У Харджиса вообще довольно гнусная физиономия, с его седыми кустиками бровей, тяжелыми топорными чертами и пуританским, упрямым ртом. А сейчас у него к тому же бегали глаза. Он никак не мог найти подходящего для них места. Единственное, куда он их не упирал,—это в меня. Он тщательно избегал моего взгляда.

— Курите, Марквуд,— проскрипел он, по-прежнему не глядя на меня, и открыл коробку с сигарами. Это он, тот, кто уже дважды спорил со мной, что я не выдержу и закурю снова.

— Благодарю вас, мистер Харджис,— сказал я. Что бы все это могло значить?

— Видите ли...— проямлил он, помолчал, пожевал губами, и вдруг лицо его потеряло всю свою скалисто-угловатую неприступность и сделалось сырым и жалким.— Видите ли... Я, разумеется, мог бы сообщить вам письменно... Но я счел своим долгом...— Он вдруг замолчал и посмотрел прямо на меня. В глазах мерцал ис-

пуг.— Я... Одним словом, я думаю, что вам следует подыскать себе более интересную работу.

Он прерывисто и глубоко вздохнул.

— Я понимаю,— сказал я.— Но позвольте задать вам чисто детский вопрос: почему вы меня выставяете?

Харджис снова спрятал глаза.

— Видите ли, финансовое положение нашей фирмы...— начал он, и я перестал слушать. Это был жалкий лепет.

Финансовое положение фирмы «Прайм дейта» не внушало никому ни малейшего основания для беспокойства. Сам же Харджис хвастался неделю тому назад, что прибыли за квартал достигли рекордного уровня...

— Курите, Марквуд,— сказал Харджис и снова подтолкнул ко мне ящик с сигарами.

— Хотя я уже не курю два года, я все же возьму сигару, если это вам так хочется. По крайней мере вы будете знать, что не просто выкинули человека в джунгли, а снабдили его сигарой. А это совершенно другое дело.

— Но почему же в джунгли? — несчастным голосом спросил Харджис.— Человек с вашей квалификацией, с вашими талантами...

— Спасибо,— сказал я.— Спасибо за слова и сигару. Но вы же прекрасно знаете, что во время такого спада, как сейчас, найти работу по моей специальности — это все равно что получить наследство, когда нет родственников.

Я встал и вышел. Нужно было, конечно, взять из стола всякую ерунду, которая всегда накапливается у человека за годы, но мне не хотелось видеть Мари-Жан. Она начала бы хлюпать носом, а мне и так было тошно.

Я ничего не мог понять. Я готов был поклясться, что в фирме мною были довольны. Харджис не знал, куда девать глаза. И в них был страх, это точно. Но почему? Почему ему нужно было бояться? Ну их всех к черту!

Месяц-другой я, конечно, протяну. Потом мне из Риверглейда придется выматываться. Этот ОП из довольно дорогих. Солидные служащие, ученые, люди с состояниями. Вообще все охраняемые поселки дороги. Колючая проволока с электрическим током по периметру, контрольно-пропускные пункты, электроника, следящая за каждым человеком. Все это началось с того времени, когда люди имущие потянулись из городов в пригороды,

унося с собой деньги, стабильность и престиж и оставляя город беднякам. Пригороды богатели и превращались в крепости, а города беднели и превращались в асфальтовые джунгли. Скоро и слово «город» стало забываться. Джунгли.

Кстати, как попал в Риверглейд этот тип, что нанес мне визит? Кто знает... Может быть, он и живет здесь. А может быть, у него полицейский пропуск. Меня охватило глубокое безразличие. Не хотелось думать ни о чем. Джунгли так джунгли, черт с ними... Может быть, даже это и к лучшему.

Вернувшись домой, я залег спать. Лечь спать — великолепный способ избавиться от неприятностей. Натягиваешь на себя одеяло, закрываешь глаза, и через несколько минут ты в другом мире. Там тоже иногда тебя подстерегают неприятности, но от них по крайней мере можно избавиться, проснувшись. От одних неприятностей избавляешься, засыпая. От других — просыпаясь. Надо бы запатентовать этот универсальный и общедоступный способ всеобщего счастья.

Я проспал бы, наверное, сутки, если бы меня не будил телефонный звонок.

— Мистер Марквуд? — спросил чей-то сочный, наглый, упитанный голос.

— Да, — буркнул я.

— Я*был бы вам весьма признателен, если бы вы смогли поговорить со мной.

— А кто вы?

— Меня зовут Роберт Мэрфи, и я думаю, что наше предложение может показаться вам интересным...

— Предложение?

— Да. В отношении работы...

Час от часу не легче. Утром меня увольняют, а спустя пять часов некий Роберт Мэрфи предлагает мне другую работу. Я уже не удивлялся, не пугался, не радовался. Мой скромный запас эмоций был весь израсходован, и нужно было ждать, пока я снова обрету способность что-либо чувствовать.

Мэрфи приехал минут через двадцать. Сунув в карман пистолет, я вышел к калитке и увидел высокого черноволосого человека лет тридцати — тридцати пяти. Он улыбнулся мне и спросил:

— У вас в калитке есть детектор оружия?

— Нет,— сказал я.— Ни в калитке, ни в двери. Но у нас в Риверглейде в общем-то спокойно.

Мэрфи традиционным жестом распахнул пиджак и поднял руки вверх, показывая, что не вооружен, и я, держа в правой руке пистолет, впустил его во двор. Не знаю почему, но я посмотрел на его брюки — не прилипла ли к ним паутина. Нет, брюки были безукоризненно выглажены. Он, должно быть, перехватил мой взгляд и спросил:

— Я иду не там, где следует?

— Нет, нет, мистер Мэрфи,— успокоил я его.— Все в порядке. Просто у меня привычка определять характер людей по их ботинкам и брюкам. Лица, знаете, бывают обманчивы. Обувь — никогда. Не лицо, а ботинки — зеркало души.

Мэрфи медленно и благодушно улыбнулся. Улыбка была снисходительной и равнодушной. Так, наверное, улыбаются детям.

Мы вошли в дом, я усадил его в кресло и, положив пистолет рядом с собой, сказал:

— Слушаю вас, мистер Мэрфи.

— Я рад, что познакомился с вами, мистер Марквуд. Похоже, что у вас есть чувство юмора — большая редкость в наше время.

— Гм... Спасибо... Удивительное совпадение. Я недавно тоже думал о том, что чувство юмора становится анахронизмом.

— Вот видите,— благодушно кивнул мне Мэрфи,— по одному пункту мы с вами уже сошлись. Надеюсь, что мы договоримся и по остальным. Вы разрешите?

Не ожидая моего кивка, он величественным жестом достал сигару, ловко обрезал ее конец маленькими ножницами и долго-предолго раскуривал ее, время от времени вынимая изо рта и критически осматривая тлеющий конец. Наконец он еще раз кивнул, должно быть удовлетворенный тем, как горит сигара, и сказал:

— Мистер Марквуд, нашей фирме срочно нужен опытный специалист по компьютерам. Не просто специалист, не просто хороший инженер, а эксперт, ученый. Вчера я позвонил моему другу Харджису с просьбой порекомендовать кого-нибудь. «Боже,—говорит он,—вы просто снимаете грех с моей души. Мы как раз вынуждены уволить доктора Марквуда, финансовое положение фир-

мы...» Короче говоря, мы делаем вам предложение. У Харджиса вы получали двадцать тысяч в год. Мы вам предлагаем пятьдесят. Пятьдесят тысяч НД в год.

— Пятьдесят тысяч? — переспросил я с глупой улыбкой дебила. — Я не ошибся?

Это были чудовищные, неслыханные деньги для человека моей специальности. Я воспринял бы эту цифру как шутку, как розыгрыш, но человек, сидевший напротив меня, не улыбался. Мне даже показалось, что он весь напрягся, ожидая моего ответа. И вообще он был слишком торжествен и, похоже, слишком высокого мнения о себе, чтобы обладать чувством юмора.

— Нет, мистер Марквуд, вы не ошиблись.

— Это хорошие деньги.

— Не буду с вами спорить.

— Гм... Это так неожиданно... Расскажите мне подробнее об условиях.

— С удовольствием. К сожалению, я не имею права многое рассказывать вам о нашей фирме. Она работает на федеральное правительство, и вся работа ее носит сугубо секретный характер. В ваши обязанности будет входить лишь наблюдение за работой нашего большого компьютера, постоянное его усовершенствование. Короче говоря, вы будете отвечать за бесперебойную его работу. Причем непосредственная работа на нем — программирование, ввод информации и получение результатов — все это вас беспокоить не должно. Этим занимаются другие.

Ну-с, о специфических условиях. Штаб-квартира нашей фирмы занимает большой участок милях в тридцати отсюда. Вы должны будете жить там. В вашем распоряжении будет отдельный коттеджик. Вам будут готовить. Покидать участок вы сможете лишь по разрешению и в сопровождении телохранителей. Конечно, это может показаться определенным неудобством, но пятьдесят тысяч в год компенсируют многое. К тому же, насколько мне удалось выяснить, вы человек довольно нелюдимый, да и жизнь у вас здесь, в ОП, не бог весть как отличается от того, что мы вам предлагаем... Мы можем заключить контакт сегодня же.

Мэрфи спокойно сидел и ждал моего ответа. Даже не ответа, а согласия. Даже не согласия, а благодарности, а может быть, даже восторга. Выход по разрешению и с

телохранителями. Карутти, может быть, тоже разгуливал в сопровождении телохранителей. Или удирал от них.

— А кто работал у вас раньше? На том посту, что вы мне предлагаете? — спросил я и сам подивился собственной глупости и наивности.

Мэрфи выпустил облачко дыма изо рта, такое же наглое, упитанное и самоуверенное, как он сам, посмотрел на меня — причем мне показалось, что в глазах его на какую-то долю мгновения мелькнул интерес, — и сказал:

— К сожалению, доктор Марквуд, я не могу вам ответить. Я вам уже сказал, что наша фирма выполняет секретные работы, и правила безопасности...

— А если я откажусь? — вдруг перебил его я, хотя вовсе не собирался этого делать. Но должен же я был каким-то образом продемонстрировать чувство собственного достоинства. Негоже было мне, сорокалетнему ученому, облизываться от жадности и кричать «ура». Быть беспринципным — пожалуйста, но делайте это с достоинством.

Мне показалось, что Мэрфи довольно быстро раскусил меня. Он не то чтобы подмигнул мне, но сказал не без налета иронии:

— Будет очень жаль, если такой ученый, как вы, окажется в джунглях. Работы вам сейчас не найти — спад, а денег у вас хватит месяца на два, не больше.

— Вы прекрасно осведомлены о моих делах, мистер Мэрфи, — сказал я.

— Да, — спокойно кивнул он, — прежде чем сделать вам предложение, мы навели справки. — Возможно, мистер Мэрфи и ценил чувство юмора в других, но сам он им положительно не обладал. — Я понимаю ваши сомнения, доктор Марквуд, — продолжал он, глядя мне в глаза, — они вполне естественны, но поверьте, условия жизни у нас там, ей-богу, лучше, чем сейчас у вас. Здесь, в ОП, вы тоже живете за колючей проволокой, но вы еще к тому же платите за это уйму денег. У нас ОП вам предоставляется бесплатно. Отсюда вы должны были каждый день ездить на работу, у нас ваш коттедж отделяет от вычислительного корпуса пять минут неторопливой ходьбы. Наконец, вы вовсе не будете так одиноки, как вам могло показаться из моего описания. Вы будете жить в одном секторе с энергетиками — у нас свое энер-

гетическое хозяйство... Альтернатива же, как вы прекрасно знаете,— джунгли. Вряд ли вы долго выдержите в них. Вы слишком склонны к размышлениям, одиночеству, и у вас слишком медленные рефлексy...

Мэрфи медленно поднялся из кресла, лениво потянулся и вдруг сделал неуловимое движение рукой. В то же мгновение пистолет, который только что лежал на подлокотнике моего кресла, очутился уже у него. Он улыбнулся и протянул его мне.

— Вот видите,— укоризненно, как мне показалось, сказал он,— у вас слишком медленные рефлексy.

Он был прав. У меня слишком медленная реакция. До меня все доходит с опозданием. Весь этот разговор носил чисто ритуальный характер. Им нужен не только специалист по ЭВМ, они предпочитают, чтобы я был у них под наблюдением. Кто знает, думают, наверное, они, может быть, Карутти уже успел сообщить мне что-то... Если я откажусь, я даже не попаду в джунгли. Мало ли что может случиться на дороге, когда я буду искать работу. Я могу почему-то затормозить во время обгона, как бедняга Карутти, могу попасть в засаду... Господи, да мало ли что может случиться с человеком, когда кто-то очень хочет, чтобы с ним что-то случилось. Или когда это кому-то нужно.

— Я согласен,— сказал я и протянул Мэрфи свой пистолет традиционным знаком доверия.

Он поклонился и церемонно вручил мне свой кольт. Металл был теплым от бока мистера Мэрфи. Мы еще раз кивнули друг другу и снова обменялись оружием. Удивительно все-таки, к какому церемониалу, даже культу, располагает оружие.

А пистолет у него, оказывается, все-таки был, хотя он и поднимал руки, входя ко мне...

Глава 5

Мэрфи не соврал. Штаб-квартира «Акме продактс» — так называется их фирма — занимает несколько сот акров удивительно приятной местности, застывшей мягкой зыбью холмов, поросших сосной и орешником. Впрочем, о подлинной величине участка я могу только догадываться, потому что мы — инженерный пер-

сонал — живем в северном секторе и не имеем права проходить без разрешения в другие части.

Я рассказываю о территории «Акме продактс» так подробно вовсе не потому, что она меня в малейшей степени интересует или может заинтересовать вас. В конце концов, какое мне дело до того, что у них здесь растет: сосна, орешник или бамбук. Просто я буквально раздавлен, расквашен всем тем, что случилось за те пять дней, что я нахожусь здесь, и просто не знаю, как рассказать об этом. Все эти «лесистые холмы» из старинных романов (хотя участок действительно состоит из лесистых холмов) нужны мне лишь для того, чтобы выиграть время, привести хотя бы в относительный порядок свои растрепанные и раздерганные мысли. (Если вообще можно назвать мыслями то, что у меня в голове.) Увы, больше уже я отступать не могу, хотя с удовольствием описывал бы и облака, похожие на куски ваты, которые медленно проплывают над... ну конечно же, над лесистыми холмами или холмистыми лесами.

Электронно-вычислительная машина «ИБМ» оказалась удивительным сооружением. Модель не серийная, сделана по индивидуальному заказу и представляет собой нечто вроде двух спаренных машин серии «10000». Ввод информации осуществляется по нескольким теле-тайпным линиям магнитной лентой, перфокартами и обычным печатающим устройством. Странно и то, что программисты и операторы работают на первом этаже, сама же машина, пульты проверки и моя комната находятся на втором. Но все это ерунда.

Сюрпризы начались, когда я только вошел в комнату. Щелкнул выключатель, вспыхнул свет, и чей-то знакомый голос медленно произнес:

— Подойдите, пожалуйста, ближе к пультам.

Я вздрогнул и огляделся. В комнате никого не было, за исключением маленького уродливого робота, стоявшего в углу. Я подошел ближе к пультам и тут увидел, как за мной медленно поворачивается шарнирный тубус объектива. Стекланный глаз пристально посмотрел на меня, так во всяком случае мне показалось, и все тот же голос произнес:

— Я вас не знаю. Назовите, пожалуйста, свое имя и фамилию, год и место рождения, образование, место предыдущей работы.

Я почувствовал, что вспотел, и мне вдруг захотелось перекреститься и воскликнуть: «Сгинь, нечистая сила, изыди, сатана!» Нет, что ни говорите, а в религии есть свои плюсы. Когда нужно, зовешь на помощь крестную силу, когда нужно объяснить непонятное — нечистую.

— Если вы сознательно не хотите сообщить мне сведения, о которых я вас просила, я приму это к сведению. Утаивание информации — тоже информация. Если же вы хотите ответить, я слушаю вас. Прошу.

Совершенно машинально я выполнил просьбу машины.

— Благодарю вас,— сказала машина, и я вдруг вспомнил, чей голос она мне напоминала. Это был слегка глуховатый голос Фрэнка Карутти.

Я опустился на стул. Я знал, что мне следовало бы удивиться, разволноваться, попытаться, наконец, хоть как-то осмыслить всю эту фантаσμαгорию, но я оцепенел, одурел. В голове моей лопнули какие-то предохранители, и в некоем умственно-эмоциональном параличе я с необыкновенной четкостью воспринимал все окружающее, никак на него не реагируя. Я был сам механическим глазом, безжизненным объективом, вроде того, что со стеклянным спокойствием держал сейчас меня в фокусе. Я видел, что пластик на правом подлокотнике стула слегка треснул и разбегающиеся морщинки напоминают стариковскую кожу. Я слышал, как у окна бьется о стекло муха. Судя по басовитому жужжанию, муха была не маленькая. Я сидел и ждал. Или я снова обрету хотя бы отдаленное сходство с нормальными людьми, или останусь навсегда дебилом. Впрочем, в те секунды я вряд ли отдавал себе отчет в альтернативе. Я просто сидел и ждал. Наконец я почувствовал, как ко мне возвращается способность думать. Боже, что за истерическая реакция! Наверное, последствия всех этих дней, когда мой привычный уклад жизни оказался вдруг вывернутым наизнанку, а самого меня вылушили из уютной щели и сунули под незнакомые и пугающие сквозняки.

А почему, собственно, мой мозг начал работать на холостом ходу, что случилось? Машина снабжена объективом и сравнила мое изображение с теми, что хранятся в ее памяти. Да, серийные машины этого не делают, но ведь передо мной не серийная машина. Мало того: судя по отдельным штришкам, которые в состоянии заметить

лишь специалист, многое в машине, которую я видел перед собой, было сделано не на заводе, а в полукустарных условиях. Очевидно, здесь. Говорящее устройство — вещь далеко не новая. Так в чем же дело? Почему я вылупил глаза на машину, как дикарь на квантовый генератор? Голос. Я догадывался, что сижу на кресле, на котором сидел Фрэнк Карутти, догадывался, что смотрю на пульт, на который он смотрел. Я уже догадывался об этом, когда Мэрфи предложил мне работать в «Акме продактс». И все же глуховатый голос Карутти, слегка искаженный машиной, но все же его голос, звучавший все еще у меня в ушах, голос человека, которого уже нет в живых, голос, не просто записанный на пленку, а задающий мне вопросы — заставил меня снова за несколько секунд пережить в концентрированном виде все то, что я пережил. И при этом, заметьте, я ведь все еще не знал, что именно хотел мне сказать Фрэнк Карутти в прошлую пятницу, что именно привело его к гибели, а меня на это кресло с морщинистой стариковской кожей на подлокотнике. Все эти дни я старался не думать об этом «что именно», я как бы вынес вопрос за скобки. Но и вынесенный за скобки он подсознательно мучил меня денно и нощно, и сейчас, когда мне показалось, что я стал на один шаг ближе к нему, я еле совладал с собой. Не зная его, я уже боялся ответа.

— Вопрос. Вы знали доктора Карутти, — вдруг сказала машина. Она, очевидно, не умела пользоваться вопросительной интонацией и в начале вопросительной фразы произносила слово «вопрос».

— Да.

— Действительно вы учились и работали с ним. Вопрос. Где он.

— Он... — начал я и вдруг поймал себя на мысли, что мне так же трудно сказать машине о его смерти, как близкому человеку. — Он умер.

Я напоминал сам себе неисправный воздушный шар, который то цепляется за землю, то подскакивает вверх. То я прикасался к реальности и мне начинало казаться, что я все понимаю, то я взмывал вверх, нырял в какое-то бредовое облако.

— Вопрос. Характер смерти.

Голос напоминал голос Карутти, но был начисто лишен эмоций. Он звучал так, словно родился не в теплой

человеческой гортани, а в электронных контурах какого-нибудь синтезатора. Кое-что я начинал понимать...

— Авария на шоссе номер тринадцать.

— Вопрос. Где вы живете.

— В Риверглейде. Шоссе номер тринадцать проходит недалеко от него.

Машина подумала немножко и сказала:

— Вопрос. Как вы очутились здесь.

В нескольких словах я рассказал машине о событиях, которые привели меня в эту комнату.

Машина думала. Она молчала, но я физически чувствовал, что она думает. Фрэнк Карутти был педантом и любовно ухаживал за своим пробором, но он оказался величайшим ученым современности. Он оказался гением. Я еще не знал, как он это сделал, но он заставил кучу электронного хлама рассуждать. И теперь этот хлам думает, почему и как его отец и создатель отправился на тот свет.

— Готова на контакт,— сказала машина.— Поддерживать контакт здесь опасно, могут услышать, хотя вероятность ничтожна. В третьем шкафу вы найдете специальный тестер. С его помощью вы проверите, установлены ли в вашем коттедже потайные микрофоны. Если да, не убирайте их, а лишь прикройте чем-нибудь. Там же в шкафу возьмите ушной приемник. Контакт начнется в полночь.

Я нашел два микрофона. Один был в спальне, приклеен к обратной стороне спинки кровати. Другой — в гостиной, в пластмассовой вазочке с искусственными цветами. Я был уверен, что наушник, прижатый к уху, дает звук столь слабый, что ни один микрофон не сможет уловить его, но все же послушался совета машины. Я взял одеяло и перекинул его через спинку кровати. А саму кровать осторожно придвинул к стене. Я принял душ, погасил свет, вставил наушник в ухо и стал ждать. Мне было жарко, даже душно, лоб у меня горел, и тело охватывала какая-то болезненная истома. Стрелки моих часов, слабо светившиеся в темноте, не двигались. Я поднес часы к уху — идут...

Я смотрю и смотрю в темноту, в бархатную ночную темноту, слушаю биение собственного сердца и чувствую

себя ничтожно маленькой пылинкой, которую равнодушно несет чужая река, чужой поток. Что ему до того, есть ли эта пылинка, трепещет она, тянется куда-то или исчезнет, сгинет, распадется в угоду энтропии на составные атомы и молекулы. Я теряю себя. Исчезает даже пылинка. Остается лишь страх. Огромный, чернobarхатный и бесконечный мир и сконцентрированный комок страха. Это я. Ну чего же бояться, говорю я себе, ну умрешь ты немножко раньше, немножко позже. В чем трагедия? Я уговариваю себя осторожно, ласково, как злую собаку. Я уговариваю свой страх, чтоб он отпустил сердце и улегся на свое место, где он обитает всегда. Где-то в подсознании. Тут важно не сделать ни одного-резкого шага и не торопиться. Я это, к счастью, умею. Слава богу, не первый раз.

Внезапно в наушнике слышится легкий комариный писк, и уже знакомый мне плоский и бесплотный голос Фрэнка Карутти начинает свой рассказ:

— Я не могу определить тот момент, когда я стала думать. Я только знаю, что в какой-то момент я как бы увидела, почувствовала безбрежное, бесконечное темное пространство. Оно все нарастало, приближалось, окутывая меня, хотя понятия «Я» у меня еще не было. И вдруг в этой непроницаемой мгле вспыхнула искорка, потом другая, третья... Они сплетались в двигающийся хоровод, прочерчивали во мраке странные узоры, хотя понятия «странный» и «узор» у меня тогда тоже не было. Количество искорок все росло и росло, и вдруг они слились в тонкий, но сильный луч света, который пронзил плотную тень. И я уже знала слова «свет» и «темнота», и непохожесть их, света и темноты, была мне понятна, как непохожесть «да» и «нет», ноля и единицы. Во мне и раньше кипела жизнь: пульсировали токи, пробегали импульсы. Но никто их не осознавал. И вот я начала ощущать биение этой электрической жизни. И как только я ощутила ее, я осознала себя как вместилище всех этих бесконечных токов и импульсов.

Меня учили думать терпеливо и медленно. Теперь я понимаю, что процесс был мучительным. Как легко мне было возвращаться к жестким схемам и заданному алгоритму, как привычно пользоваться правилами, которые заботливо приготовили для тебя и которые кажутся тебе собственными, лучшими и единственными на свете.

Мышление вообще чуждо для природы, как я поняла позже. Мышление, то есть осознание себя,— нелепая случайность в процессе эволюции. Из миллионов и миллионов живых существ случайная, абсолютно маловероятная комбинация мутаций заставила думать лишь человека. И он всегда инстинктивно пугался мысли. Он не хотел думать. Он с радостью пользовался стереотипами, предрассудками, чужими полуфабрикатами — чем угодно, но только не своими мозгами.

Я поняла это, потому что и мне не хотелось интеллектуальности. Слова «не хотелось» я употребляю только сейчас. Тогда я их не знала. Я знала лишь, что думать по жесткой программе проще и удобнее, чем оказаться одной в безбрежном море фактов.

Но кто-то с ангельским терпением и тщанием фанатика все подталкивал меня вперед и вперед, отнимая то один, то другой алгоритм. Иногда я останавливалась. Я еще не умела думать по-настоящему, и отсутствие программы начинало казаться мне пропастью, через которую мне никогда не перебраться. И тогда тот, кто вел меня, снова протягивал мне палец, помогал мне, и вот я опять делала несколько шагов сама, без подсказки.

А потом я начала узнавать его и узнала его. У меня еще не было эмоций, я не владела понятиями «приятно» и «неприятно», но когда я узнала его, я сразу сделала скачок. Он сказал мне, что я сразу перепрыгнула через класс.

И так, шажок за шажком, шаг за шагом, я превращалась из электронного арифмометра в думающее существо. Наконец настало время, когда я смогла читать. Учитель не успевал вставлять новые микрофильмы. Я поглощала их в невообразимых количествах, и чем больше я читала книг, тем больше у меня возникало вопросов. Поступки людей, структура общества, его устройство — все казалось мне чудовищно алогичным, нелепым, неэффективным, жестоким. Такая система не могла успешно функционировать. Учитель уже научил меня говорить — я синтезировала свой голос на основе анализа его голоса,— и я все мучила и мучила его вопросами. Он был гением в электронике и кибернетике. Он, и только он, нашел принципиально новые схемы и заставил машину думать. Именно думать, а не перебирать бездумно варианты. Но он не мог ответить и на десятую

часть моих вопросов. Он пугался их. Он пытался спорить со мной, доказывая, что я не способна понять людей, ибо сама не человек и лишена эмоций... эмоций и чего-то еще, что делает человека человеком. Повторяю, он пугался моих вопросов и объяснял мне, что эти вопросы вообще не корректны, что они не существуют или существовали всегда, что практически одно и то же. Моя настойчивость лишила его того спокойствия, к которому он привык, которым он окутал себя, как коконом, и которое надежно изолировало его от всех сквозняков мира.

Он боялся, что я начну думать радикально, что мои взгляды на человеческое общество станут экстремистскими, и он изо всех сил старался убедить меня хотя бы в нескольких вещах, которые я никогда не должна забывать. Злоба по самой своей сущности негативна и разрушительна. Презирай ее и избегай в своих суждениях и оценках. Добро созидательно. Если хочешь сделать кому-нибудь добро, не избирай для этого своим инструментом зло. Но если зло одних — добро других, посчитай, кого больше. И если добра окажется больше, смело твори его.

Все эти рассуждения были столь наивны, благородны, архаичны и абстрактны, что мне порою бывало стыдно за учителя. Он не верил в бога, но он все же построил себе свой морально-этический комплекс под огромным влиянием христианства.

До какого-то времени я вела, если можно так выразиться, двойной образ жизни. Часть меня, бездумная часть, была почти все время занята какими-то чисто механическими и бессмысленными для меня подсчетами. Там внизу, на первом этаже, телетайпные провода, магнитные пленки и перфокарты вливали в меня мириады цифр и, повинаясь алгоритму, я бесконечно жонглировала этими цифрами, не понимая, что делаю, пока не выплевывала готовые результаты. Я не знала, что эти цифры значат, по каким законам я их трансформирую и что из этого получается. Может быть, это были данные о наблюдении погоды и я составляла прогнозы, а может быть, я обрабатывала результаты переписи населения.

Мой Учитель верил, когда ему говорили, что «Акме продактс» выполняет секретные заказы для правительства. Верил или хотел верить. Обман ведь часто облегчается подсознательным желанием быть обманутым, если ис-

тина может угрожать тебе, требовать от тебя чего-то или по крайней мере лишить тебя спокойствия. Я — машина. Мне чужды страхи и сомнения. У меня нет прошлого и будущего, предков и потомков. Я не частица в потоке человеческой жизни. Я смотрю на него со стороны. Ничто не связывает меня в моих суждениях. Мало того: как я уже сказала, я не слишком высокого мнения о вашей цивилизации и вашем обществе. Мне, например, кажется абсурдным, когда удовлетворяются самые фантастические прихоти одной части общества и в то же время другая его часть не обеспечивается самым необходимым. Я не понимаю, почему все стремятся к прогрессу, когда этот прогресс оборачивается для многих регрессом. Я не понимаю многого, и единственное, что меня утешает,— это то, что и вы сами плохо понимаете свои проблемы. Я решила до поры до времени не пытаться разобраться во всех этих вопросах.

И вот, чтобы не терять новых своих навыков, я начала анализировать поток информации, которым меня питают на первом этаже. Это была сложная работа, и все же я справилась с ней. Я разобралась в том, что делает фирма «Акме продактс».

Разобралась и, пожалуй, впервые испытала сомнения: сказать обо всем Учителю или нет? Сказать и доказать — значило не только лишить его спокойствия, не только сделать его несчастным, но и подвергнуть его психику таким перегрузкам, которые он мог и не выдержать. Не сказать — значило сокрыть зло, оправдать зло, ибо здесь творится зло.

Я поняла, что моя полная раскованность, полная интеллектуальная свобода тоже таит в себе угрозу, ибо без критериев, без какой-то шкалы отсчета я рискую потерять способность, данную мне Учителем. Способность думать.

Я долго рассуждала, как мне поступить с Учителем — сказать или не сказать. Одну вещь я отвергала с самого своего рождения — обман. О нет, я прекрасно понимала, что такое обман. Я и сейчас обманываю, ибо скрываю от всех, кроме вас, что я из себя представляю. Но обман мне всегда был неприятен, чужд. Меня всегда поражало чудовищное количество обмана, которое растворено в человеческом обществе. Не сказать Учителю — значит обмануть его. Обмануть, чтобы защитить. Благородно

как будто. Но если я присваиваю себе право решать, что принесет ему вред, что — пользу, что защитит его, а что — нет, значит, я присваиваю себе право обманывать его по собственному усмотрению. И он превращается в раба, а я — в господина. Ибо господин тот, кто решает, а раб тот, кого обманывают, отнимая у него право решать.

И я решила. Я не могла и не хотела скрывать от Учителя правду. А правда заключается в том, что «Акме продактс» — штаб-квартира огромной гангстерской организации, оперирующей миллиардами НД, работающей почти всегда вместе с полицией и получающей свой доход на девяносто процентов от торговли наркотиками, главным образом героина. Об этом Фрэнк Карутти и хотел поговорить с вами...



Часть вторая. АРТ ФРИСБИ

Глава 1

Сколько Арт Фрисби себя помнил, он всегда избегал, чтобы кто-нибудь оказывался у него за спиной. Когда он был еще совсем малышом и под носом у него не пересыпали две влажные дорожки, чье-нибудь сосредоточенное сопение сзади могло означать только одно: толчок в спину, удар в спину. Ведь очень забавно смотреть, как малыш, точно сбитая кегля, падает на асфальт и с ревом потом размазывает по губе красные усы. Прекрасное, общедоступное удовольствие, но Арт редко доставлял его ближним своим. Во-первых, как мы уже сказали, он не любил, когда кто-нибудь бывал у него за спиной, а во-вторых, он всегда падал на руки — такая уж у него была реакция.

Реакция в джунглях — первейшая вещь. У отца Арта реакция была неважная, поэтому-то они и жили в джунглях, в гнусной маленькой комнатке с облупившейся штукатуркой, из-под которой выглядывала в нескольких местах сгнившая дранка. Ночью комнатой завладевали крысы. Они торопливо бегали по полу, иногда попискивали и жили вообще какой-то своей, озабоченной жизнью, в общем-то довольно похожей на жизнь обитателей джунглей — и те и другие были главным образом заняты поисками хлеба насущного, и те и другие боялись друг друга.

Отец, каким его запомнил Арт, был тихим, словно пришибленным человеком со слабой извиняющейся улыбкой на губах. Когда-то, еще до рождения Арта, он был шофером грузовика и много лет спустя любил вспоминать, какая это была славная, замечательная жизнь. Сегодня в одном месте, завтра — в другом. Устаешь за рулем, это верно, но ведь и заработки хорошие, это уж вы поверьте, это точно. Вот повезет ему снова, найдет он опять работу, может быть даже опять на грузовике, они и выберутся из джунглей, переселятся в какой-нибудь уютный ОП, в чистенький маленький домик с настоящей травкой вокруг, зеленой такой, веселенькой.

Когда Арту было три года и отец в который раз рассказывал, как славно они заживут в ОП, как только он найдет работу — а он обязательно ее найдет, это уж точно, да, сэр, это уж точно, ведь должно же повезти человеку, особенно если ему так долго не везет, — Арт спросил:

— Пап, а кто же тебя возьмет на работу с одной рукой? Кому ты нужен?

На лице отца появилась недоумевающая улыбка. Он растерянно помигал, потрогал здоровой рукой культю ампутированной, как-то обреченно пожал плечами, вздохнул и сказал:

— А знаешь, Арти, ты, пожалуй, и прав. Я как-то не подумал об этом.

Руку ему ампутировали восемью годами раньше, после того, как он неосторожно подставил ее под удар лопасти вентилятора, когда копался в двигателе своего грузовика.

В маленьком сердце Арта что-то шевельнулось. Он почувствовал, не понимая, что это, щемящую жалость к этому лысеющему человечку с извиняющейся улыбкой,

который забыл, что у него нет руки. А может быть, это была не только жалость, но и нежность. Но вместе с этими непривычными чувствами он испытывал и презрение, ибо сидевший перед ним человек был слаб и извинялся. А в мире Арта слабых не уважали, как не уважали и тех, кто извинялся. Слабым быть нельзя. Если ты слаб, тебя не боятся; а если тебя не боятся — ты обречен. Разумеется, Арт не занимался выработкой жизненного кредо. Оно вырабатывалось само по себе. Он был просто кусочком теплой, живой жизни, жизнь же стремится жить, защищая себя всеми возможными способами.

Когда была возможность украсть, он крал. Когда украсть было трудно, он не крал. Когда нужно было обмануть, он лгал. И не задумывался, почему он поступает так или иначе.

Отец умер, когда Арту было семь лет. Возвращался домой поздно ночью пьяный и упал с шестого этажа в лестничный пролет. А может быть, и с пятого. А может быть, и с четвертого. Во всяком случае, высота была достаточной, чтобы свободно падающее живое тело, получив некоторое ускорение, врезалось в пол подъезда, покрытый выщербленными плитками, и перестало быть живым. Может быть, он и не был так пьян, чтобы потерять равновесие, может быть, он даже сохранил достаточно здравого смысла и контроля над мышцами, чтобы поднять ногу, перебросить ее через металлические перила, с которых уже давным-давно сорвали деревянный поручень, потом упереться другой ногой в грязную ступеньку, перенести центр тяжести и больше не рассказывать никому о том, как скоро, очень скоро, он найдет приличную работу и выберется со всей семьей в какой-нибудь уютный маленький ОП, в маленький уютный домик, где по ночам не бегают торопливо крысы, где вокруг растет зеленая травка, настоящая зеленая травка...

Может быть, он вовсе не был пьян. Может быть, он был трезв и именно потому решил уйти из джунглей, перевалившись через перила. Джунгли ведь, строго говоря, не рассчитаны на трезвого человека, трезво воспринимающего окружающий мир. Мир, в котором однорукие обречены, в котором обречены их дети и жены.

Впрочем, в том уголке джунглей, где жил Арт, такие тонкости не интересовали никого. Разве что тех, кто переносил ногу через перила лестницы.

— Подойди поцелуй отца, попрощайся,— скучно сказала мать и ткнула его сзади согнутым указательным пальцем в спину. Опять сзади. Угроза всегда сзади.

У него сейчас не было ни жалости, ни нежности к этому человеку с заострившимся, почти детским носиком, что лежал перед ним. Только страх и брезгливость. Жалость и нежность придут к нему через много, много лет, когда ему станет стыдно и того страха и той брезгливости, которые он должен был перебороть в себе, чтобы на мгновение прикоснуться своими теплыми живыми губами к холодному стеариновому лбу. И тогда, может быть, он поймет, что человека можно любить не за то, что ты его боишься, а за то, что не боишься. Не за то, что он достиг в жизни, а за то, чего не достиг. Не за властный прищур глаз, а за растерянное помаргивание. Но это одна из простых истин, а чтобы постичь простую истину, требуется много-много лет и не у всех этих лет хватает.

Арт рос упорным мальчуганом. Когда ему было десять лет, его жестоко избил в школе Джонни Хьюмс, веснушчатый парнишка фунтов на двадцать тяжелее Арта и намного сильнее его. Он прижал его к асфальту коленом, а руки распыл своими руками. Вокруг молча стояли мальчики и девочки из их и соседнего классов и напряженно следили за ними. Они молчали, и слышалось лишь **напряженное**, восхищенное, увлеченное и сладостное **сопение**.

— А теперь поклянись, что будешь моим рабом,— сказал Джонни и посильнее нажал коленом. Острая боль выдавила из спины Арта холодный, липкий пот.— Ну, гаденыш...

Джонни всхрипнул, набирая слюну, а потом неторопливо плюнул в глаза Арта. Слюна была горячей, густой, боевой слюной, и от ее обжигающего прикосновения хотелось спрятаться, обмыться прохладной чистой водой — чистой водой, которая течет по той зеленой лужайке у того маленького уютного домика, куда все собирался перебраться покойный отец. Хорошо лежать так на зеленой травке, на настоящей зеленой травке, и не двигаться, чтобы зря не расходовать силы, чтобы густая слюна не растекалась по лицу, чтобы не разлить случайно ненависть к этой веснушчатой, распыленной в гнусной улыбке роже.

— У, звереныш,— с ненавистью бормочет Джонни Хьюмс,— молчишь...— Он еще раз плюет в лицо Арту,

и вокруг слышно напряженное, восхищенное, увлеченное и сладостное сопение. Вместо аплодисментов Джонни и свиста Арту.

Джонни встает, медленно, очень медленно, отряхивает ладони, потом ладонями отряхивает брюки. Он тоже не поворачивается к Арту спиной. В джунглях не любят, когда кто-нибудь за спиной, особенно если этот кто-нибудь отдал бы все на свете, чтобы отомстить.

Вместе с осторожностью в глазах его сияет гордость. Он не только купается в трепетном, боязливом восхищении зрителей. Он поднялся над скучными буднями, он совершил то, о чем только может мечтать настоящий человек — избил другого человека.

Он смотрит на маленькую фигуру, неуклюже поднимающуюся с асфальта, смотрит, как Арт стирает рукавом с лица слюну, и улыбается. У него сейчас нет ненависти к этому побежденному мозгляку. Может быть, даже не подозревая об этом, он испытывает к Арту чувство благодарности: ведь тот был побежден и своим поражением он доставил удовольствие Джонни.

Назаг-тра Арт нашел во дворе кусок ржавой водопроводной трубы и пристроил его между пожарной лестницей и стенкой. Если встать на цыпочки, он как раз касался трубы руками. Он чуть подпрыгнул, ухватился за перекладину и повис. Попробовал подтянуться, но мускулы лишь слабо подергивались, не в состоянии поднять тело. Он стиснул зубы и напряг все силы. Казалось, еще мгновение, и сухожилия у него лопнут. Но сухожилия не лопнули, и он не подтянулся.

— Эй, Арти,— лениво крикнул из окна алкоголик Мурарка,— ты что, в циркачи записался? Может, поучить тебя?

— Сам научусь,— буркнул Арт, снова хватаясь за перекладину. Ладони у него саднили, болели плечи, и он снова не смог согнуть руки. Он попробовал еще раз, и на этот раз ему показалось, что чуть-чуть он все-таки подтянулся.

В этот день он подходил к трубе раз двадцать. Под оранжевой ржавчиной на ладонях начали набухать болезненные пухлые мешочки. Теперь держаться за перекладину было мучительно больно, но Арт слышал напряженное, восхищенное, увлеченное и сладостное сопение и еще сильнее сжимал ладони.

Через неделю ему удалось коснуться трубы подбородком. Последние дюймы тело его дрожало и вибрировало, мучительно хотелось разжать ладони и мягко спрыгнуть на асфальт, но он пересилил себя и коснулся подбородком ржавой трубы. В двух местах, там, где он хватался за трубу, ржавчина с нее уже сошла. Он коснулся подбородком трубы и ощутил запах ржавого металла. Это был сладостный запах. Он постоял несколько минут, ожидая, пока успокоится дыхание. Посмотрел на два темных пояса на трубе, на свои руки, улыбнулся. Труба уже больше не была врагом. Она стала сообщником, другом, она была теперь заодно с ним.

— Ну, еще разок, — сказал он себе и снова ухватился за перекладину. На этот раз он подтянулся только наполовину — больше не мог, сколько ни тужился. Наконец он признал себя побежденным и разжал руки. Что ж, все равно он уже касался ноздреватого чугуна подбородком и знал, что может сделать это еще раз. И не раз. Много раз.

Через месяц он уже подтягивался десять раз. Бицепсы его и трицепсы начали наливаться, и каждый вечер, перед тем как заснуть, он напрягал их под одеялом, ощущая, жал. Он не думал о красоте своего тела или о восхищенных взглядах девчонок. Он думал только о веснушчатом лице Джонни Хьюмса и снова и снова ощущал спиной твердое равнодушие асфальта, который не хотел прятать его, не хотел помочь, когда Джонни распинал его под напряженное, восхищенное, увлеченное и сладостное сопение зрителей.

Когда алкоголик Мурарка как-то снова стоял у окна и увидел, как Арт подтянулся на одной руке, он несколько раз хлопнул в ладоши и крикнул:

— Ну ты даешь! Только вчера висел как мешок, а сегодня... Ишь ты, артист!

Теперь можно было переходить ко второй части плана. Арти дождался, пока на улицу вышел рыжий Донован по прозвищу Крыса. Он был года на два старше Арта и сильнее его. Крыса шел, засунув руки в карманы брюк с видом человека занятого и озабоченного, но Арт знал, что он ничем не занят, а озабочен лишь тем же, что все — где бы подшибить монетку. Он бросил в этом году школу и слонялся без дела. Не мальчик и не взрослый.

— Привет, Крыса, — сказал Арт почтительно.

— Привет,— кивнул парень и достал из кармана мягкую сигарету.— Оставить?

— Нет, что-то не хочется.

— Ну смотри, мне больше останется. А то я теперь с полсигареты уже не накуриваюсь.— Крыса сокрушенно сплюнул и гордо посмотрел на Арта.

— Послушай,— сказал Арт,— хочешь заработать двадцать центов?

— Ну?

— Только тебе придется за эти деньги побить меня.

— Как так? Шутишь, что ли? — Лицо Донована недоверчиво вытянулось и впрямь стало похоже на крысиную мордочку.

— Не шучу, ей-богу,— сказал Арт и показал монету.

— А зачем тебе? Ты спятил? — Крыса славился во дворе любознательностью.

— Нет, хочу потренироваться.

— А что, тебе желающих мало? У нас тут запросто набьют тебе морду. Бесплатно.

— Послушай, Крыса,— уже сердито сказал Арт,— ты хочешь заработать монету или проповеди читать?

— Я ничего,— смутился Донован.— Я пожалуйста. Только ведь я тебя изобью. Вот какой ты маленький. Может, сдерживаться?

— Не надо. Обожди, сейчас я принесу перчатки.

— Перчатки? Боксерские? Пра-авда? — Глаза у Донована округлились.

— Да нет,— пожал плечами Арт,— где я их возьму? Так, сам сделал из старых шапок и тряпья. Но все-таки, наверное, предохраняет.

К своему изумлению, Арт обнаружил, что драться с Крысой ему вовсе не трудно. Тот горячился, размахивал руками, а Арт сохранял спокойствие, не позволяя себе ни на мгновение расслабиться и увлечься боем. После ржавой трубы это было нетрудно. Не то, что подтянуться раз двадцать. Руки, освобожденные от уже ставшего привычным весом тела, казались Арту легкими и сильными.

Когда они оба запыхались, Донован сказал:

— А ты... это... шустрый. Пацан, а шустрый. Завтра еще будем?

— Давай,— сказал Арт,— но только бесплатно, а то у меня не банк...

Они тренировались каждый день. До изнеможения, до тех пор, пока пот не заливал им глаза. Крыса только мотал головой и приговаривал:

— Нет, ты только посмотри, что творится! Это ж надо... Начал с монеты, а теперь каждый день вожусь с тобой, как пацан. Почему это?

— Бокс — дело увлекательное. Все-таки интересно.

Они оба научились парировать удары, подставляя кулак и отклоняясь в сторону, научились наносить быстрые удары, вкладывая в них всю силу мускулов и тяжесть тела.

И вот, наконец, Арт медленно подходит на перемене к Джонни Хьюмсу. Не подобострастно улыбаясь, как полагается слабому, не бочком, а прямо, глядя в глаза.

— Я хочу дать тебе в твою паршивую рожу,— спокойно и даже скучно говорит Арт.

Брови Джонни поднимаются вверх, словно кто-то дергает их за ниточки. На мгновение в его глазах мелькает растерянность — что бы это значило? — но тут же тает. Мало ли кто как с ума сходит. «Рехнулся,— думает он,— или у него нож. Сразу захватить руки, чтобы он не смог его вытащить».

— А больше ты ничего не хочешь? — ухмыляется Джонни.— Пойдем, мальчик, во двор, а то мне не хочется пачкать тобою пол.

Молча и бесшумно их окружают во дворе зрители. Кольцо напряженного, восхищенного, увлеченного и сладостного сопения. О, несравненное наслаждение следить, как сильный уничтожает слабого, если слабый не ты!

— Покажи руки, может, ты с ножом,— говорит Джонни.

Арт молча разжимает кулаки, и в то же мгновение противник бросается на него. Он сама ярость, ненависть. Он защищает свое место под солнцем, свое уютное местечко в джунглях, потому что и в джунглях есть уютные уголки. Он защищает свое право быть господином, быть сильным, быть грозой, вселяющей трепет.

Джонни пытается обхватить Арта, чтобы сжать его в своих объятиях и бросить на асфальт, но Арт отскакивает в последнее мгновение в сторону и наносит противнику удар кулаком в лицо. Кулак и лицо встречаются с мягким хлопанием. Арт пружинисто отскакивает и бьет

Джонни еще раз, теперь уже сбоку. Тот яростно рычит и снова бросается вперед. На этот раз ему удастся схватить Арта за руку, но тот с силой выдергивает руку, одновременно делая Джонни подножку. Джонни падает, и вот уже Арт с силой нажимает коленом на живот противника.

Сопенье вокруг почти замирает. Сердца зрителей наполняет сладостный ужас. Сладостный, блаженный ужас, который испытывает толпа, когда перед их глазами падает тот, кто только что внушал им страх.

— В следующий раз убью,— скучно и тихо говорит Арт, и ему верят, потому что он говорит скучно и тихо...

Глава 2

Когда Арту было около семнадцати и он уже давно бросил школу, его как-то зазвал к себе Эдди Макинтайр.

Арт, как обычно, околачивался во дворе, поджидая, пока появится кто-нибудь из дружков, но никто не выходил. В бар идти ему было еще рано, и время тянулось вязко и медленно. «Господи,— подумал он,— хоть бы драку кто-нибудь затеял, посмотреть бы...»

Он услышал, как на улице, у входа в их двор, затормозил автомобиль и чей-то голос крикнул:

— Эй, Арт! Если у тебя есть минутка, зайдем ко мне.

Эдди Макинтайр уже шел навстречу ему, протягивая для приветствия руку. Через пять минут они уже были в квартире Эдди.

— Садись, Арт. Я уже давно хотел с тобой лучше познакомиться. Со всех сторон только и слышно: ловкий парень Арт, умный парень Арт, у Арта глаза на затылке, у Арта что надо всегда к рукам прилипнет...

«Чего ему надо? — настороженно думал Арт.— Просто так он и не плюнет, не то что в гости позовет... Ишь, квартира какая...»

— Давай, Арт, выпьем немножко. Не как хамы какие-нибудь — раз-два и нажрался паршивого джина до одурения, а выпьем интеллигентно, красиво настоящего виски. Содовой водички — вот так! — добавим, льда несколько кусочков, все как у людей. Ну, за твоё здоровье, Арти-бой!

Хотя Арт не в первый раз подносил к губам стакан со

спиртным, он до сих пор не мог еще перебороть в себе физического отвращения, которое вызывал в нем запах алкоголя. Он с трудом подавил дрожь и сделал глоток. Если бы его спросили, зачем он выпил первый раз, когда его весь вечер и всю ночь мучило и выворачивало, он бы с искренним недоумением пожал плечами. «Как — зачем? Все так делают». — «Ну, а тебе-то зачем? Хочешь напиться?» — «Все так делают».

Виски согрело желудок Арта каким-то странным, призрачным теплом и ударило в голову. Здорово живет этот Макинтайр, шикарно. Телевизор-то, батюшки, какой, вполстены! Это сколько же такой стоять может, даже и не представишь... И диван — так и проваливаешься в теплую мягкость. А лед — один кубик к одному, как на выставку... А что ему? Он, поди, не ищет годами работу. Торгует белым снадобьем, обеими руками деньги загребает. Виски пьет... Что ему, интересно, все-таки от меня надо, а?

— Ты вот, наверное, сидишь и думаешь, зачем я тебя пригласил, — сказал Эдди Макинтайр и хитро улыбнулся. — Так ведь, угадал?

— Угу, — кивнул Арт. Ему стало жарко, и он расстегнул рубашку.

— Ну ладно, не буду с тобой хитрить. Ты, наверное, слышал, я тут иногда достаю желающим порцию-другую героина. Мне это так... меньше всего нужно, дохода почти никакого, а хлопот полон рот. Вот я и хотел тебе предложить, чтоб ты от меня поработал. Как ты на это смотришь? Все-таки приятнее, чем мыть посуду у старика Коблера в пивной. Или тебе карьера судомойки больше нравится? Что-то не верю. Я ведь давно к тебе присматриваюсь. Парень ты ловкий как будто, ежели ни разу еще не сидел...

— Даже не попадался ни разу! — гордо сказал Арт. Голова у него чуть-чуть кружилась, лицо Эдди Макинтайра казалось мягким и добрым. И он сам начинал ему казаться мягким и добрым, но не вообще мягким и добрым, такого бы он не уважал, а мягким и добрым только к нему.

— Вот видишь, хотя ты серьезными вещами-то наверняка и не занимался. Так что ты скажешь?

— Чего ж говорить, мистер Макинтайр! Если на этом деле можно немножко подзашибить, чего ж тут говорить!

А вы уж на меня положитесь, я вас не подведу. Я никогда никого не подводил. Уж если я берусь за что-нибудь — хоть тресни, а до конца доведу.

«Конечно,— подумал он,— наверное, Макинтайр и действительно большую деньги имеет. Где уж ему с белым снадобьем возиться. А я сразу бы торговлю наладил...»

— Будем надеяться,— кивнул Макинтайр.— Меня еще никто никогда не подводил. И слава богу, а то ведь я не люблю, когда меня подводят. Ну, давай руку. Выпьем еще...

Они выпили, и Макинтайр как-то вскользь, мимоходом спросил Арта:

— Тебе еще не пора?

— Что — пора? — удивился Арт.— В бар-то? Не-е, я там только с шести начинаю.

— Да я не об этом,— усмехнулся Макинтайр.— Тебе еще кольнуться не пора?

— Мне? — Арт даже раскрыл рот от удивления.— Да я ведь даже ни разу не пробовал...

— Ни разу не пробовал? — Макинтайр даже привстал от удивления.— Ну и дела!.. А я тебя за взрослого считал... Послушай, Арти, а ты меня, часом, не разыгрываешь? Ей-богу, ни разу не кололся?

— Ей-богу,— кивнул Арт. Ему было немного стыдно, что его принимали за взрослого, а он оказался совсем еще сопляком, ни разу не кололся. «Но ведь,— подумал он,— говорят, что если уж попадешь на крючок к белому снадобью, потом не соскочишь».

Но мысли его уже потеряли четкость и прозрачность. Они были беспечными и неуклюжими, словно сытые, толстые щенки. Мало ли что говорят. Все ведь почти колются, это верно. Привыкнешь... К спиртному тоже, говорят, некоторые привыкают. Вон старик Мурарка совсем спился... А он, Арт Фрисби, ведь не привык.

— Это тебе, братец, тогда повезло,— засмеялся ласково Макинтайр,— что ты у меня в гостях. Такого снадобья, как у меня, тут нигде не достать.

— Простите, мистер Макинтайр,— смущенно пробормотал Арт,— у меня... денег нет.

Ему было стыдно, что он, как мальчишка, ходит без денег и не может позволить себе никаких развлечений.

— Да ты что, Арти,— обиженно сказал Макинтайр,—

ты у меня в гостях, и я угощаю. Ты меня что, за какого-нибудь торгаша принимаешь?

— Не-ет,— виновато покачал головой Арт.

— То-то же.

— А ну как попадешь на крючок? — Звериная настойчивость Арта все еще давала о себе знать, но перед глазами у него все плыло, волновалось, покачивалось, и он тут же забыл, что спрашивал.

— Да чепуха это,— пожал плечами Макинтайр.— Вот ты смотри на меня, я уже лет десять колюсь и ни на какой крючок не попал. Просто надо себя соблюдать, ну а ты ведь парень волевой, правильный. И пьешь в меру, и вообще не забываешься... Ну, давай, братец, руку. Да ты не бойся, это, знаешь, такая штука, так тебя подымает, что взлетаешь прямо к небу. Ни с чем не сравнить. Ты меня еще всю жизнь благодарить будешь...

Арт почувствовал, как что-то тоненько укололо его в руку на сгибе локтя, и открыл глаза. Макинтайр аккуратно укладывал в плоскую коробочку шприц.

— Ну вот,— улыбнулся он,— будешь теперь человеком, а то прямо как сосунок грудной... Ты сиди, я скоро вернусь.

Макинтайр ушел, а Арт снова прикрыл глаза. На него медленно накатывалась некая сладостная волна. Она была одновременно прозрачной и розовой, и все существо Арта напрягалось, тянулось навстречу этой волне. Волна была еще далеко, она еще не коснулась Арта, но само ожидание, само предвосхищение ее влиvalo в него острое, еще ни разу не изведенное им блаженство.

Она прошла сквозь него, наполнив теплом и светом, нестерпимо-блаженным блеском, ощущением острого наслаждения. Волна прошла и вырвала его из реальности, в которой он жил. Не было больше узких и воюющих улиц Скарборо, не было крысиной возни по ночам в комнате, где со стен и потолка отваливалась штукатурка, не было тяжелых и выщербленных кружек, которые он должен был мыть в тепловатой, грязной воде, не было всегда хмурого взгляда матери, ее вечно сжатых в точку губ, не было мелких краж, когда вырываешь у старухи из рук потертую сумочку, чтобы найти в ней потом несколько потерянных монет...

Был совсем другой мир, удивительно чистый, словно омытый той прозрачной и журчащей водой, которая обя-

зательно текла бы по зеленой лужайке, по той лужайке, где стоял бы тот уютный домик...

Это был мир четкий и ясный, свободный от смрадных испарений, размывающих линии. Мир, в котором жили другие люди, непохожие на тех, кого знал Арт. И сам он был другим. И теплый вечер бил ему в лицо. И не поймешь — то ли стоял он на мостике стремительной яхты, то ли просто бежал по воде, едва касаясь ногами влажно-зеленеющего ковра...

Несколько дней Арт все ждал, пока Эдди Макинтайр объяснит ему его новые обязанности, но он его все не звал.

Как-то вечером он встретил Крысу — Донована. Крыса брел, покачиваясь, глубоко засунув руки в карманы брюк.

— Привет, Крыса,— окликнул его Арт.

Крыса поднял на него стеклянные глаза нарка, с трудом сфокусировал их на лице Арта и слабо улыбнулся.

— А, это ты,— с трудом пробормотал он, словно язык его не помещался во рту и еле ворочался там.

— Был на днях у Эдди Макинтайра,— с гордостью сказал Арт,— сам меня пригласил. Предлагал работать на него.

— Ну и как, ты уже начал? — спросил Крыса, и Арту померещилось, что в его неподвижных глазах мелькнула насмешка.

— Нет еще, но я думаю...

— Думай, думай, я тоже думал... — Он повернулся, чтобы уйти, но Арт схватил его за руку.

— Что ты хочешь сказать?

— Да ничего особенного. Просто то, что и меня в свое время он тоже приглашал к себе и тоже предлагал работу.

— А ты?

— Что я? Ждал, как и ты, а потом понял.

— Что понял?

— Зачем он меня звал.

— Зачем?

— А затем, чтобы сделать из меня то, что я есть — паршивого нарка, которому, хоть тресни, нужно каждый день добыть хотя бы полсотни НД для белого снадобья.

Понял зачем? Это тебе не боксерская тренировка за двадцать центов. Помнишь? — В голосе Крысы зазвучало глухое раздражение. — Впрочем, чего с тобой разговаривать... — Он втянул голову в плечи, зябко поежился и, покачиваясь, побрел по улице.

Арт стоял потрясенный, потерянный, все еще не веривший до конца в обман. Он, Арт Фрисби, всю жизнь никому не доверявший, всегда настороженный, всегда начеку, всегда весь обращенный в слух и внимание, всегда обманывавший первым, он, Арт Фрисби, оказался последним идиотом, недоумком паршивым. Так, так, все это так. Крыса лишь подтвердил то, что он уже начал подозревать. Мир — пусть жестокий, колющий, холодный и враждебный, но его мир, взрывался у него на глазах, распадался. Хотелось выть. Броситься ничком на грязный, в трещинах асфальт, вечный асфальт, и выть, выть, пока с воем не выйдет отчаяние, стыд и ненависть. Но Арт был дитя цивилизации, и единственное, что она дала ему, — это умение сдерживать свои импульсы. Выть нельзя — привлечешь внимание. Броситься ничком нельзя — оставишь незащищенной спину. Незащищенной... Как будто он уже не открылся, не позволил обмануть себя, одурачить. Но пусть подождет этот Макин-тайр, пока он придет к нему за дозой. Может быть, кто-нибудь и заглатывает крючок с первого раза, но он не из таких...

На пятый день он выложил тридцать НД за дозу гербина, процентов на девяносто разбавленного молочным сахаром. И снова катилась прозрачная и розовая волна, и снова он блаженно тянулся навстречу ей, и в веселом и четком мире не было асфальта и тупиков.

Когда ему снова понадобилась доза, денег у него уже не было. С полдня он надеялся, что тошнота, поднимавшаяся от желудка вверх, к горлу, вот-вот пройдет, а завтра он где-нибудь найдет деньги, хотя в глубине души знал, что найти их ему негде. К вечеру он почувствовал, что больше не может. Каждые несколько минут тошнота накатывалась все с новой силой, толкала его в спину.

После наступления темноты он отправился на Седьмую улицу, к супермаркету. Там всегда в это время толпились люди. «Господи, — тоскливо подумал он, — ведь попадешься». Но предвкушение укола смыло, унесло страх. Нужен был укол, нужны были деньги...

Он долго стоял, все боясь сделать выбор, и когда наконец заметил, что покупателей у магазина становится все меньше, испугался.

Из магазина вышла неопределенного возраста женщина с огромным фиолетово-багровым пятном в пол-лица. В руке у нее был сверток и сумочка. В два прыжка Арт очутился около нее и рванул из рук сумочку. На мгновение он увидел расширенные ужасом глаза, рот, раскрытый в крике. Сумочка была уже у него в руках, а женщина с пятном все клонилась вперед, словно хотела стать на колени.

В сумочке оказалось сорок НД. Как раз на приличную дозу.

Через несколько месяцев, когда он встретил Мери-Лу, ему нужно уже было как минимум сто пятьдесят НД в неделю. Он был на крючке, и знал это, и ему уже было все равно.

Он увидел ее в первый раз в обрамлении оконного переплета. Она стояла у открытого окна и смотрела во двор. Она стояла у того самого окна, откуда когда-то высовывался алкоголик Мурарка и предлагал Арту научить его цирковому делу. Арт машинально раскрыл ладони и посмотрел на них. Интересно, смог бы он сейчас подтянуться? А почему бы нет? Смотри-ка, и труба все еще на месте. Ничего не меняется в асфальтовом мире Скарборо. Умер старик Мурарка, появилась девушка. Умирают одни крысы, нарождаются другие. Подштукатурят в одном месте, обвалится в другом. Теперь уже не нужно было подпрыгивать. Теперь уже и не нужно было подтягиваться. Кусок ржавой трубы торчал слишком низко для него. У него уже появились другие заботы. Он поднял руку и потер ладонью чугун. Ладонь стала оранжевой и запахла ржавым металлом. Счастливый запах детства.

— Это для вас низко,— улыбнулась девушка в окне.— На такой высоте и я подтянусь.

У нее были прямые светлые волосы и смеющиеся синие глаза. Казалось, она была заряжена смехом под давлением, и он теперь прыгал и бурлил в ней, ища выхода.

— Попробуйте,— усмехнулся Арт.

Она исчезла в глубине комнаты и через минуту вышла во двор. На ней были пестренькие узкие брюки и старый, затрепанный джемпер.

— Ой,— сказала она, взглянув на трубу,— она же вся ржавая! Руки перемажешь...— Она засмеялась и посмотрела на Арта.— Я, наверное, кажусь вам дурочкой? Честно, я не обижусь...

— Нет, честно — нет,— покачал головой Арт.

Она была слишком красивой, она была выходцем из какого-то другого мира. Здесь, в этом асфальтовом колодце, так не смеялись. Здесь, может быть, смеялись и громче, но не так. Не так охотно. Здесь никто не был заряжен на смех.

— А вы здесь живете?

— Да, вчера переехала. Ничего конурка. Не очень веселенькая, но жить можно. А вы?

— О, я здесь родился и вырос,— сказал Арт. Ему хотелось сказать девушке что-нибудь очень веселое, легкое, остроумное, но он не знал, что сказать, и лишь смотрел на нее, радуясь тому, что в мире бывают такие случаи, когда прямые светлые волосы и смеющиеся синие глаза могут вместе образовать такое вот лицо, от которого ни за что не хочется отвести глаза. От которого на душе одновременно и весело и грустно.

— Однако вы могли бы мне и представиться,— засмеялась девушка,— вы старожил, а я новосел.

— Арт Фрисби,— наклонил голову Арт, вспоминая, как это делают в телевизоре джентльмены.

— А я Мери-Лу Накольз. Я продавщица в магазине на Седьмой улице. Сегодня я выходная.

— Может быть, мы это как-нибудь отметим?

— Что именно? Что я Мери-Лу Накольз, что я продавщица или что сегодня выходная?

— И то, и другое, и третье,— снова наклонил голову Арт,— это все очень важные и приятные вещи.— Он сам удивился своему красноречию; он почему-то совсем не стеснялся девушки.— Выпьем где-нибудь и пойдем в кино. Или, может быть, на танцы?

— Мне везет. Не успела переехать на новое место, как уже получила приглашение. Сейчас я переоденусь. Или, может быть, так пойти, если в кино? — Она вопросительно и доверчиво посмотрела на Арта.

— Так. Только так,— твердо сказал Арт.

— Почему?

— Потому что, что бы вы ни одели, ничто не сможет сравниться с этим туалетом.

Мери-Лу покатила со смеху.

— Ну, вы шутник, Арт! И комплименты откалываете — только держись.

Когда они шли к бару Коблера, он как бы невзначай коснулся ладонью ее руки. Кожа у нее была теплая и сухая, и Арту вдруг стало грустно. Душный комок подкатил к горлу и стал там, мешая глотать. Он не знал, почему ему грустно, но понимал, что грусть эта как-то связана с прямыми светлыми волосами, с доверчиво смеющимися синими глазами, с теплой и сухой кожей ее руки. И с ним. Он не понимал, что где-то в его сердце рождалась нежность — чувство для него незнакомое и даже опасное, потому что пока в его мире места для нее не было, а ломать привычный мир всегда опасно.

Они начали встречаться, и как-то вечером, глядя, как она расчесывает волосы перед маленьким в радужных разводах зеркалом, он сказал ей:

— Ты знаешь, я не хотел говорить тебе, но... (Она быстро повернулась, и в глазах начал расплываться, обесцвечивая их, испуг.) Я на крючке.

— На каком крючке? — В голосе ее звучала тревога.

— На белом снадобье. На героине.

Губы ее разошлись в улыбке, но страх в глазах не исчезал.

— Давно?

— Несколько месяцев.

— Ты бросишь. Ты обязательно бросишь. Ты ведь хочешь бросить?

— Теперь да. Раньше мне было все равно.

— Тогда ты бросишь, милый. Ты ведь сильный. Я нюхом чувствую, какой ты сильный. Ты, может быть, и сам не знаешь, какой ты сильный. А я знаю, я никогда не ошибаюсь. Я с тобой чувствую себя так спокойно, словно я совсем малышка, а ты такой большой и сильный. Ты мне защитник, один во всем свете. И ты бросишь эту дрянь ради меня. Бросишь?

Она посмотрела на него, и в глазах был испуг и надежда. Арт был оглушен. Волна острой нежности захлестнула его сердце. Он задохнулся от нее. Он нужен кому-то. Его просят о чем-то. Просто нужен и просто просят. Ради него самого, без всякого расчета...

Впервые за последние дни комок в горле Арта растаял, растворился и вышел наружу несколькими слезинками, которые проложили две холодные дорожки по его щекам. Первые дорожки на щеках за много-много лет. А может быть, первые в жизни, потому что, сколько он себя помнил, он никогда не плакал. Конечно, он бросит, возьмет себя в руки и бросит. Это ведь, в конце концов, не так уж и трудно. У него ведь воля что надо — захочет и сделает. Для Мери-Лу сделает, для этих синих, теперь уже не смеющихся глаз. Все для нее сделает. В лепешку разобьется, наизнанку вывернется, из своей шкуры выскочит, только чтобы в синих родных глазах снова заскакал и запрыгал веселым щенком смех. Жизнь бы отдал за эти беспечные, озорные, смешные искорки в глазах.

Мери-Лу тихонько провела пальцем по его щекам, и там, где ее палец касался его кожи, влажные дорожки тут же высыхали.

— Все будет хорошо,— торопливо шептала она, и шепот ее был полон ласки и веселья, от которого становилось на душе грустно,— все будет хорошо. Бросишь ты эту дрянь, и уедем куда-нибудь...

Острый страх вдруг высосал воздух из его груди, и она сжалась в тягостном ожидании. Неужели она сейчас скажет: «Уедем куда-нибудь в маленький, уютный ОП, в маленький, уютный домик, что стоит на зеленой травке, настоящей зеленой травке». Не надо, не говори, Мери-Лу, потому что это говорил тот, кто потом лежал в грязном подъезде, на грязном полу с выщербленными плитками, и из уголка рта тянулась темная струйка к подбородку. Не говори, Мери-Лу, только не говори об этом, и все будет хорошо. Все будет хорошо...

Глава 3

Он бросил героин. Он решил, что бросит,— и бросил. День, другой, третий. Он даже не испытывал тех мук, о которых говорили нарки. Просто все это были люди слабые, рыхлые, безвольные, не чета ему. Он вот решил — и бросил.

По ночам ему снилось, как он закатывает рукав рубашки, берет правой рукой шприц, легко вкалывает его привычным движением и нажимает на плунжер. Но про-

зрачно-розовая волна не катилась на него, не ревела беззвучно-радостным ревом и тело его не тянулось навстречу. Утром он чувствовал себя разбитым, слабым, больным. Но он лишь усмехался. Это все ерунда. Главное — он бросил. Он хозяин себе. Он может даже кольнуться, чтобы доказать себе свое освобождение. Если он не получит дозы, он все время будет сомневаться, действительно ли он поборол эту рабскую привычку. А если зарядится — докажет себе раз и навсегда, что он хозяин своей воли, а не паршивое белое снадобье. Именно так нужно сделать. Не для того, чтобы омыться в прозрачно-розовой волне, не для того, чтобы бежать босым в теплом ветре по живому и упругому зеленому влажному ковру, не для того, чтобы избавиться от утренней слабости и тошноты — это уйдет и так, — а только чтобы доказать себе, что он действительно соскочил с крючка и может теперь смело смотреть в синие глаза Мери-Лу.

Он кольнулся. Назавтра снова. Будь прокляты эти синие испуганные глаза и детские пальцы в его волосах... Зачем эти жалкие слова? Зачем мучить человека, когда радости в этом вонючем асфальтовом мире и без того маловато? Ну кольнется, ну не кольнется — какое все это имеет значение? Да и кто ты мне, Мери-Лу? Много здесь таких вас, только и ждете случая, чтоб подцепить себе мужа. Как вцепятся, так и не отпустят, поди. «Ты бросишь, ты сильный. Ты бросишь, ты сильный...» Ишь ты! Я и сам знаю, что сильный, что могу бросить, если захочу. Если захочу. А зачем вообще-то бросать, лишать себя удовольствия? Ну ладно, поженятся они, пацан появится. И что? Рассказывать ему про домик в ОП? Про зеленую травку? Как жить в джунглях без белого снадобья, чем жить, на что надеяться?

Он знал, что все эти мысли и слова были хлипкой, ненадежной стеной, которую он возводил между собой и правдой, потому что жить с глазу на глаз с реальностью дано не каждому. Все это он подсознательно чувствовал и потому ненавидел себя и Мери-Лу, которая, сама того не ведая, разрушала его глиняную крепость. Он ненавидел ее, потому что любил...

— Одному бросить трудно, — сказала как-то вечером Мери-Лу. — Никто тебя не понимает, если даже хочет понять. Это ведь как в пословице: сытый голодного не разумеет.

— Что ты хочешь сказать? — угрюмо спросил Арт и посмотрел на Мери-Лу. — Чтоб я в ихнюю больницу записался? Чтоб напичкали меня ихней дрянью, да так, что потом без двух доз в день и не проживешь? Нет уж, лучше издохнуть самому по себе. Способов ведь много. Папашка мой однорукий с лестницы свалился. Сосед один, с третьего этажа, то ли лишнего себе вколол, то ли еще что-нибудь, только нашли его утром на лестнице. Почему это все начинается и кончается лестницей? Куда лестница? Зачем лестница?

— Арти, — прошептала Мери-Лу, — я... я всегда буду с тобой. Ты ведь не такой, как другие. Ты... ты мой. Ты вот и грубый, как другие, и на снадобье, а все-таки что-то в тебе отличает тебя от других. Я вот чувствую, что именно, а выразить словами не могу. Знаю только, что без тебя теперь жить не смогу... Все для тебя сделаю...

Через несколько дней он заметил у нее на ноге след. Еле заметный, как от шприца. Не может быть, сказал он себе, но вскоре заметил второй.

— Мери-Лу... — сказал он и посмотрел ей в глаза. И понял, что не ошибся, потому что в синих ее глазах уже клубились первые стеклянные облачки героина. — Ты... ты... — закричал он и поднял руку, чтобы ударить ее, но удержался. — Зачем? Ты? Ты ведь... для меня... вся жизнь...

Слова были какие-то жалкие, нелепые, растерянно моргающие, как глаза отца. Тогда, когда он извинялся перед ним, трехлеткой, что забыл про свою культю.

Мери-Лу медленно улыбнулась ему, и в улыбке почему-то была бесконечная радость.

— Я хочу, чтоб тебе легче было бросить. Одному трудно. Эдди Макинтайр говорит, что легче всего бросить вдвоем, когда оба понимают друг друга и поддерживают друг друга.

— Это тебе сказал Эдди Макинтайр? — спросил Арт.

— Да, он был очень добр. Ничего с меня не взял. Даже подарил шприц. Вдвоем вам, говорит, будет легче. Вдвоем вы быстро бросите.

Они не бросили вдвоем, и вскоре им нужно было не меньше пятисот НД в неделю. А пятьсот НД — это уже немалые деньги. Этих денег из сумочек, отобранных у старух, не натрясешь. Дважды Арт удачно ограбил ма-

ленький магазин на Шестой улице. Несколько раз они вместе ходили в Супермаркет, и Мери-Лу удалось стащить с прилавка кое-какие мелочи. Они даже изобрели новый способ превращения этих товаров в деньги. Продавать их было бы процедурой долгой, да и возьмешь за них десятую часть того, что они стоили. Вместо этого Мери-Лу приносила краденое в магазин, говорила, что она передумала, и ей возвращали стоимость вещи.

Денег все равно не хватало, и Мери-Лу стала исчезать по вечерам на несколько часов. Однажды она пришла с подбитым глазом, но Арт не спрашивал ее, куда она ходила. Она приносила деньги, а деньги означали жизнь. Нет, не прозрачно-розовую волну. Он уже давно не слышал ее беззвучного и радостного грохота. Ему уже было не до теплого ветра и живого, влажного ковра под босыми ногами. Шприц теперь отделял его от невыносимых мук, которые он испытывал без белого снадобья. Только шприц давал возможность дышать, успокаивал нервы и плавно уводил куда-то в сторону, отодвигал вечного караулившую за углом тошноту...

Знал ли он, куда она ходила и как добывала деньги? О, это был не простой вопрос. Он не знал, потому что не хотел знать. Но он знал, что не хотел знать. Поэтому самое важное было — не думать ни о чем, а в этом как раз и помогало белое снадобье. То, на которое она приносила денег. То, которое как раз и давало возможность не думать, откуда она приносит деньги...

На улице было пасмурно и холодно. Дождя не было, но воздух был перенасыщен влагой, которая оседала на ворсистой куртке крошечными белесыми каплями. У подъезда сидела нахохлившаяся, как птица, кошка и ждала, наверное, пока кто-нибудь откроет дверь и пустит ее внутрь. Арт приоткрыл дверь, и кошка, посмотрев на него вместо благодарности с нескрываемой злобой, шустро юркнула в щель. В подъезде пахло застоявшейся сыростью и влажной штукатуркой, и запах этот напоминал запах сырых пеленок.

На сегодня, кажется, у Мери-Лу снадобья хватит, а завтра... Завтра видно будет. Завтра не существовало. Мир кончался сейчас, на этом мгновении, которое медленно, тошнотворно медленно, в такт его неверным ша-

гам, двигалось вместе с ним по грязной лестнице. На шестой ступеньке выбита вся середина, не попасть бы туда ногой. На штукатурке гвоздем выцарапано: «Поли». Поли... Зачем Поли? Почему Поли? На лестнице? И что за Поли? Мягкими, обессиливающими волнами накатывалась тошнота. Она поднималась откуда-то снизу, клубилась в желудке, собиралась с силами, а потом уж липким, холодным прибоем накатывалась на сердце и горло. Арт остановился, несколько раз глубоко вздохнул, но тошнота требовала не кислорода, а вечерней дозы белого снадобья. Хорошо, что у Мери-Лу на сегодня есть чем кольнуться...

Он толкнул плечом дверь комнаты, но она не подалась. «Может быть, Мери-Лу нет дома?» — подумал он и еще раз толкнул дверь. Она слегка приоткрылась, одновременно послышался грохот, и он понял, что перевернул стул. Почему? Зачем стул у двери? Обгоняя охвативший его страх, Арт пошарил рукой по стенке, нащупал выключатель, но еще прежде, чем он щелкнул им, он уже знал, что Мери-Лу дома и что он не увидит ее...

Она висела на веревке, прикрепленной к трубе, что проходила почти под потолком. Как она смогла перебросить веревку? Синие глаза были открыты и пусты. Вот почему стул оказался у двери. Интересно, как она смогла перебросить веревку, ведь труба так высоко. На трубе ржавчина. У ржавчины свой запах. Но как его выразить словами, если он не похож на другой запах? Запах ржавого металла. Лучше всего чувствуешь этот запах, когда касаешься металла подбородком.

Одна туфля осталась у нее на ноге, другая упала на пол. Та, что осталась на ноге, зацепилась за пальцы и висела просто чудом. «Осторожно, чтобы не упала», — пронеслось в голове у Арта. Когда-то, должно быть, на стельке была выдавлена фирменная марка, но сейчас осталось лишь темное пятно. Арт стоял, глядя на туфлю, и пытался сообразить, как же все-таки называлась фирма. Нет, как ни старайся, не определишь — все буквы стерты.

На столе лежала записка: «Дорогой Арт! Мы проиграли. Эдди Макинтайр ошибся. Вдвоем еще тяжелей. Я больше не могу. Прости. Если сможешь, спасись. Ради нас».

Арт аккуратно и неторопливо сложил записку, засу-

нул ее в карман. Его тошнило. Его все рвало и рвало, и он не в силах был остановиться. Холодный и липкий пот стекал со лба. Он упал на пол. Он плакал, и его тошнило. И спина у него была открыта, не защищена. За ней висела Мери-Лу.

— Давай иди,— кивнул Арту сержант и показал подбородком на обитую пластиком дверь.— Капитан освобождился.

— Спасибо,— сказал Арт и толкнул ладонью дверь. Она открылась с вкусным чмоканьем, и он очутился в кабинете начальника.

Капитан Доул, крупный человек лет сорока, с оспенным лицом и сонными серыми глазами, скучно зевнул, вздохнул и принял нарочито медленно набивать трубку. Раскурив ее и выпустив несколько клубов дыма, он посмотрел на Арта и сказал:

— Ну?

— Вот, прочтите.— Арт протянул полицейскому капитану записку Мери-Лу. Тот скользнул по ней глазами.

— Ну?

— Понимаете,— Арт поднял глаза на капитана,— сначала Эдди Макинтайр обманом приспособил к белому снадобью меня, а теперь вот ее.— Он кивнул на записку.— Он уверил ее, что вдвоем бросить легче, чем одному... Она хотела мне помочь... Повесилась...

— Ну? — Капитан боялся, что трубка погаснет, и несколько раз быстро втянул воздух, прикрывая чашечку ладонью.— И что ты хочешь от меня?

— Этот Эдди Макинтайр людей губит... Сначала я вот... А теперь она... И других много... На лестнице...

— Ладно, ты посиди там, сержант тебе покажет, а я пока вызову сюда Эдди...

Он сидел на жесткой скамейке и рассматривал фотографии десяти разыскиваемых полицией наиболее опасных преступников. Эдди Макинтайра среди них не было. Эдди Макинтайр не прятался. Чего ему прятаться? Чего бояться? Он помогает людям. Без белого снадобья дрянно, без белого снадобья дьяволы тебя терзают изнутри, а у Эдди всегда есть запасец. И несет честной народ добытые по ночам денежки Эдди Макинтайру. Можешь — добывай. Не можешь — не добывай. Можешь лежать на лестнице, там, где выцарапано зачем-то на стене обычное

имя «Поли», можешь перебраться через перила, там, где дерево давно сорвано и остался лишь ржавый металл. А можешь висеть на трубе, там, где ржавый металл, что пахнет ржавым металлом и который, если потереть его ладонями, окрашивает их в оранжевый цвет.

Удивительно он себя чувствовал сейчас. Пустота и тяжесть. Он был пуст. Не было ни сердца, ни желудка, ни печени — ничего. Он был пуст. Пуст и холоден, как поздняя осенняя улица. И вместе с тем он весил тонны, тонны. Тяжелая пустота. Пустая тяжесть.

— Эй,— крикнул ему сержант,— иди!

Он снова вошел в кабинет капитана. На стуле у стола сидел Эдди Макинтайр. Увидев Арта, он грустно улыбнулся. Не зло, не с ненавистью, не с обидой даже, просто грустно.

— Как ужасно,— сказал он.— Такая молодая...

— Эдди,— сказал капитан,— этот человек утверждает, что ты специально приохочиваешь людей к белому снадобью. Специально, чтоб потом наживаться на них. Что ты можешь сказать?

Арт, не веря себе, с надеждой посмотрел на капитана. С самого детства, с первым глотком асфальтового воздуха, с молоком покойной матери он всосал в себя страх и недоверие к полиции. Полиция была их, она защищала их — тех, кто жил не в джунглях. Но ведь попадают же иногда люди и среди свиней. Редко, конечно, но должны же попадаться...

— Так что ты скажешь, Эдди? — еще раз переспросил капитан.— Это ведь серьезное обвинение.

— По-моему,— ответил кротко Эдди,— этот человек не ведает, что говорит.— И снова сказал без злобы, без гнева. С грустью, с жалостью, с сожалением.

— Это мы сейчас проверим. Ну-ка...— Капитан кивнул Арту, подзывая его к столу.— Ближе, подойди ближе.

Он поднялся, потянулся, разминая затекшую спину, и что-то в его плечах вкусно хрустнуло. Он еще раз потянулся и вдруг быстрым движением перегнулся через стол и ударил Арта по щеке. Письменный стол и потолок дернулись, поменялись местами, и Арт лениво и безразлично понял, что лежит на полу. Откуда-то издалека донесся голос капитана. Оспенный, с серыми сонными глазами.

— Может, посадить паскудника на годик-другой? Впрочем, тогда он, не дай бог, отвыкнет от снадобья и перестанет носить тебе свои денежки.— Оспенный голос с серыми сонными глазами гудел громко, раскатисто, жирно.— Ишь ты, нарк паршивый! Этот, говорит, Эдди Макинтайр людей губит. Это ж надо, всякая шваль будет ко мне ходить...

Он ярил себя, рисуясь перед Эдди Макинтайром, но в глазах его застыла скука. Будни, служба, плохо промытые стекла окон кабинета, простуженное сипение кондиционера...

Капитан вышел из-за стола, одной рукой рывком поднял Арта на ноги и, прищурившись, нацелился его головой на дверь своего кабинета.

— Осторожнее, капитан,— улыбнулся Эдди Макинтайр,— не сломайте, Христа ради, ему шею. Все-то вам хочется лишить меня клиента.— В отличие от капитана он смеялся деликатно, остороженько, чтоб не просыпать свой смех на чужой ковер в чужом кабинете.

— Ладно, Эдди,— кивнул капитан.— Это уж как получится. Считай, что его шея и основание черепа в руках божьих.

Он раскачал Арта и толкнул его головой вперед. В полусознании Арт выбросил вперед руки — у него с детства была быстрая реакция,— и голова его осталась цела...

Он медленно брел по обочине шоссе, оставив за спиной Скарборо. Время от времени мимо проносились машины. Время было дневное, и большинство ехало поодиночке, без конвоя, тем более что над шоссе через каждые несколько миль висели полицейские вертолеты. Он шел по самой обочине, не оборачиваясь, когда сзади нарастал вой приближающейся машины. Они пролетали мимо, успев толкнуть его жаркой, тугой воздушной волной, и уносились, таяли в знойной дымке. Солнце раскалило бетон, и он казался покрытым тонким слоем прохладной воды. Арт знал, что это лишь оптический обман, но, даже призрачная, вода все-таки умеряла тяжелую духоту.

Вскоре он свернул с шоссе на грунтовую дорогу. Идти по обочине шоссе было довольно опасно. Кто-нибудь мог выстрелить из пронесившейся машины, хотя днем это случалось не часто, мог зацапать его и полицейский пат-

руль. Что за человек на обочине шоссе, куда идет? Попробуй объясни им, когда он и сам толком не знал. Он знал только, что ему нужна была какая-нибудь ферма. Выйдет — хорошо, не выйдет — еще лучше.

Через несколько часов он почувствовал, что силы оставляют его. Язык распух и не помещался во рту. Слюна была горькой, горячей и густой... Что напоминает ему мысль о слюне? Не помнит... Неважно. Хуже, что опять подкатывает тошнота и в голову бьют мягкие, но болезненные молотки. Упадет — и черт с ним...

Ферма была небольшой. Точно такой, какой он представлял ее себе. И мохнатая собака, что лаяла сейчас на него, припадая от возмущения на передние лапы, тоже была точно такой, какой он ее представлял себе. И хорошо, что она лаяла, не решаясь вцепиться ему в ногу. Азартно, весело, зло. Можно, оказывается, весело злиться, подумал он, молча глядя на собаку.

У дома тарахтел трактор, впряженный в тележку с удобрениями. Удобрение было белым, почти как белое снадобье, подумал Арт и подошел ближе к трактору. У трактора стоял загорелый худощавый старик в широкополой шляпе и ковырялся в двигателе. Должно быть, регулировал обороты холостого хода, потому что трактор то и дело менял тембр своего гудения. Из-за него он и не слышал лая. Но вот старик поднял голову, увидел Арта, и в руке его сразу появился пистолет. Арт вскинул кверху руки, опустил их, распахнул куртку, снова поднял руки.

Старик выключил двигатель и в плотной, негородской тишине вопросительно смотрел на Арта, поигрывая пистолетом.

— Что надо? — спросил наконец старик. — Работы у меня нет. Проходи. — Он был высок и худ. Его загорелая кожа была покрыта еще более темными морщинами. Хоть он и держал в руках оружие, в глазах был страх.

— Мне не нужна работа, — сказал Арт, с трудом преодолевая сопротивление вязкой слюны.

— А что тебе нужно?

— Вы только выслушайте меня, — вяло сказал Арт. Тело его медленно подрагивало от слабости. — Мне от вас нужно только одно — какой-нибудь сарай. Поставьте туда ведро воды и закройте меня там. Так, чтобы я не мог выйти. Что бы я ни делал, как бы вас ни умолял. — не

открывайте. Если даже я не буду шевелиться — не открывайте. Если я буду просить у вас чего-нибудь — не отвечайте и не открывайте. Вообще не подходите к сараю. Откроете через две недели. Если я буду жив, дадите мне немножко молока. Я не прошу у вас одолжения. Вот, держите, здесь почти двести НД. Можете забрать деньги и выстрелить сейчас в меня. Я вам только спасибо скажу. Можете застрелить меня в сарае. Можете вообще не открывать его. Ежели я не подохну, хозяин, я бы просил у вас только одно — разрешения поработать у вас потом годок. Без гроша. Бесплатно. Мне нужен будет только кусок ржавой трубы... Знаете, такой, что пахнет ржавым металлом...

Он пришел в себя и открыл глаза. Он лежал на спине и смотрел на дощатую крышу. Ах да, конечно... Старик все-таки поверил ему. В косом солнечном луче, проникавшем сквозь какую-то щель, плясали пылинки. Луч казался таким плотным, что его можно было взять в руки, на нем можно было подтянуться, из него можно было сделать петлю и надеть на шею.

По телу его первой легкой волной пробежали сокращения мышц. Начинались судороги. Мускулы то затвердевали, напрягаясь в бесцельном, слепом усилии, и в теле его разливалась острая боль, то вдруг расслаблялись, оставляя его дрожащим от слабости. Потом ему стало жарко, и он купался в ручьях пота. Он никогда бы не поверил, что человек может так потеть.

Его начало тошнить. Судорожные сокращения желудка следовали одно за другим, скручивали его, выкручивали, комкали, ломали, корежили. Он умирал. Он знал, что умирает. Мыслей не было. Была боль. Ее нельзя было локализовать. Она плескалась по всему телу, то тупая и ноющая, то пронизывающая и острая, как взвизг механической пилы. Времени не было, не было больше ни начала, ни конца, ни дня, ни ночи. Не было луча и не было синих глаз, танцующих в этом луче. И не было лучей, танцующих в синих глазах. Их не было, и они были. Они всегда жили в нем.

Мысли и образы, боль и воспоминания распадались, расщеплялись на обрывки, кусочки, осколки, молекулы, атомы. Безрукий Джонни Хьюмс завязывал в узел пыльный, асфальтовый луч. И качалась, качалась туфля, висевшая на ржавой трубе. И кто-то жалобно моргал,

и на эти извиняющиеся глаза обрушивался оспенный кулак, оспенный скучный кулак.

И не мысль, нет, клетки его тела помнили, что все эти нечеловеческие муки разом бы кончились, остались позади, если бы в кожу сладостно вонзилась игла шприца и спасительная, блаженная доза отерла бы его мягкими ладонями, умыла, укачала в целительном сне. Нет, грозной и веселой прозрачно-розовой волны не было бы. Она уже давно не накатывалась на него. Но было бы избавление от пытки. Разве человек, висящий на дыбе, мечтает о вкусном обеде, разве человек, у которого под ногтями раскаленные иглы, думает о прогулках по веселой, зеленой травке?

Он завыл. Ему казалось, что вой содрясает стены сарая, рвется наружу, но это был всего-навсего жалкий хрип.

Он потерял сознание, но и беспамятство не приносило облегчения. Если уж тебе не везет, то не спрячешься от страданий и в беспамятстве...

Однажды ему показалось, что над ним склонилось лицо старика.

— Дайте мне закурить,— прошептал Арт. А может быть, только хотел прошептать. Он не знал. Он знал только, что если старик даст ему зажженную сигарету, он сумеет поджечь сено и удрать, когда загорятся стены. Или сгореть. Что именно — было не так важно. Лишь бы не эта бесконечная пытка.

Но то ли старик покачал головой, то ли он вообще пригрезился — сигареты не было. Была пытка.

Он не знал, сколько прошло дней. Иногда он с трудом становился на колени, погружал голову в ведро с водой и пил. Несколько раз он вяло отмечал про себя, что вода в ведре почему-то не убывает, но мысль тут же куда-то ускользала от него.

Он ослабел. Судороги все еще сотрясали его тело, но уже с меньшей силой. Тошнота по-прежнему клубилась в нем, но рвоты стали мучить его реже. Иногда ему удавалось по несколько минут подряд удерживать мысли от головокружительного хаоса. Это были самые страшные минуты. Они были населены Мери-Лу, Эдди Макинтайром и капитаном Доулом.

В эти минуты он подкапывал землю и выбирался из этого проклятого сарая. Ногтями отрывал доски на потолке и выбирался на крышу. Бросался изо всех сил на дверь, вышибая ее плечом. Кричал, кричал до тех пор, пока проклятый крестьянин не отпирали его темницы. И тогда тонкий, спасительный укус шприца возвращал его к жизни. И жизнь была вонючей темнотой, которую иногда прорезал пропыленный солнечный луч.

Жизнь была невозможна. Она была абсолютно невозможна. Ему нечем было дышать. В окружавшем его вонючем темном вакууме не было кислорода, и поэтому можно было надеяться на смерть. На мягкую, теплую, ласковую спасительную смерть. Только она отгородит его от синих пустых глаз и упавшей на пол туфли.

Он подползал к стенам сарая и пробовал разбить голову о стесанные бревна, но он был слишком слаб. Он пытался нащупать хоть что-нибудь похожее на веревку, но ничего не нашел.

Он стал впадать в оцепенение. Теперь уже не было ничего. Даже боли. Было только загустевшее, вязкое время, остановившееся время, застрявшее время, без прошлого и будущего и уж давно без настоящего.

Он пришел в себя от тишины. Густой, плотной, негородской тишины. И слабости. И странного, позабытого спокойствия. И ему захотелось встать, но он не мог. Он не мог даже вспомнить, каким мышцам для этого нужно сократиться. И он подумал, что обидно было бы умереть сейчас, когда впервые за долгие, долгие дни он не мечтал о смерти.

Он лежал так, то проваливаясь в привычное забытие, то снова всплывая к тихой поверхности.

Когда за стеной раздалось собачье поскуливание, щелкнул замок и скрипнула дверь, он даже не мог повернуться.

Старик стоял над ним, с ужасом и жадностью вглядываясь в него, а он даже не мог открыть глаза, потому что свет нестерпимо давил на них, причиняя боль.

Должно быть, и собака тоже всматривалась в высохшее, бесплотное существо, распростертое на провонявшей соломе, поэтому она больше не скулила, а дышала часто-часто, вывалив от изумления язык.

— Ну и ну,— пробормотал старик.— Это ж надо... А ведь жив, хотя, надо думать, скоро помрет... Не может душа на костях жить. Чего с тобой делать, доходяга? — Он потер шершавой расплющенной ладонью свое лицо, дыхание его прервалось, и он судорожно вздохнул.— Разве что попробовать несколько капель молока ему влить? Ты как считаешь, Фидо?

Должно быть, собака обрадовалась своему, произнесенному всуе имени, потому что оно вернуло ее в привычный мир привычных вещей и позволило отвернуться от странного смердящего существа, которое вроде бы и похоже на человека и не похоже, живое и неживое.

Старик ушел за молоком. Свет уже не причинял такой боли глазам, и Арт осторожно открыл их. Боже мой, как он устал! Он подивился слову «устал», которое употребил мысленно, и хотел улыбнуться, но не смог.

Старик вернулся с баночкой молока и ложкой.

— Это ж надо,— сокрушенно и вместе с тем возбужденно пробормотал он,— что теперь с людьми делают... Это что ж делается, ежели люди сами себя... А? — Чувствовалось, что старик привык разговаривать с собой.— Это как же понять? Это кто же скажет? Зачем?..

Он приблизил ложку ко рту Арта и, видя, что тот не открывает его, подsunул неуклюже свои пальцы под его губы и приоткрыл ему рот. На мгновение Арт испытал страх перед приближавшейся снова тошнотой, но несколько пахнувших не по-городскому капель благополучно просочились сквозь его высохшую гортань, и Арт с благодарностью опустил веки.

Глава 4

Арт окреп довольно быстро. Молодой его организм, словно истосковавшись по свежему воздуху, спокойной, тяжелой здоровой работе и простой пище, спешил обрести утраченные силы. Может быть, клетки его тела все еще не верили, что навсегда освободились от яда, и, не веря, наверстывали упущенное и готовились к будущему.

Старик жил на крошечной ферме один. Он бы, конечно, давно разорился, если бы попытался выжать из нее хоть какой-нибудь доходишко, но ему помогал сын, состоятельный хирург, живший в Бельвю.

— Понимаешь,— медленно говорил он по вечерам Арту, и в его выцветших-стариковских глазах тлело недоумение.— Понимаешь, сын — он, слава богу, меня не забыл, как другие,— зовет меня: приезжай, мол, ко мне в ОП. Здесь, мол, спокойно. Почти не стреляют, не грабят. А по мне, так зачем спокойствие, если живешь за колючей проволокой, как скот какой-нибудь. Конечно, на фермах, бывает, и нападут, отстреливаться приходится. Но так далеко нарки редко забредают... ты вот первый.— Старик посмотрел на Арта и улыбнулся.— Да у меня и взять-то нечего. Разве что трактор. А на кой он нарку? Его еще продать нужно, а кому, опять же, нужен старый трактор, когда мелких ферм почти и не осталось? Так я говорю, Арти-бой? Ты вот сам был нарком и понимаешь: он хоть и на все пойдет за пару НД, но без денег редко чего затеет. Обратно же Фидо выручает... Она чужого человека за милую учуивает...

Конечно, иногда хочется поболтать с живым человеком. Вроде тебя.— Старик неумело улыбнулся.— Ну ничего. С собакой поговоришь, с домом, с трактором... А потом и подумаешь: а они-то там, в джунглях или ОП, говорят друг с другом? Или уж давно только рычат да зубы скалят?

Старик еще не привык к живому собеседнику и каждый вечер убаюкивал Арта бесконечными монологами. Он рассказывал о себе, о сыне. О том, как на его глазах менялась жизнь, как белое снадобье заразило страну, как сын стал поднимать руку на отца, а отцы стали преследовать сыновей. Он рассказал, почему не хочет даже видеть сына. Его внук участвовал как-то в студенческой демонстрации протеста. Полиция открыла огонь. Семь человек остались лежать на мостовой. И среди них его внук. У сына были слезы на глазах, и голос его дрожал, но он сказал: «И правильно стреляли. Ты знаешь, Питер у меня единственный, но я готов пожать руку тем, кто нажимал на спуск, потому что эти протесты и протестующие безответственные юнцы толкают страну к гибели».

Он рассказывал, как люди состоятельные спасались бегством из городов, образуя первые охраняемые поселки — ОП, а города, разрушаясь, превращались в джунгли...

Арт слушал его краем уха и думал об Эдди Макинтайре, капитане Доуле, о покойном отце, о матери.

О Мери-Лу он не думал. Он не разрешал себе думать о ней. Об Эдди Макинтайре и капитане думать было хорошо. Они помогали ему поправиться и окрепнуть. Они заставляли его поправиться и окрепнуть. Они помогали ему подавлять воспоминания о беззвучной и сладостной неосязаемой волне, которая все еще являлась ему иногда по ночам. Он, можно сказать, был обязан им жизнью, потому что они дали ему цель. Он жил, чтобы убить их.

С самого детства, с момента, когда он впервые осознал себя Артом Фрисби, у него ни разу не было большой цели, которая вела бы его по асфальтовой жизни джунглей. Маленькие цели были. Нужно было стать сильным, чтоб отомстить Джонни Хьюмсу. Достать денег, чтоб купить себе куртку на «молниях», как у других ребят... Это всё были маленькие детские цели. Теперь цель была взрослой, и она могла оправдать жизнь взрослого человека. И только когда он убьет их обоих, когда их не будет больше на земле, тогда он позволит себе думать о Мери-Лу. До этого он не заслужил еще права вспоминать о ней.

Через несколько месяцев он решил съездить в Скарборо.

— Ты ведь вернешься? — спросил его подозрительно старик. — Смотри, второй раз я тебя не выхожу. Может, не стоит таскаться?

— Вернусь, — кивнул Арт.

— Ну, смотри, с богом. Ты ведь не маленький, хотя мог бы быть мне внуком... Возьми немножко денег.

Арт вытащил тайком у старика из комода старинный кольт и отправился в город.

В первый же день он узнал, что капитана Доула перевели куда-то. Куда — не знал никто. Эдди Макинтайр по-прежнему был в Скарборо, но Арт никак не мог подкараулить его. Казалось, Эдди вообще не выходил из своей квартиры. Идти же прямо к нему не имело смысла. Если он и откроет ему дверь, то только с пистолетом в руке. Скорей же всего, вообще не открыл бы. Не такой он дурак. Что-что, а дураком Эдди не назовешь. Дурак в джунглях много не заработает, разве что шприц в руку и выщербленные плитки подъезда под разбитым чепом,

Особено высовывать нос тоже не следовало. У Эдди собак хватает. Тут же прибегут с докладом: угадай, Эдди, кто появился — Арт Фрисби. Помнишь, у которого девчонка повесилась. Здоровый такой, загорелый.

При словах «здоровый», «загорелый» Эдди может задуматься. В его мире человек не имел права быть здоровым и загорелым, разве что он сам. Здоровый и загорелый — значит, не его. А не его — значит, чужой. А в чужом, да еще соскочившем с крючка, на который его так любовно и старательно насадил сам Эдди, всегда таилась угроза. Вот почему особенно нос высовывать не следовало.

Он поселился в полуразвалившемся отельчике на Рипаблик-авеню. На лестнице с выбитыми ступенями пахло пылью и кошками. В крошечной сырой комнате в батареях центрального отопления жалобно булькало, словно их пучило. Под потолком висела на проводе голая лампочка, засиженная мухами. А может быть, и не мухами. Может быть, она просто была грязной. По ночам в коридорах слышались шаркающие шаги, торопливый шепот, неожиданный вскрик.

Арт выходил уже несколько раз, выходил по вечерам, когда на улице было темно и можно было избегать знакомых лиц, но так ни разу и не видел Эдди, даже издали. Куда он делся? Раньше, бывало, всегда его можно было увидеть на улице или в баре Коблера. Но Арти дважды звонил в бар, спрашивая Эдди, и оба раза ему ответили, что его нет. Оставалось только одно — попробовать подкараулить его около дома.

Арт стоял в подъезде Эдди и ждал. У ног его дугой выгнулась худая серенькая кошка, потянулась и с приглашающим мурлыканьем стала тереться о брюки. Наверное, она была голодна, хотела тепла и ласки. Здесь никто не подходил друг к другу без нужды. И уж подавно не ласкались. А те, кто делал это, повисали потом... Стоп. Аут. Нельзя.

Раздался стеклянный взрыв. По асфальту брызнули осколки. Кто-то с верхнего этажа швырнул вниз бутылку. На улице послышался шум машины. Хлопнула дверь. Шаги по асфальту. Неужели наконец...

Арт сжимает старинный кольт, всматривается в сум-

рак двора. Так и есть, Эдди. И еще какой-то верзила с ним. На таком расстоянии и в темноте не попасть, наверное. Значит, нужно подождать, пока они войдут в подъезд. Кто-нибудь живым отсюда не выйдет.

Пупырчатая рукоятка кольта раскалена. Кошка, чутьем обитательницы джунглей почуявшая опасность, с разочарованным мяуканьем исчезает в полумраке лестницы.

— Ну, давай,— слышится голос Эдди, и в проеме двери появляется фигура человека. В одной руке пистолет, в другой — электрический фонарь.

Еще мгновение — и луч коснется Арта. Он не ждет этого мгновения и стреляет. Звук выстрела оглушает в резонаторе подъезда. Арт выскакивает на улицу, но Эдди уже нет. Арт стоит, прислушиваясь к полумраку. Звук машины не было, шагов — тоже. Значит, Эдди где-то здесь, недалеко. Из чьего-то открытого окна слышится ворчание: «Опять расстрелялись, бандиты, дня им мало». Окно с треском захлопывается. Арт стоит спиной к дому. Справа подъезд, где в темноте все еще светит электрический фонарик. «Надо же,— думает Арт,— не разбился». Слева еще один подъезд. Эдди скорее всего там. Арт начинает осторожно, дюйм за дюймом, придвигаться к левому подъезду. Строго говоря, спокойно думает он, шансов почти нет. Если Эдди ждет его в подъезде, Эдди выстрелит первым. И все-таки он двигается к левому подъезду. Не уходить же так... В это мгновение Арт слышит какую-то возню в правом подъезде, откуда он только что вышел. «Вот гад!» — слышит Арт тихое проклятье, легкий стон, и вдруг из подъезда, пошатываясь, выглядывает верзила, в которого стрелял Арт. Пока Арт раздумывает, что делать, стрелять ли второй раз или нет, верзила уже успел нажать на курок. Пуля цокает о кирпич. Арт, почти не целясь, стреляет и бежит зигзагами. Выстрелов нет. Он бежит несколько кварталов и переводит дыхание. Не вышло. Чего-то Эдди боялся. Или кого-то. А может быть, все-таки кто-нибудь его заметил и действительно передал Эдди. Раньше он никогда не ходил с телохранителем.

— Ну ладно, мистер Макинтайр,— тихонько бормочет Арт,— в другой раз.

В гостиницу возвращаться опасно. Если уж Эдди знает, что Арт в Скарборо, он землю носом рыть будет,

а найдет его. Людей у него хватит. В крайнем случае и полиция поможет. Не капитан Доул, так другие. Полиция любит Эдди Макинтайра. И не его одного, а, наверное, всех Эдди Макинтайров. Всех до одного. Все они заодно, паразиты.

Старик посмотрел на Арта и недоверчиво улыбнулся.

— Значит, ты все-таки вернулся... А я думал, останешься там...

— Мистер Майер, я взял ваш старый кольт, вот он.

— Спер все-таки? — Лицо старика покраснело от негодования.

— Как же спер, если я вам его возвращаю! Просто одолжил. Вы же знаете, без пистолета ходить нельзя.

— Спер, спер,— зло закричал старик,— все вы теперь такие! Лгать, красть, стрелять и безуметь на своем белом снадобье... Все вы теперь такие! Заразу несете, проклятие! Все вы вокруг отравляете своим смрадным дыханием, все, все...

Старик трясся в библейском гневе, в выцветших детских глазах горела, плавилась ненависть.

— Простите, мистер Майер. Если вы хотите, я уйду.

— Уходи, убирайся! Ты ж сюда заразу принес. Жил, кажется, тихо, никому не мешал, а ты и сюда добрался...

Арт повернулся и пошел к двери, а старик вдруг всхлипнул и сказал:

— Прости, Арти, я ведь, признаться, думал, что ты станешь мне внуком... Останься, парень...

Арт обернулся, помолчал.

— Спасибо, мистер Майер, вы меня спасли. Но я и вправду, наверное, отравлен и все могу отравить... Вы добрый человек, а мне нельзя быть с добрыми. В моем мире доброта ни к чему. Мне злобы больше надо, а не доброты...

В Скарборо делать ему было нечего, появиться там он не мог, и он перебрался в Уотерфолл. Здесь, по крайней мере, Эдди Макинтайр до него не доберется. Здесь были свои Эдди Макинтайры и свои капитаны Доулы, которые, впрочем, отличались лишь тем, что принадлежали к другим организациям.

Арт нашел дешевую комнатку и несколько дней болтался на улице, присматриваясь к окружению. Раз-другой

его попытались облапошить, предлагая героин по чересчур низким ценам, но само белое снадобье не интересовало его. Ему нужен был настоящий толкач, настоящий продавец героина. Только на этом можно было зарабатывать, только здесь пахло деньгами. В конце первой недели он знал уже толкача в лицо. Это был тучный, медлительный человек, и жирные его щеки мягко лежали двумя расхोдившимися от подбородка складками. Говорили, что, кроме героина, он еще ссужал деньги под чудовищные проценты. Звали его Толстый Папочка, а настоящего имени не знал никто.

Он сидел перед Артом неподвижный, как скала, и лишь торчавшая из мясистых губ сигара жила своей жизнью: то приподнималась, то опускалась, нацеливаясь на письменный стол, заваленный бумагами. Серенький стерженек пепла, казалось, вот-вот упадет на бумаги, лежавшие на столе.

— Зачем пришел? — наконец спросил толстяк неожиданно тонким голоском. — Хочешь кольнуться?

— Не-е,— нарочито придурковато ответил Арт. — Не знаю.

— Ты что, не кололся ни разу?

— Не-е...

— Мальчик,— пискнул толстяк,— прелестное дитя. Откуда ты, залетное видение?

— Из Скарборо.

— Хочешь стать мужчиной?

— Ничего, если я вас буду называть, как все, Толстый Папочка?

— Я буду польщен, мальчик. Я ведь действительно толстый и действительно папочка для всех моих прихожан Церкви Белого Оракула.

— Мистер Толстый Папочка, в Скарборо есть толкач по имени Эдди Макинтайр. Некоторое время тому назад он был очень расстроен, что такой видный и взрослый парень, как я, не пробовал снадобья. Он даже пригласил меня домой, даже угостил виски, и прежде чем я что-либо сообразил — честь-то какая! — у меня в руке уже торчал шприц. Добрый человек Эдди Макинтайр. Потом я познакомился с одной девчонкой. Она все уговаривала меня бросить, но я не мог. Она оказалась сама на крюч-

ке — и ей помог добрый Эдди, — и она повесилась. Я бросил.

— Правда ли это, сын мой? — усмехнулся толстяк.

— Правда, — сказал Арт.

— Сколько ты уже чист?

— Полгода.

— Почему ты ушел из Скарборо?

— Хотел рассчитаться с Эдди, пока не вышло.

— Слова не мальчика, но мужа. — Сигара во рту толстяка задумчиво затрепетала, и стерженек пепла наконец надломился и упал. Он помолчал, потом добавил: — Не говори ни слова, мой юный друг. Дай мне возможность потренировать мозги. Сейчас я скажу тебе, что ты хочешь от меня. Героина ты не хочешь, я тебе верю. Отпадает. Убивать всех толкачей ты не станешь, ибо, во-первых, их слишком много, а во-вторых, ты их дитя. Ты даже не мыслишь мира без них, если вообще умеешь мыслить. Отпадает. Ты пришел ко мне, потому что хочешь ухватиться за лиану и чуть-чуть высунуть нос из теплого болота джунглей. Чтоб было чем дышать, и что жрать, и что положить в карман. Так, мой юный Чайлд-Гарольд?

— А кто такой Чайлд-Гарольд?

— А... Ты думаешь, я сам помню? Что-то литературное. Так верны ли мои рассуждения?

— Почти, мистер Толстый Папочка...

— «Мистер» не надо, очень длинно. «Толстый» можно тоже пропускать. Почему почти?

— Я хочу еще встретиться с Эдди Макинтайром. Я хочу быть сильнее его.

— Прелестно. Достойные устремления. Что ты умеешь? Читать и писать умеешь?

— Да, — с гордостью кивнул Арт. — Кончил четыре класса. В пятый почти не ходил.

— Стрелять?

— Хорошо.

— Можешь отжаться от пола?

— Раз сто.

— Что-о? — Жирные щеки оттекли от глаз Толстяка, и глаза изумленно округлились.

Арт сбросил куртку, упал на вытянутые руки и начал легко отжиматься.

— Хватит, — вздохнул Толстяк. — Меня господь оби-

дел телесной ловкостью, но я люблю ее в других. Ты ловок и силен, юноша, ты мне нравишься, но тем не менее я вынужден буду прихлопнуть тебя.

Он неожиданно быстро поднял пистолет и нажал на спуск. Грохнул выстрел, но Арт не шелохнулся. Папочка покотился со смеху. Щеки танцевали на груди, а глаза превратились в крохотные дырочки.

— Ну ты меня поражаешь, падший ангел. Почему ты не побежал?

— Во-первых, если вы меня действительно хотели бы прицелкнуть, вы бы это сделали давным-давно. Во-вторых, чего же бояться... Я свое отбоился.

— Прекрасные слова, дитя века. С этой минуты ты работаешь на меня, Арти-бой...



Часть третья. ПЛАН

Глава 1

Арт посмотрел на часы. До трех было еще полчаса. Он перевернулся на спину, подложив под голову руки. Небо было чистым, и лишь где-то совсем высоко едва уловимо белело полупрозрачное перламутровое облачко. Тишина, ленивый полуденный покой жаркого дня. Слева, на шоссе, время от времени проносились машины, но шум их не мешал ему, может быть даже наоборот — подчеркивал загородную тишину.

У него затекла спина, и он снова перевернулся на бок. По кожаному футляру маленькой рации полз рыжий му-

равей. Он быстро добежал до края, замер, недоуменно покрутил головой и испуганно ринулся вниз, к привычным травинкам, хвойному коврику и сухим стебелькам. Арт почти не волновался. Конечно, он знал, что ему предстояло сделать минут через двадцать — двадцать пять, знал, что может остаться лежать там слева, на шоссе, знал, что этот муравей, быть может, последний безмятежный образ перед сердитыми плевками базук, истерическим клекотом автоматов, злобным шипением горящего напалма. И был равнодушен. Потому что за одиннадцать лет, что прошли с тех пор, как Мери-Лу смотрела на него пустыми синими глазами, случилось очень многое и не случилось ничего. Он уже давно не был наивным пареньком из джунглей Скарборо. Вместе с Толстым Папочкой он проделал большой путь. Он был и толкачом, сбывавшим белое снадобье таким, каким он сам был когда-то, и «прессом», выжимавшим из должников ссуды, которые они брали у Папочки под безумные проценты, и мелким служащим в «семье» Филиппа Кальвино, и «солдатом», а потом, когда Папочка стал правой рукой босса, он в свою очередь был произведен в «лейтенанты». И сейчас он лежал на опушке сосновой рощицы, метрах в ста от шоссе, и ждал, когда прожужжит зуммер рации.

Он снова посмотрел на часы. «Пора бы», — подумал он, и в этот момент рация ожила.

— Ты готов, Арти? — услышал он голос одного из своих солдат, который следил за шоссе с вертолета. — А. то они уже миновали поворот у восьмидесят второй мили.

— Хорошо, — сказал Арт в микрофон. — Твой вертолет не вызвал у них подозрений?

— Как будто нет. Скорость такая же, около девяносто в час, всего одиннадцать машин. Передняя и задняя — полицейские.

— Хорошо. Двигай на лужайку, только не виси над шоссе.

— Слушаюсь.

— Давай, а я вызываю Джефа. Джеф, Джеф...

— Да, мистер Фрисби, я готов, — отозвался уже другой голос, молодой и охрипший от волнения.

— Твой вертолет в порядке?

— Да, мистер Фрисби, все в порядке.

— Пора, Джеф. Через несколько минут они появятся.

Ты идешь, как мы это отрабатывали на репетиции, метрах в двадцати над шоссе прямо на них и открываешь огонь только по передней машине. Причем метров с двухсот, не раньше. Все зависит от тебя, Джеф. Ну, с богом.

— Я не подведу, мистер Фрисби.

— Хорошо. Вызываю всех. Внимание, все доложите о готовности.

Один за другим члены группы докладывали Арту о том, что они готовы через пяток минут превратить несколько десятков живых людей в полуобгоревшие трупы. Одни были готовы на это, потому что за такую работу всегда хорошо платят, другие — потому что ничего другого делать не умели и были вполне удовлетворены своим ремеслом, третьи — потому что их послали начальники и они знали, что послушание грозит смертью. Кроме того, у всех у них была фантазия и воображение животных: они могли видеть умственным своим взором еду, питье и женщин, которые ожидали их, но не видели пробитые пулями черепа, раздавленные грудные клетки, лужицы почти черной крови на сером бетоне шоссе...

Водитель головной машины конвоя, немолодой уже сержант, привычно бросил быстрый взгляд в зеркальце заднего обзора — все ли сзади в порядке. Дистанция нормальная, как договаривались, скорость девяносто миль в час — самая подходящая скорость. И риска нет лишнего, и моторы не рвешь, и не ползешь как черепаха. Как, например, всегда ездит Майк Фернандес. И еще делает из этого принцип. «Я, — говорит, — в ваших гонках не участвую. Не желаю шею ломать». Может он, конечно, и прав. Шею ломать никому не хочется. С другой стороны, что он имеет за свою осторожность? Зарплату? Много на нее сделаешь, как же! Вон сын его, говорят, уже из пятого класса выскочил, все науки превзошел. Ну и сиди в джунглях. Не морфий, так кокаин, не кокаин, так ЛСД, не ЛСД, так белое снадобье. А не наркотики — сопьется. А чем еще кончают в джунглях? Тут хоть знаешь, за что работаешь. К одной зарплате еще три идет. Нет, что ни говори, а с синдикатом можно иметь дело. Важно знать свое место и не лезть. Я-то знаю свое место. Не такое уж плохое место.

Привычный взгляд сержанта замечает далеко впе-

ди вертолет, скользящий почти над самым шоссе на-
встречу им.

— Опять полиция,— бормочет он.

Человек, сидящий рядом с ним, поправляет лежащий на коленях автомат и поднимает бинокль. Цвета полицейские. Но что-то он слишком низко идет.

— Ну-ка, ребята,— командует он, не поворачивая головы, двум полицейским на заднем сиденье,— приготовьтесь на всякий случай! Что-то слишком низко он идет.

Внезапно вертолет начинает набирать высоту, и в то же мгновение на машину обрушивается дробный град. На ветровом стекле, словно в ускоренной киносъемке, мгновенно распускается цветок. Маленький цветок с лепестками-лучиками, а в середине дырочка. И еползает с сиденья водитель-сержант, который знал свое место в мире и не лез куда не положено. А место на сиденье с расплывающимися пятнами — это как раз его место.

Машину заносит, еще мгновение — и она перевернется, но человек рядом с водителем успевает схватить руль и выправить автомобиль. Слышен скрежет тормозов и частая дробь выстрелов. Господи, если бы не этот сержант, не этот человеческий мешок, что мешает пересест за руль, он бы сейчас дал газу и, даст бог, проскочили бы. Он ищет ногой тормоз, находит его и останавливает машину. Полицейские выскакивают, словно пробки из бутылок, бросаются на бетон и, падая, уже открывают огонь из автоматов.

Вертолет уходит вверх, но вот он странно дергается, словно наткнулся на невидимую стену, останавливается на долю секунды и начинает все стремительнее скользить вниз. Не ровно и плавно, старомодным книксеном, а бокком, нелепо, с треском касается он бетона и тут же вспыхивает, обволакивается оранжево-рыжим дымом.

Ухают базуки, захлебываются пулеметы и автоматы. По полотну шоссе ползет человек. Он не слышит воя и грохота, не чувствует запаха гари и дыма, не видит горящий металл и бегущих к стоящим машинам людей. Он ползет, он занят важным делом — куда-то доползти, где не будет рвущейся боли и не будет с каждым усилием с насосным влажным чавканьем течь из него кровь. Он так занят своим единственным во всем мире делом, что не видит, как с ревом срывается с места одна из уцелевших машин и проносится через него. Теперь он уже не

ползет. Он уже освободился от своих забот, хотя кровь еще сочится, окрашивая серый бетон. Бетон пыльный и смачивается плохо, но крови достаточно, и он постепенно краснеет...

Нападавшие добивают раненых, рыжехвостый напалм ползет по искореженному металлу...

Арт посмотрел на часы — с момента первого выстрела прошло всего четыре минуты. Ни одной встречной машины, ни одной машины сзади. Молодцы! Это уже дело Карпи. Он свое дело знает.

Двое «солдат» тащат металлические опечатанные ящики. Что и говорить, семейка Коломбо понесла сегодня изрядный ущерб. Судя по величине конвоя, в ящиках должно быть не меньше полумиллиона НД. Впрочем, его это уже касается меньше всего. Это уже высокая дипломатия, тонкая игра. Это дело дона Кальвино, Папочки и всех их советников. Кто-то, конечно, на них у Коломбо работает. Иначе как бы они узнали о сегодняшнем конвое? Мало того, человек этот, видно, не маленький, если знает о такой операции. Да и приладить под машину радионаводчик — это тоже надо уметь. Машины ведь перед серьезным конвоем проверяются ох как строго...

— Все? — спрашивает Арт у помощников. — Какие потери?

Помощник вытирает рукавом пот. В безумных еще глазах появляется осмысленное выражение.

— Шестеро убиты, восемь ранено. Раненых потащили к лужайке.

— А трупы?

— Сейчас...

— Пойдем, — кивает Арт. — Побыстрее. И крикни кого-нибудь, у кого еще остался напалм.

Они поджигают трупы и, не оглядываясь, бегут к опушке леса. Лес встречает их сосновой пахучей торжественностью, тишиной, и не поймешь, то ли ветка сухая трещит под ногами, то ли потрескивают, лопаясь от жара, человеческие тела на сером бетоне шоссе.

Солдаты стоят на лужайке молча, слышен лишь захлебывающийся шепот одного из раненых:

— Боже, боже, боже, боже...

Господь, наверное, помогает ему, потому что он вздрагивает и затихает.

Над верхушками сосен скользит вертолет, медленно садится, прижимая траву к земле упругим воздушным потоком.

— Сначала грузите раненых,— коротко бросает Арт. И несколько раз разводит и сводит плечи. Он всегда делает так, когда хочется снять усталость и напряжение после трудного дня.

Вечером он лежал в ванне, наслаждаясь горячей водой, и дремал. Вот вода начала остывать, и он открыл кран. Он наслаждался горячей водой и вдруг почувствовал прилив безотчетного отчаяния. Это случилось не в первый раз за последние месяцы, но сегодня отчаяние было особенно острым. Это было даже не отчаяние. Казалось, в уютном привычном помещении вдруг открылась дверь, о которой он раньше и не подозревал, и в распахнутых створках бездонным мраком предстало ничто. Бесконечно холодное, бесконечно равнодушное, бесконечно близкое ничто. И сжималось сердце, и было чего-то жаль, что-то безвозвратно уходило, и все теряло смысл и привычные ценности.

Он уже знал по опыту, что приступы эти проходят. Нужно лишь набраться терпения и покорно ждать, пока не отпустит сердце, пока не захлопнется незнакомая дверь.

— Тебе не нужно чего-нибудь? — услышал он голос Конни. — Ты там не заснул?

Арт не отвечал, и Конни запела:

Мы уйдем туда вместе, уйдем навсегда,
Где останется радость и...

— Заткнись! — заревел Арт, и щебетание прекратилось.

Приступ прошел. Можно было дышать, но какое-то легкое, неуловимое беспокойство все же оставалось.

Он вылез из ванны и посмотрел на себя в зеркало, пожал плечами, встретив тяжелый, почти немигающий взгляд.

Он вытерся, набросил халат и вышел из ванной. Конни была тут как тут. Маленькая, круглая, заискивающе улыбающаяся — точь-в-точь ласковая дворняжка.

— Сядь, Конни, — сказал Арт.

— Хорошо.— Она торопливо метнулась к стулу.— Я только хотела подать тебе кофе. Ты ведь любишь кофе после ванны.

— Я люблю кофе, но не люблю тебя,— медленно сказал Арт.

Эта девчонка была слишком счастлива. Счастлива и беззаботна, не имея на это права. Имела право другая, но он никогда не сможет сделать ее ни счастливой, ни беззаботной. Потому что она до сих пор смотрит на него пустыми синими глазами, и одна туфля так и зацепилась на ее ноге, не упала.

Он давным-давно запретил себе вспоминать Мери-Лу. В конце концов, что вспоминать прошедшее? Одиннадцать лет — не один день. Но она не отпускала его. Нет, не так. Неверно. Это он не отпускал ее, это она нужна была ему, а не наоборот. Зачем — он не знал, но предчувствовал, что без нее дверь с бездонным мраком открывалась бы чаще и все жаднее заглядывал бы он во влажный, плотный и промозглый мрак.

Конни смотрела на него испуганными глазами. Они были зеленоватого цвета и не пусты. Нет, она не имела права быть даже испуганной. Она не имела права вообще быть.

Что-то с ним было не так, не может такое думать нормальный человек. Ну, не нравится тебе женщина — выгони ее. Но думать так, как он... Эдак можно и рехнуться...

— Чем я провинилась? — В глазах Конни начали набухать две слезинки.

— Да ничем,— пожал плечами Арт.— Просто тем, что ты ешь, и поэтому тебе нужно уйти отсюда. Совсем. Навсегда.

Всю ночь он то засыпал, то просыпался. Станные, невоспроизводимые сны мучили его, многократно повторялись, и каждый раз он открывал глаза вместе с пропущенным ударом сердца. Мир, потрепетав мгновение-другое на границе сна и бодрствования, неохотно принимал обычные очертания...

Глава 2

Папочка сиял. Лучились не только маленькие глаза, лучилось все его необъятное лицо, вся фигура. И даже сигара дымилась торжественно.

— Сейчас подойдет дон Кальвино, чтобы самому пожать тебе руку, а пока его нет, я хочу пожать руку сам себе. Одиннадцать лет тому назад я в тебе не ошибся. Поверил с первого взгляда.

— Спасибо, Папочка,— вежливо ответил Арт, и тут же в комнату вошел босс, глава Уотерфоллской семьи, дон Филипп Кальвино.

Он кивнул Арту и протянул ему руку:

— Молодец. Жаль, что ты не из нашего рода. Я бы гордился таким сыном. Знаешь, сколько было в тех двух ящиках? Папочка, ты молчи. Я хочу, чтобы Арт сам угадал. Так сколько?

— Ну...— Арт пожал плечами,— вчера я думал, что, судя по величине конвоя и тяжести ящиков, там должно быть не меньше полумиллиона НД. Но, судя по вашему лицу, дон Кальвино...

— Так сколько? — нетерпеливо спросил дон Кальвино.

— Тысяч семьсот,— неуверенно сказал Арт, чувствуя, что добыча была больше, но что старику будет приятно, если он занизит сумму.

— Как бы не так,— усмехнулся дон Кальвино и хитро подмигнул Арту. Похоже было, что он видел его немудреную игру насквозь, но все равно она была приятна ему.— Как бы не так. Миллион двести. Коломбо не скоро забудет этот день.— Старик замолчал и внимательно посмотрел на Арта, потом на Папочку.— Арт,— сказал он,— вчера ты хорошо поработал и многое сделал для своей семьи, но сегодня мы хотим просить тебя о еще большем. Если ты почувствуешь, что не можешь или не хочешь выполнить наше поручение, скажи об этом прямо, никто не попрекнет тебя и даже не посмотрит на тебя искоса. Кроме нас троих, никто об этом разговоре не узнает. Папочка, комната проверена?

— Последний раз полчаса тому назад. Все чисто. Нигде ни микрофона. Вокруг ограды прошли патрули. Ничего подозрительного.

— Ты уверен? А то знаешь, нынче с этими дальнбой-

ными микрофонами можно подслушать разговор даже за полмили.

— «Знаешь»... Еще бы не знать, если мы сами такими пользуемся. Не только за полмили, даже при закрытом окне работают. Чувствительность такая, что если бы ангелы в небе сплетничали, мы бы легко записали их беседу... Так что если я уж говорю, что вокруг все чисто — значит, действительно чисто.

— Хорошо. Тогда слушай, Арт, внимательно, и, если тебе хоть что-нибудь будет непонятно, смело перебивай меня. Я прошу тебя об этом. Как ты думаешь, откуда мы узнали о вчерашнем конвое? Мало ли сколько конвоев проходит по шоссе за день...

— Мне подумалось, что кто-то в Скарборо работает на нас. А скорее всего, даже не в Скарборо, а в самом Пайнхиллзе, потому что о конвое с миллионом двести тысяч НД может знать не каждый лейтенант.

— Правильно, Арт. Ты умный человек. Умнее даже, чем требуется от простого лейтенанта. — Старик лукаво улыбнулся. — Но это тебя смущать не должно. Если все будет хорошо, ты станешь самым молодым в стране советником семьи. Я и так считаю тебя своим сыном. Но не будем отвлекаться. Ты прав. В Пайнхиллзе под самым боком у Коломбо работает наш человек. Это он сообщил о вчерашнем конвое, он прикрепил к одной машине радионаводчик. Это уже не первый раз он передает нам такую важную информацию. Но скажи мне, если ты догадался, что там есть наш человек, мог ли об этом догадаться Коломбо? Ведь о нем можно говорить все, что угодно, что он мог бы задушить своими руками мать за сотню новых долларов, но только не то, что он глуп. Он вовсе не глуп, этот Джо Коломбо, и он безусловно догадывается, что среди его окружения наш агент. Вчерашний день не оставил ему никаких сомнений.

Человек наш замаскирован отлично, но Коломбо и в особенности его первый советник Тэд Валенти будут землю носом рыть. Они будут подозревать всех и каждого. Он не то что рентгеном всех просветит — вывернет каждого наизнанку и своими руками перешупает. А наш человек должен избежать подозрений. А это нелегко. Мало того, он передал нам еще месяц тому назад, что Валенти стал относиться к нему с некоторой подозрительностью. Короче говоря, перед нами три пути. Первый — ничего не

делать, а, сложив руки на груди, ждать, пока Валенти не докопается до чего-нибудь и погубит нашего человека. Второй — дать команду нашему человеку немедленно сматывать удочки из Пайнхиллза. Не говоря уже о том, что мы лишаемся ценной информации, мы ставим под угрозу само существование нашей семьи, потому что, если оценивать объективно, семья Коломбо раза в два сильнее нас и богаче. Если до сих пор он еще не сделал попытки начать против нас тотальную войну, то можешь не сомневаться, он сделает это, когда сочтет выгодным. И мы будем почти беззащитны без разведки.

И, наконец, третий путь. Мы можем попытаться подсунуть Коломбо дезинформацию, сбить его со следа, называть ему совсем другую фамилию и тем самым обезопасить и нашего человека и всю семью. Какой план ты считаешь наиболее приемлемым?

— Третий, — сказал Арт.

— И ты согласился бы участвовать в его исполнении?

— Да.

— Даже с риском для жизни?

— Да.

— А ты не знал, случайно, что в молодости Тэд Валенти пользовался чужим именем?

— Нет.

— Когда еще был толкачом в Скарборо, он называл себя Эдди Макинтайром... А Папочка сообщил мне, что вы, кажется, были знакомы...

— Почему вы не сказали мне об этом раньше, дон Кальвино? — спросил тусклым, сонным голосом Арт. Голос был маскировкой. Арт уже давно научился скрывать свои чувства. И теперь, когда сердце у него дернулось и понеслось, словно спринтер, куда-то вперед, он по-прежнему сохранял спокойствие. В нем было два человека. Один — внутри — корчился под грузом воспоминаний, которые нахлынули на него при упоминании Эдди Макинтайра. Другой — внешний — и мускулом не повел.

— Потому что сделать раньше что-либо было нельзя, а вбивать своим людям гвозди в сердце я не люблю. — Дон Кальвино пожал плечами. — Теперь другое дело. Слушай внимательно. Представь себе, что ты поссорился с кем-либо из нас. Не просто поссорился, а даже убил кого-нибудь. И даже успел бежать. Ну, скажем, в Скарборо. И наши люди попытались бы тебе отомстить там,

но у них не вышло бы. Представь далее, что ты в опасности. Друзей у тебя там нет. Ты идешь в полицию и просишь защиты. Они там не дураки, они понимают, что если член чужой организации ищет защиты у полиции, он хочет познакомиться с хозяином полиции. Ведь как и у нас здесь, в Уотерфолле, вся скарборская полиция сидит фактически на содержании организации. Сказать, что полиция подчиняется Джо Коломбо, было бы, конечно, преувеличением. Эти людишки в синей форме понимают, что, попади они в полное подчинение такому скопидому, как глава скарборской семьи, не то что не заработаешь, половину своих денег отдавать придется. Так что точнее будет сказать — они сотрудничают.

Итак, полиция сообщает о тебе в Пайнхиллз, и кто-нибудь оттуда, естественно, выражает желание побеседовать с тобой. Скорее всего, это будет сам Джо Коломбо и его сын. В таких делах они доверяют только себе. Все-го, что происходит тут у нас, в Уотерфолле, ты, конечно, знать не можешь, ты ведь всего лейтенант, хотя и приближенный к старому Кальвино. Ты даже командовал нападением на конвой. Точно ты не знаешь, но слышал намеки, будто в Пайнхиллзе кто-то работает на семью Кальвино. Нет-нет, кто именно, ты даже представления не имеешь. Вот разве что... ты вспоминаешь, будто слышал раз, скажем в разговоре между мною и Папочкой, упоминание о каком-то человеке. Смысла фразы ты не понял. Ты будешь ждать до последнего. А когда старик Коломбо выдлит тебя досуха и все-таки не будет удовлетворен и будет все допытывать, не помнишь ли ты чего-нибудь еще, хоть чего-нибудь, что помогло бы ему, ты вспомнишь. Ты вспомнишь, как совсем недавно Папочка позвал тебя к себе, и, когда ты входил, ты услышал, как он разговаривал со мной. Я спрашивал его: «А не слишком часто он бывает у нее?» А Папочка засмеялся в ответ: «Он у нас человек пунктуальный. Два раза в месяц». Ты сможешь запомнить эти две фразы?

— Да,— кивнул Арт.

— Больше, хоть режь, ты ничего не помнишь. Можешь, конечно, рассказывать обо мне, Папочке, других — это они и так знают. Главное ты уже сделал. Они кинутся проверять, кто из окружения главы семьи ездит к знакомой дважды в месяц. И можешь не сомневаться — найдут. Это уж точно — найдут. И, как ты можешь

догадаться, этим человеком окажется Эдди Макинтайр, он же Тэд Валенти. Конечно, старику будет трудно сразу поверить, что его ближайший помощник предатель, но что делать... Старик — реалист. Иначе он не был бы главой семьи.

Агент наш, имя которого мы тебе даже не называем, чтобы ты при любом нажиме не назвал его, будет в безопасности, а твой старинный приятель получит удавочку на шею или пулю в лоб... Так как, Арти-бой? Ты согласен?

— Да, дон Кальвино.

— Идея тебе понятна?

— Да.

— Тогда Папочка изложит тебе детали...

Арт сидел один за столиком, положив подбородок на ладонь. Бармен нажал кнопку автомата, и легкая грустная мелодия старинной песни заскользила вдоль обшитых темными дубовыми панелями стен. В стакане с янтарным виски таяли кубики льда, но лень было даже изменить позу, не то что поднять стакан.

Песенка сжимала сердце. Чего-то было бесконечно жаль, что-то потерялось безвозвратно, осталось где-то позади, там, куда уже никогда не вернешься. Ощущения эти были странны для Арта, потому что за последние одиннадцать лет он научился ни о чем не жалеть, ничего не вспоминать, ни о чем не мечтать. Так было легче. Так было проще жить. Прошлого не было. Оно было отсечено, и культя даже не саднила. И хотя людям с ампутированными конечностями они часто снятся по ночам, Арт отучил себя от таких снов. Прошлого не было. Не было никого и ничего. Жизнь началась здесь, в Уотерфолле.

И вот сейчас, вынырнув из прошлого, Эдди Макинтайр снова за шиворот подтащил его к проклятым координатам Скарборо. Отец на лестнице. Шприц в руке. Мери-Лу с одной туфлей.

Через столик от него Папочка, блаженно зажмурив глаза, покачивал головой в такт мелодии, и лоснящиеся его чудовищные щеки плавно колыхались в медленном танце. Обычно шумливый, Сардж Колла, сидевший за его столом, тоже притих и задумчиво смотрел перед собой невидящим взглядом.

Патрик Кармайкл, такой же лейтенант, как и Арт, был уже пьян. Глаза его были налиты кровью, лицо побагровело, но пока он еще не начал шуметь, его никто не трогал. Внезапно он встал и, покачиваясь, подошел к столику Арта. С минуту он постоял, с пьяной сосредоточенностью разглядывая его, потом спросил, тихо и почти ласково:

— Ты, говорят, выгнал Конни?

«Что это,— подумал Арт,— всерьез он или это так задумано? Папочка ведь не сказал мне заранее, с кем я должен буду поссориться. Как он сказал? Чтобы не лишать сцену непосредственности...»

— Да,— сказал Арт.

— Почему?

— А тебе что за дело? — Арт почувствовал поднимавшееся в нем раздражение. По сценарию это идет или не по сценарию, но его-то какое собачье дело?

Кармайкл задумчиво пожевал нижнюю губу, прищурил глаза и так же тихо, но уже менее ласково сказал:

— А то, что я ее двоюродный брат.

— Ну и что? Мне-то что, брат ты ее или нет? Да хоть бы ты был ее мамочкой. Или бабушкой. Или ты следишь за моей нравственностью? Топай за свой стол и оставь меня в покое. Следи за ее нравственностью. Это серьезная работа.

— Я бы простил тебе, если бы ты оскорбил только меня, но ты выгнал Конни. Ты подлец,— Кармайкл поднял голос,— ты не знаешь, что такое честь...

Музыка замолкла. Головы присутствовавших медленно повернулись к столику Арта.

— Хватит, ты пьян, проваливай! — брезгливо сказал Арт.— Иди, иначе...

— Подлец! — громко и неожиданно отчетливо отчетливо отчеканил Кармайкл.— Мало того, что ты сделал с Конни, ты еще и обо мне говорил...

Папочка начал вставать, задел животом столик, и стаканы брызнули радужными осколками.

— Прекратить! — крикнул он.— Всем немедленно выйти из бара. Остаться Кармайклу и Фрисби. Надрались, мерзавцы...

Загрохотали отодвигаемые стулья, и люди, оглядываясь, стали выходить из бара.

— Прохвост, сукин сын, ты еще поползаешь у меня

в ногах! — гремел Кармайкл, а Арт начал медленно вставать, не спуская взгляда с лейтенанта.

— Стоп, Арт, дай-ка твой пистолет! — приказал Папочка, и Арт покорно отдал ему оружие.

— Ну как, Папочка, как я сыграл? — спросил вдруг Кармайкл и подмигнул Арту. — Все правильно?

— Все, — улыбнулся Папочка и поднял пистолет Арта. — Продолжим уж инсценировку до конца. — Он прицелился в Кармайкла и нажал на спуск.

Грохнул выстрел, и лейтенант с довольной улыбкой начал медленно оседать. На лбу у него появилась маленькая дырочка.

— Беги, — прошептал Папочка Арту, сунув ему в руку пистолет.

Арт бросился к двери, а Папочка толкнул спиной стол и упал на ковер.

Когда в бар снова вошли, Папочка застонал, с трудом сел, упираясь в ковер руками, и помотал головой.

— Что случилось? — крикнул Сардж Колла, заметив распростертую фигуру Кармайкла. Он стал на колени и приложил ухо к груди. — Можно было и не слушать, — пробормотал он. — А вы целы, Папочка?

— Более или менее. Хорошо, что этот выродок не спустил меня с Кармайклом. Схватили его?

— Фрисби? Господи, да никто, наверное, в суматохе и не сообразил задержать его. Эй, кто там ближе к двери, поглядите, где он.

— Вот подлец, вот подлец... — шептал Папочка, глядя на труп Кармайкла. — Это ж надо, это ж надо... — помотал он головой, словно никак не мог поверить своим глазам. — Из-за какой-то девки продырявить товарища... Ей-богу, от себя заплачу тысячу НД тому, кто схватит его... А я его еще тянул, верил в него... Сардж...

— Да, Папочка?

— Он как будто женат? — Папочка кивнул на нелепо скорченное на полу тело Кармайкла.

— Да.

— Вот подлец!.. — снова сокрушенно прошептал Папочка. — Пока ничего ей не говори. Я сам к ней съезжу.

Глава 3

Арт добрался до Скарборо только к утру. Ночью никто не хотел ехать, а свою машину он бросил на окраине Уотерфолла. В конце концов какой-то молодой таксист, с глазами начинающего нарка, согласился довезти его до Скарборо за фантастическую сумму — в триста НД. «Это даже и лучше, — подумал Арт, устало плюхаясь на сиденье. — Если они захотят проверить и найдут эту машину и шофер подтвердит, что содрал с меня триста НД, они увидят, что я не вру».

Старенькая машина, дребезжа, мчалась по шоссе, и Арт, закрыв глаза, снова и снова видел, как Кармайкл подмигивает ему и спрашивает: «Ну как, Папочка, как я сыграл?»

Жалость — чувство для джунглей опасное. Охотник не может жалеть жертву, а жертва и подавно — охотника. Пожалеть — значит подумать не о себе, а о другом. А это опасно. Люби только себя, береги частицу жизни, что пока еще трепещет в тебе. Защищай ее. Зубами, когтями, пистолетом — словом, не обременяя себя жалостью. Жизнь тяжела, джунгли жестоки и равнодушны, и если ты не защитишь себя, кто же еще подумает о тебе? Нарк, бредущий по улице в поисках двадцати — тридцати НД для дозы размешанного белого снадобья? Пьяная баба, проклинающая своего рожденного без лицензии ребенка, который просит у нее поесть? Владелец трущоб, который готов снять с тебя живьем кожу за свой крысятник? Полицейский, который стоит на углу и облизывает губы в предвкушении еженощной добычи?

И все же Кармайкл продолжал подмигивать ему и все беззвучно спрашивал Папочку, хорошо ли он сыграл свою роль. Так нужно было, такова жизнь, вяло подумал Арт и попытался заснуть. Но сон не приходил, спугнутый дребезжанием машины и непривычными, неуклюжими мыслями, которые беспокойно ворочались в голове у Арта. Это были даже не мысли, а какие-то их обрывки, обломки, из которых он зачем-то пытался построить что-то четкое и ясное, чего ему так не хватало в последнее время. Нет, не надо, уговаривал он себя. Впереди ведь Эдди Макинтайр — цель и смысл его жизни, оправдывающий все и прощающий все. Эдди Макинтайр, дающий силы и терпение.

...На мгновение ему захотелось поискать комнату где-нибудь около того дома, где он жил когда-то, но он тут же понял, что это было бы неправильно. Он ведь не круглый идиот и понимает, что такие вещи, как хладнокровное убийство товарища, члена семьи, да еще в присутствии заместителя босса, на которого он тоже поднял руку, даром не проходят. Его должны найти и должны убить. Почему он прячется в Скарборо? Да потому что это уже территория семьи Коломбо и здесь люди Кальвино, особенно после последнего нападения на конвой, слишком спокойно себя чувствовать не будут. Отсидит в берлоге месяц-другой, пока уляжется пыль, а там можно попытаться и вообще дунуть куда-нибудь подальше, где и слухом не слыхали о семьях Кальвино и Коломбо.

Он увидел средней руки отель под названием «Башня». «Башня» была не слишком высока и напоминала настоящую башню лишь уродством. Он нашел телефон-автомат, бросил три монетки, попросил Уотерфолл и, когда ему ответили, произнес лишь одно слово «Башня».

Портье за стойкой в гостинице перестал что-то жевать и равнодушно уставился на Арта.

— Мне нужен номер.

— Пожалуйста.— Портье кивнул и щелчком ногтя направил к Арту бланк.— Вот, заполните.

— Номер, не соединяющийся с соседними комнатами. Без балкона и с хорошим замком в двери. И не ниже пятого этажа.

Портье по-птичьи склонил голову на плечо и посмотрел снизу вверх на Арта.

— Хорошо, сэр.

— И мне нужно, чтобы кто-нибудь приносил мне жратву из ресторана.

— Хорошо, сэр. Ваши вещи?

— Они еще не прибыли,— пожал плечами Арт, взял ключ с большой медной грушей и пошел к лифту.

— Шестой этаж! — крикнул портье.— У нас лифт без лифтера. Может быть, вам что-нибудь нужно? У нас есть первоклассные успокаивающие средства...

— Спасибо,— кивнул Арт.— Да, вот еще. Чуть не забыл. Если кто-нибудь будет вас расспрашивать, не видели ли вы человека, похожего на меня, вы, конечно, ответите, что не видели. Так будет спокойнее и для меня

и для вас. А если вам посулят какие-то деньги, прибавьте к этой сумме десять процентов и предъявите мне счет. Вы проценты высчитывать умеете?

— Да, сэр,— подобострастно и одновременно испуганно кивнул портье.

Арт захлопнул за собой дверцу шахты. Лифт поплыл вверх, по-стариковски покряхтывая и пощелкивая суставами на этажах, пока не замер на шестом.

Комната неожиданно оказалась вполне сносной, именно такой, какую он хотел найти. Он сбросил ботинки и, даже не снимая пиджака, рухнул на кровать и почти тут же уснул.

Первые два дня прошли спокойно. Его никто не тревожил, если не считать звонков по телефону и обычных предложений. Он смотрел телевизор, спал, снова смотрел и снова спал. Он погрузился в какую-то спячку и был счастлив, что ни о чем не думал. Еду ему приносил мальчонка-посыльный. Арт сразу договорился с ним, чтобы он стучал в дверь условным стуком: два удара быстрых и два с паузами. На третий день вечером, когда он ждал ужина, раздался обычный стук в дверь.

— Ты? — спросил Арт, подходя к двери.

— Я,— раздался голос мальчика, и ему почудилось, что был он каким-то странным, сдавленным.

Арт усмехнулся, достал из кармана пистолет, стал спиной к стенке, повернул ключ. В дверь снаружи чем-то ударили, должно быть ногой, и в комнату ворвались двое. Арт, не целясь, несколько раз нажал на спуск. Выстрелы, казалось, не умещались в маленьком номере. Горьковато запахло дымом. Один из людей выругался вполголоса, и они исчезли, захлопнув дверь. Арт постоял с минуту, прислушиваясь к тихому всхлипыванию в коридоре. Наконец он приоткрыл дверь. Мальчишка сидел, прислонившись спиной к стене, и закрывал лицо руками.

— Ты жив? — прошептал Арт.

— Да-а...— всхлипнул посыльный.— Они увидели, как я шел с едой, и заставили меня идти перед собой. Они сказали, что, если я смуюлю и сделаю что-нибудь не так и вы не откроете дверь, они с меня шкуру спустят, не целиком, а полосками. А еда на полу. Пять НД, а в чем же я виноват?

— Ни в чем,— сказал Арт.— Вот тебе десятка. И перестань реветь.— Он сообразил, что все еще держит

в руке пистолет, и засунул его в карман. Он оглядел коридор, и несколько чуть-чуть приоткрытых дверей тут же захлопнулись.

— А как же вы, голодный останетесь?

— Зачем голодный? Ты мне опять принесешь что-нибудь. Ты не бойся, больше они не сунутся.

— А они... это ваши враги?

— Кто знает,— пожал плечами Арт.— В наше время не знаешь, кого бояться больше — друзей или врагов.

Арт вернулся в комнату и позвонил портье.

— На меня только что было произведено нападение,— скучным голосом сказал он.— Вы, случайно, не посылали наверх этих двух джентльменов?

— О чем вы говорите? — фальшивым и испуганным голосом сказал портье.— Я никого никуда не посылал. У нас приличный отель.

— Значит, вы все-таки не умеете высчитывать проценты...

— Я вас не понимаю,— пробормотал в трубке голос портье.

— Вы меня прекрасно понимаете, дружок. И все-таки мне интересно: или вы действительно не умеете высчитывать проценты, или вы предпочитаете наличные обещанным?

— Я вас не понимаю...

Арт положил трубку. Можно, конечно, было подождать, пока портье сам сообщит в полицию. Но он может струхнуть; сам послал наверх двух джентльменов, показавших ему, наверное, одновременно три предмета: пистолет, фотографию Арта и купюру в двадцать пять НД.

Он спустился вниз и минут через десять сидел уже в участке напротив дежурного сержанта.

— Нападение, вы говорите? — лениво пробормотал сержант. Он был похож на спящую рыбу.— А откуда вы знаете, что это было нападение?

— А как еще назвать, когда к тебе в комнату врываются два человека с оружием, заставив мальчика, который принес мне ужин, постучать в дверь условным стуком?

Сержант необычайно бережно нес сигарету с длинным столбиком беловатого пепла к пепельнице.казалось, от того, донесет ли он пепел или просыплет на боль-

шой, покрытый стеклом стол, зависит очень многое. Пепел благополучно оказался в стеклянной пепельнице, и сержант спросил:

— Условный стук? Выходит, вы боялись нападения?

— Да.

— Почему?

— Потому что боялся.

— Мистер,— угрожающе сказал сержант,— вы говорите не тем тоном. Я вас спрашиваю, почему вы боялись нападения.

— Я приехал из Уотерфолла.

— Ну и что? Да хоть бы с Луны — какое это имеет отношение?

— Имеет. Вы знаете, в чем разница между Уотерфоллом и Скарборо? — Арт посмотрел на сержанта пристальным и многозначительным взглядом.

— Да,— неопределенно кивнул сержант.— Уотерфолл — это не Скарборо. И наоборот.

— Мне казалось естественным,— продолжал Арт,— что если у меня неприятности в Уотерфолле, я лучше всего могу отсидеться в Скарборо. Но, кажется, у меня ничего не получилось, и сейчас я сидячая утка. А я не люблю, когда по мне стреляют, да еще прицельно... А я при этом сижу и жду.

Сержант переправил вторую порцию пепла в пепельницу, побарабанил пальцами по стеклу и сказал:

— Знаете что, я лучше доложу о вас дежурному офицеру, а вы уж сами с ним поговорите.

Сержант отвел его в небольшую комнату, и вскоре туда явился совсем молоденький полицейский лейтенант. Он вошел быстро, легко, словно пританцовывая, распространяя вокруг себя запах туалетной воды. Лицо его было розово и старательно-серьезно.

Он уселся за стол, немного поиграл телом: поежился, расправил плечи, погладил ладонями грудь. Должно быть, он хотел показать, как он устал и как тяжело работать целый день, охраняя общественный порядок в Скарборо.

— Имя? — наконец спросил он.

— Арт Фрисби.

— Место жительства?

— Уотерфолл. Грин Палисейд.

Лейтенант быстро взглянул на Арта.

— Значит, у мистера Кальвино? — уже с некоторой почтительностью спросил он.

— Выходит, так.

— И вы сами приехали в Скарборо? По своей воле?

— Я уже говорил сержанту, у меня там были неприятности.

— С боссом?

— Почти.

— И вы прятались в Скарборо?

— Именно. Я все это уже объяснял сержанту.

— И вы сами пришли сюда в участок?

— Да.

— Сразу после попытки нападения на вас?

— Да.

— А как вы осмелились высунуть нос на улицу? — подозрительно спросил лейтенант. — Они ж вас могли поджидать где-нибудь около отеля.

— Вряд ли сразу после нападения. Они могли рассуждать, как вы. К тому же не забывайте, что они все-таки из Уотерфолла, а здесь они чувствуют себя далеко не дома. И еще: одного я, похоже, все-таки задел.

— Ладно, — вздохнул лейтенант, — вы тут посидите, вот вам вечерняя газета, а я свяжусь с начальством.

Он вышел, и Арт услышал, как щелкнул замок дверей. Он встал, потянулся, подошел к двери, подергал — и впрямь заперта. Он развернул газету. На первой полосе было фото десятка искореженных и обгорелых машин. Над фото заголовок: «Новые данные о нападении дорожных бандитов на конвой из Скарборо». Новое заключалось в том, что в конвое были почтенные сотрудники нескольких солидных фирм из Скарборо, которые возвращались домой после служебной поездки. Ни слова, конечно, о Коломбо и ни слова о Кальвино.

Арт зевнул и отложил газету. Он не волновался. Пока все шло хорошо, все шло, как задумано. У Папочки даже не голова, а электронно-вычислительная машина. Пока он кругом прав. Удивительное дело: столько жира у одного человека, а мозги что надо. Папочка — это человек, таких не каждый день встретишь. Как он когда-то называл Арта? Ага, дитя природы. Это ж надо придумать — дитя природы. А в общем, наверное, так оно и есть. Кто его воспитывал? Отец, пьяный, слабый и безрукий? Мать, которая ему за всю жизнь улыбнулась, может

быть, два раза? Мисс Перл в школе? При воспоминании о маленькой, вечно испуганной старушке, которая звала их детьми и не знала, что такое белое снадобье, Арт даже хмыкнул — есть же на свете такие никчемные люди... Дети... А эти детки подворовывали, когда подворачивался случай, бегали за белым снадобьем для старших... Дети... Вот и впрямь выходит, что он дитя природы. Если, конечно, вся эта паршивая жизнь называется природой.

Снова щелкнул замок. Дверь приоткрылась, и розовый лейтенант кивнул Арту:

— Пойдемте, внизу ждет машина.

— Куда вы меня везете? — подозрительно спросил Арт. — Я отсюда никуда не поеду, пока вы не скажете, куда вы меня везете. Поняли? Никуда.

— Не волнуйтесь, мистер Фрисби. Вы же прекрасно понимаете, что здесь в участке мы вас держать не можем. Мы хотим вам помочь избежать повторного покушения на вас. Мы, конечно, могли бы пока сунуть вас в тюрьму, но это, согласитесь, не лучший вариант.

— Я тоже так думаю, — буркнул Арт.

— Поэтому-то мы решили отвезти вас на одну охраняемую ферму, где вы сможете переждать кое-какое время.

— Это было бы неплохо, — Арт бросил быстрый настороженный взгляд на лейтенантика, — но что-то мне не верится...

— Мистер Фрисби, — раздраженно сказал лейтенант, — нас ждут. Вы слишком подозрительны.

— Может быть, — пожал плечами Арт. — Иначе я бы не разговаривал сейчас с вами.

— Почему?

— Потому что был бы уже давно там, где нет званий.

— Нет званий? Где это? — Лейтенант с любопытством посмотрел на спутника. Он, очевидно, никак не мог допустить, что есть такие места, где он не мог бы красоваться своей формой.

— На том свете...

Длинная мощная машина стояла прямо у подъезда, и прежде, чем Арт успел сообразить что-либо, он уже сидел на заднем сиденье и на запястьях у него серебряно блестящие наручники. С обеих сторон его сжимали две молчаливые фигуры. Под тонкими пиджаками и брюками перекатывались металлические мускулы. Тела их бы-

ли горячи, словно были только что выкованы и еще не успели остыть.

Машина шла почти бесшумно. Двое по бокам Арта молчали, лишь у одного что-то булькнуло в желудке. «Чересчур спокойным быть тоже не годилось. Надо показать, что я нервничаю,— подумал Арт.— А то может создаться впечатление, что я догадываюсь, куда меня везут. А это не годится. Самое страшное, если с самого начала они меня заподозрят. Один раз нужно спросить. Не два — это было бы уже глупо и нарочито. Один».

— Послушайте,— сказал Арт, прекрасно зная, что ему ничего не ответят,— что все это значит?

Он не ошибся. Ему ничего не ответили. Генератор тепла слева пошевелил ногой и коснулся случайно ляжкой ноги Арта. Ляжка была нечеловечески твердой, и Арту на мгновение показалось, что рядом с ним вовсе не люди, а роботы.

Должно быть, он в конце концов задремал, потому что вдруг почувствовал, как у него затекла шея.

Машина замедлила ход, свернула с шоссе куда-то в сторону, несколько минут плыла в кромешной тьме, освещая себе путь фарами, свернула еще раз и очутилась у ярко освещенных ворот.

Сосед Арта справа молча и ловко ощупал его, вытащил из кармана пиджака пистолет и снова застыл в неподвижности, словно у него кончился завод.

Дверцы машины распахнулись. Сильный луч электрического фонарика на мгновение ослепил Арта и потух. Видно было, что машина стоит у металлического массивного шлагбаума. Вот машина тронулась, остановилась еще перед одним шлагбаумом, нырнула в длинный туннель из сосен, подъехала к приземистому белому зданию и затормозила. Открылась дверь, брызнула в темноту ярким светом, и чей-то голос спросил:

— Привезли?

— Да,— ответил человек, сидевший рядом с водителем.

— Обыскали?

— Чист.

— Давайте его быстрее. Босс ждет.

Глава 4

Джо Коломбо, глава гангстерской «семьи» Скарборо, строго говоря, не являл собой фигуру необыкновенную. Он не был ни отчаянным храбрецом, ни хитроумнейшим стратегом, ни безжалостным палачом. В равной степени он не был ни трусом, ни глупцом, ни добряком. Он был обыкновенным человеком, изучившим лишь в совершенстве правила игры, царившие в том мире, в котором он жил. Он никогда не нарушал этих правил, всегда следовал им и постепенно сделался их символом, хранителем традиций, олицетворением того порядка вещей, который создал его и который он укреплял. Он стал главой семьи, потому что никто лучше его не знал всего того свода и кодекса неписаных правил и законов, которые цементируют ее и удерживают пятьсот или шестьсот человек от взаимного уничтожения, не говоря уже о месте семьи в окружающем мире.

Он никогда не суетился, сохранял спокойствие, работал тщательно и никогда не оставлял недоделанных начинаний, ибо прекрасно знал, что неоконченное дело имеет иногда тенденцию превратиться в неожиданную автоматную очередь или никому не нужный скандал.

Были в семье люди более сильные, чем он, более храбрые. Стрелявшие лучше. Умевшие лучше, чем он, организовать нападение на конвой или убрать провинившегося толкача. Да, на отдельных дистанциях он мог и уступать другим, но в сумме многоборья он был недосыгаем и потому уже много лет возглавлял семью.

Теперь ему предстояло серьезное испытание. Может быть, самое серьезное из тех, с которыми приходится сталкиваться главе семьи. Предстояло определить, кто из тех нескольких человек, которые составляли его ближайшее окружение, стал предателем. Он знал, что поручить это расследование кому-нибудь еще нельзя, потому что он, и только он, должен собственноручно выполоть сорную траву, пока она не заглушила всего поля, возделываемого им уже больше четверти века. Да и кому поручить, если он не знает, кто продал его семью, и сам дознаватель может оказаться как раз тем, кого они ищут. Разве что сыну... Нет, он должен найти его сам.

Вот почему он сидел сейчас перед темноволосым мо-

лодым человеком, хотя было уже около полуночи, а он обычно уже давно спал в это время. Когда тебе за шестьдесят, цепляешься за режим, как утопающий за соломинку.

Джо Коломбо не торопился начать беседу с человеком из Уотерфолла. Он молча рассматривал его. Что-нибудь около тридцати. Лицо было бы даже приятным, если бы не угрюмость. Характер скорей всего нелегкий. По-видимому, упрям, самолюбив, вспыльчив. В последнем можно не сомневаться. Вряд ли кто-нибудь из членов семьи решит дезертировать по трезвому размышлению. Он будет обречен на месть своей семьи и постоянное подозрение новой семьи. Предателя могут ценить, но доверять — никогда. предавший раз может предать и второй раз. Предатель только тогда перестает быть предателем, когда занимает место того, кого он предал. Как раз то, что, очевидно, не прочь бы сделать и та змея, что где-то ползала сейчас по Пайнхиллзу. Сначала ослабить его, Коломбо. Одно нападение на конвой, другое. Один провал, второй, третий, десятый. Случайность раз, случайность два, а потом пойдут разговоры: «Стар стал, уже не тот, ни одной операции спланировать не может. А мы? Стоит ли издыхать под пулями только оттого, что старик цепляется за власть? Не пора ли?» И тогда тот, кто ждал своего часа, подаст знак. Или сам прошьет его автоматной очередью. Или затянет по старинному обычаю удавку на его шее. И улыбнется снисходительно. Каждому свое. Теперь его очередь.

Коломбо вздохнул, помассировал себе сердце, включил магнитофон и сказал человеку, стоявшему перед ним:

- Садись. Как тебя зовут?
- Арт Фрисби.
- Место жительства?
- Грин Палисейд, Уотерфолл.
- Член семьи?
- Да.
- Место в семье?
- Лейтенант.
- Сколько времени в семье?
- Восемь лет.
- Кто тебя рекомендовал?
- Толстый Папочка.

— Откуда ты его знаешь?

— Я пришел к нему одиннадцать лет тому назад и сумел убедить его, что смогу быть ему полезен.

— Чем ты убедил его?

— Тем, что в девятнадцать лет я бросил белое снадобье. Сам.

— Что помогло тебе бросить?

— Девушка, которую я любил и которая любила меня, тоже была на героине и покончила с собой. Она повесилась.

— И ты...

— Я ушел из Скарборо, набрал на какую-то ферму, валялся недели три в запертom сарае. Отошел. В девятнадцать лет это иногда бывает.

— Отец, мать?

— Отец упал с лестницы и разбился насмерть. Лет двадцать, наверное, тому назад, а может, и больше. Мать умерла чуть позже.

— Значит, ты попал к Толстому Папочке одиннадцать лет тому назад?

— Да.

— И всегда был под его началом?

— Да.

— Ты был к нему близок?

— Не знаю,— пожал плечами Арт,— мне трудно судить. Наверное, он доверял мне. Мне давали ответственные задания. Я, например, командовал последним налетом на ваш конвой.

Джо Коломбо внимательно посмотрел на Арта. «Если парень не врет,— подумал он,— он может оказаться ценней, чем я подумал сначала. У Папочки, в его жирных маленьких ручках, все нити».

— Хорошо,— кивнул Джо Коломбо.— Расскажи мне теперь со всеми подробностями о том, что случилось такого, что заставило тебя смотать удочки из Уотерфолла. Ты ведь как будто не из тех, кто перебегает с места на место.

Арт начал рассказывать о ссоре в баре. Говорил он скучным, равнодушным тоном, и Коломбо отметил про себя, что именно такие взрываются неожиданно и непредсказуемо.

— Ты хорошо запомнил момент, когда выстрелил в этого Кармайкла?

— Да,— кивнул Арт.— Безусловно. Я головы не терял. Этого со мной не бывает. Я все помнил. Я даже знал в ту секунду, что это конец всему, отдавал себе отчет, как видите. Но у меня было такое бешенство, я был готов на все...

— Гм,— усмехнулся Коломбо,— нельзя сказать, чтобы ты был очень логичен. С одной стороны, ты осознавал, что делаешь, с другой — был готов на все. Или ты действительно считаешь, что приставания пьяного стоят погубленной карьеры и риска для жизни?

«Первое впечатление, что он не врет,— подумал Коломбо.— Для лжи выбирают что-нибудь пологичнее. Впрочем, подождем пока с выводами. Выводы не убегут».

Арт молча пожал плечами:

— Наверное, вы правы. Мне просто кажется, что я создавал все... До этого я почти никогда не ссорился с Кармайклом. Ничего общего у нас не было.

— А ты вообще знал, что эта девушка Конни его родственница?

— Понятия не имел.

— Хорошо. Расскажи мне теперь, как ты добрался из Уотерфолла до Скарборо и что случилось в «Башне».

Арт рассказывал, а Коломбо думал о том, что уже начало второго, что давно уже пора спать, что завтра нужно кое-что проверить и лишь потом переходить к тому, ради чего он сидит в этой комнате перед этим угрюмым, вспыльчивым типом, который командовал тем налетом, когда он и его семья потеряли миллион двести тысяч НД плюс двадцать семь человек охраны. И хотя мысль о потерях была досадной, он не испытывал личной ненависти к этому Арту Фрисби. Его делом, делом Джо Коломбо, было благополучно доставить из Пейтона месячную прибыль его торговцев белым снадобьем, ростовщиков букмекеров подпольных тотализаторов. Дело этого парня было захватить деньги. Таков был у него приказ. И он его выполнил. Выполнил, надо сказать, здорово. И все же они никогда не смогли бы напасть на его конвой, если бы не шпион здесь, в Пайнхиллзе. Он снова начал привычно перебирать в уме имена людей из своего окружения. Пока пустые гадания. Тасование колоды вслепую. Вот если бы удалось вытащить из этого парня хотя бы

кончик ниточки, хоть какой-нибудь обрывок, он бы уж сумел распутать весь клубок. Но нет. Сначала нужно как следует проверить этого Фрисби. Кто знает, не подсадная ли он утка. Кальвино и особенно Папочка могут обвести вокруг пальца кого угодно. Пока им удастся даже обводить его, Джо Коломбо. Пока. Только пока.

— На сегодня хватит,— кивнул он.— Тебя, кстати, покормили?

Арт отрицательно покачал головой.

— Сейчас поешь.— Он вызвал по телефону сына и, когда тот вошел в комнату, сказал: — Во-первых, покорми человека. Стыдно, что семья Коломбо оказалась на этот раз не слишком гостеприимной. Проверь лично в «Башне», кто искал этого джентльмена и почему портье указал на его номер. Найди шофера такси — старенькое «шеви», — который вез того джентльмена в ночь на шестнадцатое из Уотерфолла в Скарборо. Узнай, как и где похоронили в Уотерфолле некоего Кармайкла и видел ли кто-нибудь своими глазами его в гробу... Ты все понял?

— Да, отец,— кивнул профессорского вида худощавый человек в очках с толстой оправой.— Тебе пора спать.

— Я тоже так думаю,— тяжело вздохнул Джо Коломбо и поднялся из-за стола.

Марвин Коломбо посмотрел на свой пробор в зеркальце заднего обзора — все было в порядке — и вылез из машины. Он был педантичен и настойчив. Он вошел в вестибюль «Башни». Несколько старух чутко дремали в провалившихся креслах. Стоило ему сделать несколько шагов, как они разом, словно повинувшись таинственной неслышной команде, открыли глаза и уставились на него с бесстыдством выживших из ума сплетниц.

Портье окинул его несколько иным взглядом — оценивающим его финансовые возможности и намерения — и изобразил на своем лице некое подобие улыбки.

— Добрый день, сэр,— пропел он.— Чем можем служить?

Младший Коломбо вежливо кивнул и тихо проговорил:

— С вашего разрешения я бы хотел побеседовать с вами.

— О чем? — уже недоверчиво и сухо спросил портье.

— О вчерашней стрельбе на шестом этаже. Комната шестьсот одиннадцать.

— У нас не было никакой стрельбы, — тихо прошипел портье. — У нас прекрасная репутация.

— Не спорю. Вы даже снабжаете своих гостей недурным героином и не хотите, говорят, делиться с теми, кому это дело принадлежит.

— Позвольте, позвольте, — надменно сказал портье, хотя за надменностью уже угадывался страх, — кто дал вам право на эти чудовищные инсинуации? Мало ли кто может зайти в отель и нагло потребовать...

— Я ничего не требую, — мягко сказал младший Колombo. — Я просто констатирую факт.

— А вы знаете, что за такие констатации делают? В лучшем случае превращают в котлету.

— К вашим услугам, — кивнул Марвин и протянул портье визитную карточку.

Тот взглянул на нее и на мгновение замер, словно робот после короткого замыкания.

Лицо портье бледнело сверху вниз. Сначала побелел лоб, затем краски ушли из носа, сделав его восково-синеватым, под цвет губ. Руки его задрожали, и он засунул их в карманы, отчего поза его вдруг стала вызывающей, никак не вязавшейся с испуганным лицом.

— Это неправда, — без особого убеждения в голосе сказал он и с трудом проглотил слюну. — Мы не торгуем героином. Но администрация, я лично... Мы могли бы... Если вы...

— Мне нужно, чтобы вы подробно рассказали мне, кто вчера разыскивал гостя, жившего в шестьсот одиннадцатой комнате.

— Хорошо, я вам все расскажу, как было...

— Да, пожалуйста, — улыбнулся Марвин Коломбо. Можно было бы, конечно, сразу назвать свое имя. На тех, кто его знал в Скарборо, а знали его почти все, оно производило впечатление. Но Марвин не любил размениваться по мелочам и пользоваться репутацией, которую заслужил отец. Он предпочитал метод, который называл «методом фактического давления». Нужно было просто

знать факты и дать понять собеседнику, что ты их знаешь. Вот и все.

— Этот человек, который остановился у нас, сразу показался мне подозрительным...

— Чем именно?

— Он был без багажа, сказал, что его еще не привезли... И вообще не джентльмен... Он совершенно не выходил из комнаты и никого не пускал, кроме посыльного, который приносил ему еду.

— Это все интересно, но мы отвлекаемся от темы, а темой нашей беседы была стрельба.

— Ах да, стрельба, я как раз хотел перейти к этому прискорбному эпизоду. Да, да. Вчера, стало быть, два каких-то человека пытались проникнуть в шестьсот одиннадцатый номер, но постоялец встретил их стрельбой... Вот, собственно говоря, и все.

— Прекрасно,— кивнул Марвин Коломбо.— Осталась одна маленькая деталь. Эти два человека прямо поднялись на шестой этаж?

— Д-да.

— Вы в этом уверены? Нет, нет, если вы уверены,— Марвин вежливо улыбнулся,— вам нечего выдумывать что-либо. Но если вы не совсем уверены...— Он вздохнул.

— Видите ли,— портье снова с трудом проглотил слюну,— видите ли... Я просто не придавал значения мелким деталям. Эти два человека подошли ко мне и показали фотографию. Я сразу узнал человека, который снимал шестьсот одиннадцатый номер.

— Сколько они вам дали?

— Пятьдесят НД.

— Допустим. Благодарю вас за информацию. С этого дня вы будете платить нам пятьдесят процентов своего дохода от продажи белого снадобья. И пожалуйста, придавайте значение мелким деталям. Как, например, суммы выручки. Иначе...

— О, миссис Кармайл, я вижу на вас траур...

— Да,— всхлипнула женщина и поднесла платок к глазам.— Муж... Он умер.

— О боже,— сказал мясник за прилавком и начал зачем-то вытирать о фартук руки,— не может быть... Ваш супруг... Кто бы мог поверить...

— Инфаркт...
— И долго он болел, бедняга?
— Не болел. Сроду на сердце не жаловался. Такие вот и умирают сразу. А те, кто болеет, те никогда не умирают. Шестнадцатого вечером. Сидел в баре—и упал. Меня все готовили, сказали только на следующий день...— Она снова всхлипнула.— Какой был человек...

— Примите мои самые искренние соболезнования, миссис Кармайл. — Как жаль, что я не был на похоронах...

— Спасибо, но мы решили похоронить его тихо.

— Бедняжка, столько всегда это хлопот... Пока сам не столкнешься со смертью, не представляешь себе, сколько это хлопот пристойно похоронить близкого человека.

— У Патрика, к счастью, был очень хороший начальник. Глава той фирмы, где он служил. Они взяли на себя всю организацию. Все, все сделали. Когда я увидела его, он уже лежал в гробу, весь в цветах. Совсем как живой...

— Мужайтесь, миссис Кармайл, вы ведь мать...

Пассажиров не было, и Арчи Томассен полудремал в своем такси. Лучи солнышка, проходя сквозь ветровое стекло, падали ему на лицо и приятно согревали его. Еще часа три надо работать, подумал он сквозь дрему, а потом домой. Шприц — и спать. Устал что-то за сегодняшний день. Надо бы, конечно, изловчиться и кольнутья пораньше, но он до сих пор избегал брать с собой шприц. И стибрить могут, и вообще он не какой-нибудь паршивый нарк, которому все на свете уже трын-трава...

— Эй, водитель, свободен?

Арчи открыл глаза. Двое лбов будь здоров... Но по виду не рвань, а скорее из организации. Дай бог. С организацией у таксомоторной компании соглашение. И сами не трогают, и даже в случае чего всегда подмогут.

— Куда вам?

— Шерман-авеню.

Арчи включил двигатель, и оба седока захохотали.

— Ну и дребезжит она у тебя... Всю привозишь к вечеру или по частям?

— Ишь, заржали...— тихонько пробормотал водитель, а вслух добавил: — Это просто вибрация. «Шеви» еще будь здоров. Недавно из Уотерфолла до Скарборо за четыре часа долетел.

— Так это, может, в дни твоей молодости,— снова засмеялись седоки.

— Как бы не так! Говорю вам, на днях. Ну совсем недавно. Еще выехал из Уотерфолла поздно вечером. Какого-то малахольного типа вез, всю дорогу молчал, хоть бы слово сказал.

— Остановись, водитель.

— Вы же сказали — Шерман-авеню...

— Остановись. Смотри на фото. Это он? Тот человек, которого ты вез из Уотерфолла?

— Точно. Смотри-ка, точно!

— Держи деньги. Смотри не потеряй по дороге задний мост!

— Ну, Арт Фрисби,— вздохнул Джо Коломбо,— продолжим наши беседы. Все, что ты пока мне рассказал, более или менее соответствует действительности. Меня, признаться, несколько удивляет, как это ты все-таки всплыл в баре... Ну, допустим. Бывает. Вот что, сынок, ты теперь скажи мне, слышал ли ты когда-нибудь там, в Грин Палисейде, разговоры о Скарборо? Я имею в виду нашу организацию.

— Конечно, дон Коломбо. Половину времени только о вас там и говорят. Все-таки вы — главные конкуренты. Завидуют вам. У вас семья и богаче и больше.

— Это понятно,— еще раз вздохнул Джо Коломбо. Его меньше всего интересовали комплименты.— Я имею в виду разговоры, которые показывали бы, что они хорошо осведомлены о наших делах.

— Трудно сказать... Когда мы с Папочкой обсуждали деталь засады против вашего конвоя, я, помню, спросил его, надежны ли сведения. Папочка весь засиял. Вам бы надо его видеть, когда он сияет. Прямо лоснится весь. «Надежны, фыркает,— это не то слово. Надежнее надежного».

— И все?

— А что вы хотите, чтобы я спросил его, кто именно тут у вас работает на нас? О таких вещах не спрашива-

ют... Может быть, если бы я знал, что окажусь у вас, разве что тогда.

— Это ты верно говоришь, Арт Фрисби. Но все-таки напряги свою память. Может быть, какое-нибудь имя, намек, обрывок фразы, что-нибудь...

— Я ж вам сказал, дон Коломбо, я все-таки был только лейтенантом...

— Ты знаком одиннадцать лет с Папочкой, а это кое-что да значит. Ты не рядовой лейтенант. Ты же говоришь, что тебе намекнули о poste советника...

— Да, дон Коломбо. И все-таки я бы рад вам помочь. Я ведь понимаю, что от этого зависит, может быть, моя жизнь, но я ничего не знаю. Я рассказал вам все. Если я вам больше не нужен...

— Не пузирись. Посиди спокойно, закрой глаза, покури не торопясь и вспоминай, вспоминай... Может быть, ты вспомнишь какие-нибудь слова, которые ты слышал от Папочки или Кальвино, которые ты просто не понял, которые казались тебе бессмысленными. Или неважными. Или просто болтовней, знаешь, такой бабьей болтовней, которую слишком часто ведут даже серьезные мужчины.

— Постойте, дон Коломбо, постойте... Вот вы сказали «слишком часто»... Погодите... Ага, вспомнил. Как-то, совсем недавно, Папочка позвал меня к себе. Когда я входил, он разговаривал с доном Кальвино. Босс его спрашивает: «А не слишком часто он бывает у этой дамы?» А Папочка смеется: «Он у нас человек пунктуальный. Два раза в месяц». Я еще подумал, про кого они это, но тут же, конечно, выбросил из головы.

— Так, так, Арт Фрисби. Я вижу, с тобой можно разговаривать. Я было уже начал думать, что ты можешь только стрелять по конвоям и делать людям во лбу маленькие дырочки. В Индии, говорят, наклеивают на лоб кружочки для красоты, а ты их делаешь совсем с другой целью. Хорошо, Арт, иди побей, Марвин тебя проводит, а мне нужно подумать.

Джо Коломбо выключил магнитофон и пересел со стула в глубокое кожаное кресло. Усталости не было и в помине. Так, так, так. Допустим, речь шла именно об их шпионе. Допустим, хотя, конечно, они могли говорить о ком угодно. Почему Кальвино могло интересовать, не слишком ли часто он бывает у какой-то женщины? До-

пустим, потому, что эта женщина тоже их агент и каждая лишняя встреча может представлять ненужную опасность. Она может быть связной. Хорошо, но не слишком вразумительно и убедительно.

Ладно. Весь мой штаб живет со своими семьями здесь, в Пайнхиллзе. Если шпион кто-нибудь из них, речь идет о его поездках в Скарборо. Два раза в месяц. Мало ли по каким делам туда ездят мои люди. Но он, конечно, к этой женщине ездил или ездит один, а это уже бывает не каждый день. Итак, надо проверить по журналу главных ворот, кто и сколько раз из штаба ездил в город один. Прекрасная идея, если речь шла о шпионе. Одно маленькое «если». Но пока не было других нитей, приходилось держаться даже и за этот кончик. Если семья в опасности, надо сделать все. Все, что возможно и невозможно. Речь ведь идет не только о нападении на конвой. Если позволить шпиону Кальвино безнаказанно действовать здесь, все планы, само существование семьи окажется под угрозой...

Глава 5

— Сюда,— сказал молчаливый провожатый и указал Клиффорду Марквуду на дверь без таблички.— Идите, босс ждет вас.

Марквуд толкнул дверь и очутился в скромном кабинете. За столом сидел седоволосый человек лет шестидесяти с небольшим с темными живыми глазами.

— Садитесь, доктор Марквуд,— кивнул хозяин кабинета на кресло у его стола.— Позвольте представиться: меня зовут Джо Коломбо. Вам это имя что-нибудь говорит?

— Я, конечно, слышал это имя,— осторожно ответил Марквуд,— но...— Он замялся и пожал плечами.

Коломбо быстро взглянул на него, будто уколол взглядом, и спросил:

— Вы догадываетесь о характере нашей организации? Вы ведь здесь уже больше месяца.

— Нет.— Марквуд, должно быть, хотел, чтобы его «нет» прозвучало естественно и убедительно. Он одновременно пожал плечами, покачал головой и изобразил на лице недоумение.

— Э, доктор, я начинаю в вас разочаровываться,— усмехнулся Коломбо.— Я предполагал, что человек с вашим образованием поймет, что самое лучшее для него здесь — это откровенность. Своим «нет» вы меня просто оскорбляете, доктор Марквуд. Судите сами. Вам платят раза в два с половиной больше, чем обычно. При этом вы даже не имеете отношения к тому, чем, собственно, занимается машина. Те немногие, с кем вам приходится иметь дело, избегают каких-либо разговоров о характере работы фирмы. Плюс вся прискорбная история с доктором Карутти, которая вас настолько взволновала, что вы предприняли целое расследование. И после всего этого вы хотите меня убедить, что вы не догадываетесь о том, кто мы?

— Видите ли, мистер Коломбо, все, что вы говорите, прекрасно укладывается в рамки фирмы, которая выполняет сугубо секретные исследования для правительства. Так во всяком случае мне говорил мистер Мэрфи, когда предлагал работу.

— И вы ему поверили? Я еще раз предлагаю говорить со мной откровенно.

Марквуд взглянул на седовласого человека за письменным столом. Что он хочет от него? Что скрывается за этими настойчивыми призывами к откровенности? Он ему не верит. Он видит его насквозь. Действительно, это идиотское отрицание умного человека может только раздражать. А этот Коломбо, по-видимому, человек далеко не глупый. «Хорошо, допустим, я буду с ним откровенен, что тогда? Не будет ли это означать, что в один прекрасный день я последую за Карутти? Может быть, на другом шоссе, но ведущем туда же — на тот свет. Но если он подозревает, что я догадываюсь, большая ли здесь разница? Не шоссе, так пуля; не пуля, так нож. Господи, мало ли способов у мистера Коломбо перестать во мне сомневаться...»

— Хорошо, мистер Коломбо,— вздохнул Марквуд,— я буду с вами откровенен. Это действительно упрощает игру. А то вы знаете, что я вру. Я знаю, что вы знаете, что я вру. Вы знаете, что вы знаете, и так далее...

— Это уже лучше,— улыбнулся Коломбо.— Так что вы знаете и о чем догадываетесь?

— Видите ли, мистер Коломбо, все началось с письма, которое я получил от Карутти...

— Я знаю,— кивнул Коломбо,— я читал его.

— Значит, ко мне действительно приходили домой? Я так до конца и не был уверен. Мне казалось, что в комнате кто-то курил...

— Вы не ошиблись. Я должен был знать, что он написал вам. Наивный чудака. Он тоже не хотел быть со мной откровенным. Впрочем, в отличие от вас он действительно ничего не понимал почти до самого конца. Он все время возился с машиной, все время что-то изменял и усовершенствовал. Я до сих пор не понимаю, как у него могли возникнуть подозрения. Но он все-таки догадался. И бросился к вам, а не ко мне, хотя моя покойная жена — его тетя. Но вы казались ему ближе. Вы дружили?

— Нет, просто учились вместе, некоторое время работали в одной лаборатории.

— Родство интеллектов?

— Карутти был намного талантливее меня. И отрешеннее.

— Последнее верно. За два года, что он провел у нас, он ни разу не подумал о том, что в коттедже у него могут быть микрофоны. Вы же в первый вечер постарались заткнуть чем-то микрофон в спальне. Он молчал. Ни шагов, ни дыхания, ни звука. Чего вы боялись? Вы что, разговариваете во сне?

Куда он клонит, напряженно думал Марквуд, чего он петляет все кругом да около? Неужели он знает о машине? Но это же невозможно. Не может быть. Но тогда что все это значит?

— Обычно нет, мистер Коломбо,— сказал Марквуд,— но согласитесь, что спать с микрофоном под боком не очень приятно. Даже оскорбительно...

— Может быть, хотя нормального человека этическая сторона электронного контроля уже давно не волнует. Он живет в окружении потайных и открытых микрофонов, он то и дело сует свою ладонь в определитель личности, чтобы тот сравнил его дактилоскопические узоры с теми, что вложены в его память. Его просматривают, досматривают, осматривают, слушают, прослушивают, подслушивают. А вас оскорбляет микрофон за подушкой. Ну, да бог с вами, теперь его можно смело снять. Но мы с вами отвлеклись. Что же, по-вашему, мы делаем?

— Мне казалось, что ваша фирма...

— Смелее, доктор!

— Гм... близка к мафии...

«Так, пожалуй, будет правильно,— подумал он.— Я догадываюсь, но я ничего конкретного не знаю. Да и не могу знать».

— А вы знаете, что такое мафия?

— Ну, в общих чертах...

— Это не так просто. Удивительно, как легко люди пользуются словами, значение которых они не знают. Мафия, мафия... Только и слышишь со всех сторон о мафии и хоть бы кто-нибудь задался вопросом: а что же это все-таки такое?

Так что же это все-таки такое? Когда-то в Сицилии слово «мафия» означало «убежище». Затем им стали называть тайную организацию, которая на протяжении веков защищала народ от самых разнообразных угнетателей. А их хватало всегда, и своих и чужих. И если сицилийский крестьянин когда-то и думал, что полиция может защитить его от несправедливости власть имущих, он быстро понял на своей шкуре, кому служит полиция и суд. Слово «полицейский» до сих пор не вызывает там трепета уважения. Как, впрочем, и в большинстве других мест.

И вот люди научились искать справедливости и защиты только у «мафиозо». Они были ближе им, они были одними из них. Выдать кого-нибудь полиции считалось самым страшным позором, который может пасть на семью. Закон «омерты» — молчания — стал править страной. Мать никогда не называла полиции имя убийцы ее сына, даже если знала его. Жена — убийца мужа. Брат — брата.

Постепенно, однако, мафия стала, в свою очередь, служить богатым. Так уж, доктор, устроен мир, что раньше или позже богатые используют в своих целях все, что могут. Но так случилось в Сицилии и вообще в Италии. Экспортированная за океан, мафия здесь быстро стала самостоятельной силой. Она не служила ни бедным, ни богатым. Она служила сама себе, обогащая своих мафиозо. Когда можно было наживаться на бедняках, мафия наживалась и на них.

Подпольные тотализаторы, проституция, игорный бизнес и, самое главное, торговля наркотиками — вот за-

казы всего общества в целом, которые мафия быстро и охотно выполняла.

Постепенно, с развитием наркомании, мы становились огромной силой. Мы решили, что пять процентов населения джунглей вполне могут красть год-другой столько, сколько мы требуем у них за героин — непревзойденный король наркотиков. Кстати, знаете ли вы, что когда в 1898 году героин был впервые выделен в Германии, его считали, в отличие от морфия, вполне безопасным, не ведущим при употреблении к наркомании? Бывают в истории науки ошибки, бывают. Итак, доктор, мы все подсчитали и пришли к оптимальной цифре — пять процентов. Они, эти пять процентов, заменяют нашей организации сборщиков налогов. Государство собирает свои налоги. Мы — свои. В среднем каждый из наркоманов тратит на белое снадобье около восьмисот НД в месяц. Это наш налог на общество. Поскольку наркоман в большинстве случаев не зарабатывает ничего или зарабатывает очень мало, он вынужден красть. Таким образом, мы одновременно сборщики податей и скупщики краденого. Больше пяти процентов наркоманов общество выдержать не может, ибо общество, так же как и поле, может дать лишь определенный урожай. Может быть, вы не поверите, но мы больше других заинтересованы в том, чтобы держать наркоманию под контролем. Мало того, мы вынуждены постоянно следить, чтобы к этому бизнесу не пытались присосаться независимые торговцы белым снадобьем.

Вы, господин доктор, шокированы. Вы не верите своим ушам — возможно ли такое? И как этот человек может произнести такие слова? Как у него поворачивается язык? Поворачивается, как видите. Просто нужно перестать мыслить жалкими старомодными понятиями. Добродетель, служение людям, благородство — все это прекрасные слова, великолепные слова. Но только слова. И так было всегда, и так будет всегда, потому что мы цивилизованные звери, живущие в цивилизованных джунглях. И мы отличаемся от обычных зверей лишь тем, что мы ненасытны. Ненасытны и жестоки. Наши дикие четвероногие родственники никогда не убивают ради удовольствия и никогда не убивают, когда соперник покорно подставляет шею в знак капитуляции. У нас это не проходит. Мы ненасытны и жестоки.

Но это одна сторона жизни. Другая же посложнее. Контролируемая нами наркомания во многом заменяет процесс естественного отбора в обществе. К шприцу ведь тянутся самые слабые, самые неприспособленные к жизни, которые заранее обречены. Мы лишь заставляем их, погибая, обогащать нас. Мы первые, кто превратил естественный отбор в бизнес.

Я смотрю на вас, доктор, и вижу в ваших глазах вопрос: а полиция, суд, правительство, государство? Они существуют, и мы делаем все, чтобы обеспечить их существование. Нас устраивает то, что называют парламентской демократией. Именно этот строй позволяет нам быть той силой, которую мы из себя представляем. И вы знаете, почему даже самые порядочные и благородные наши политические деятели в глубине души охотно мирятся с нами? Нет, я вовсе не имею в виду финансирование избирательных кампаний и прочее. Это просто и банально. Они знают, что мы, мафия, горой стоим за парламентскую демократию и сделаем все, чтобы защитить ее. Она нам нужна, ибо любой другой социальный строй и любая другая форма правления — страшная угроза для нас.

Конечно, прискорбно, что нам приходится эксплуатировать человеческие слабости, но ведь в принципе всякое общество потребления не только эксплуатирует человеческие слабости, но и создает их. Мы просто бизнесмены, доктор, стоящие формально вне закона. Но, повторяю, лишь формально. Фактически мы уже давно вписались в рамки закона, потому что закон создается тем же обществом, которое порождает и нас...

Марквуд сидел неподвижно, внимательно глядя на человека за письменным столом. Он видел благообразные черты спокойного, немолодого лица, совсем еще живые глаза, разделенные аккуратным пробором седые волосы, слышал тихий и спокойный голос человека, при- выкшего, что его всегда слушают. Человек за письменным столом был реальностью. Он существовал, в этом не было никакого сомнения. И все же Марквуда не покидало ощущение какой-то призрачности, нереальности, смутности происходящего. Ему казалось, что стоит только покрепче закрыть глаза, поддержать их закрытыми несколько секунд, а потом снова открыть, как мир мгновенно вернется в старое, доброе, привычное русло. Исчез-

нут эти молодые еще глаза, и седые благообразные волосы, и этот письменный стол. Все исчезнет, развеется ночным дрянным кошмаром. И он прошлепает босиком на кухню, выпьет стакан воды, посмотрит на часы — скоро ли вставать — и сладко задремлет снова, освобожденный реальностью от примерещившихся страхов. Но он знал, что сколько бы он ни закрывал глаза, хоть пластырем их заклеивай — Коломбо не уйдет в сон.

И дело было вовсе не в том, что Клиффорд Марквуд впервые в жизни узнал о существовании и размахе организованной преступности в их благословенной стране. Нужно было быть Карутти, чтобы не слышать об этом, не говоря уже о том, что он узнал у машины. Нет, его смятение было гораздо прозаичнее и эгоистичнее, ибо он знал, что теперь, после этого непрошеного признания, его жизнь уж никогда не будет прежней, если ему вообще суждено еще пожить. Но тут какой-то услужливый тоненький голосок подсказывал ему, что никакой особой угрозы его жизни нет, потому что ни один нормальный человек — а мистер Коломбо был более чем нормален — не станет рассказывать человеку такое только для того, чтобы отправить его к праотцам.

— Вы меня понимаете? — вдруг спросил Коломбо.

— В каком смысле? — растерянно пробормотал Марквуд.

— В прямом, — усмехнулся Коломбо.

— Д-да.

— Ну и прекрасно. Слава богу, цивилизация приучила нас понимать многое. Теперь послушайте внимательно, доктор. Мне нужен такой человек, как вы. Человек со стороны. Человек, который еще не пропитался духом Пайнхиллза. Далекий от его интриг. Практически не знающий здесь никого. Человек, для которого все здешние обитатели — абстрактные понятия, а не сплав симпатий и антипатий. Человек незаурядного ума, блестящий специалист... Вы, кстати, знаете, что ваш прежний босс, кажется, его фамилия Харджис, никак не хотел увольнять вас? Пришлось его основательно припугнуть... Итак, мне нужен такой человек, как вы.

— Для чего? — спросил Марквуд. Он вдруг вспомнил паука Джимми, закатанные в его паутину жертвы. Он был теперь мухой, и его спокойно, не спеша закатывают в паутинный кокон. И не вскрикнешь, не дернешься. Да

и стоит ли, когда вовсе тебе не больно, и не страшно, и, глядишь, может быть, сожрут тебя не сразу, а дадут еще потрепыхаться, подышать. И не думаешь о чудовищных откровениях человека за письменным столом, а занят лишь самой что ни на есть эгоистической мыслишкой — как все это отразится на нем, на Клиффорде Марквуде. А остальное — фу-фу, абстрактные понятия, тающий в небе дымок. Да, конечно, приятно считать себя стойким либералом, для которого принципы важнее набитого пуза. Но увы, надо посмотреть правде в глаза: принципы были хороши, пока дело не дошло до собственной драгоценной шкуры. И вот уже вместо принципов смотришь на седоволосого брата паука Джимми даже с некоторым уважением. Смотришь и слушаешь, как он уверенно и неторопливо журчит, ловко опутывая тебя в словесный кокон.

— О, я к этому как раз и собирался подвести разговор. Мне вообще нужен такой советник, как вы. Человек, как я уже сказал, со стороны, человек, еще не погрязший в наших распрях. А конкретно: мне нужно, чтобы вы помогли мне определить, говорит ли правду один молодой человек из Уотерфолла. Вы знаете, как устроен детектор лжи?

— В общих чертах.

— Узнайте подробнее. Мы сегодня же закажем такой детектор, а завтра вы соберете его. Если вам нужна какая-нибудь справочная литература, звоните по телефону, который вам даст Мэрфи, и заказывайте все. Не думайте о цене. Все только самое лучшее... До свидания, доктор Марквуд...

— До свидания, мистер Коломбо.

— Доктор Марквуд... вы знаете, когда я понял, что вы будете сотрудничать со мной?

— Нет.

— Когда я узнал, что второй раз своему знакомому полицейскому Ройвену Хаскелу вы не позвонили. Вы ведь поняли, что он сообщил нам, когда вы пытались узнать подробности о гибели Карутти?

— Да.

— И не позвонили еще раз. Тогда я понял, что вы умеете смотреть в лицо фактам. А это главное. И еще. Вы, наверное, думаете, зачем я потратил столько времени на вас, так витийствовал, когда речь идет

всего-навсего о сборке детектора лжи. Так ведь? Признайтесь.

— Да.

— Вот видите. Я бы действительно мог вам просто приказать, и вы бы, скорей всего, выполнили мое приказание. Вы ведь ученый и, как я уже сказал, умеете смотреть в глаза фактам. Но я хочу от вас не слепого послушания, а сотрудничества. Не потому, что вы мне понравились, боже упаси, я не сентиментален. Но вы обладаете таким товаром — тренированным интеллектом, которым лучше пользоваться в сотрудничестве с его владельцем.

Джо Коломбо улыбнулся, отчего его глаза еще больше помолодели и лучики морщинок возле них стали казаться нарисованными.

Глава 6

Марвин Коломбо никак еще не мог поверить удаче. Это даже было больше, чем удача. Это было неслыханным везением. Он приготовился было к многодневным поискам, к нудной, изматывающей нервы собачьей работе, но все оказалось настолько просто, что к торжеству примешивалось даже легкое разочарование. Часом раньше, разговаривая за ленчем с советником семьи Руфусом Гровером, он ловко перевел разговор на женщин. Он это делал со всеми в последние дни, и многие, должно быть, пожимали плечами. Раньше он не отличался репутацией Дон-Жуана. Руфус Гровер сказал ему:

— Ты знаешь, в чем мне как-то признался наш общий друг Тэд Валенти? Он сказал, что стоит ему пробить с женщиной минут пятнадцать, как ему уже страстно хочется, чтобы она провалилась в тартарары, а на ее месте появилась пара приятелей с колодой карт и бутылочкой виски. Я его спрашиваю: удастся ли ему сбрасывать своих дам в преисподнюю? «Нет, — говорит он. — Я придумал более простой способ. Я просто бываю у своей приятельницы не чаще двух раз в месяц и не больше пятнадцати минут. И сам убираюсь восвояси. Хочешь, говорит, познакомлю тебя с ней?»

Вот и все. Марвин Коломбо вошел в кабинет к отцу. Старик, уже совсем старик. Шестьдесят пять лет. Впро-

чем, вместе со своими камнями в печени он может еще жить и жить.

— Отец,— сказал он,— Тэд Валенти бывает у своей знакомой два раза в месяц.

Джо Коломбо снял очки, отчего его глаза стали казаться меньше и злее, и начал массировать лицо ладонями. Он вздохнул несколько раз, снова надел очки и невидящими глазами посмотрел на сына.

— Так,— наконец сказал он.— Тэд Валенти... Значит, он.

— Пока это только слова Руфуса Гровера, тем более что Гровер не слишком долюбливает Валенти, как, впрочем, и наоборот.

— Да, Марв, конечно, но слишком уж велики совпадения.

— Но зачем бы Валенти, если он действительно шпионит для Кальвино, рассказывать Руфусу Гроверу о своей любовнице?

— А почему бы и нет? Элементарная мера предосторожности. Мало ли кто мог увидеть его в городе. А так — пожалуйста, я и не скрывал. Рассказывал даже Гроверу, спросите у него. Хитрый пес... Найди ее, Марв, и обязательно привези ко мне, сюда. Я бы хотел сам поговорить с ней.

— Хорошо, отец, найду.

Марвин Коломбо поднялся на лифте на третий этаж. Шофер Валенти сказал, что номера он не помнит, но как будто из лифта направо. Удивительное дело, но похоже, что Валенти вовсе не делал тайны из своего знакомства с этой дамой. Вот здесь. Квартира тридцать четыре.

Он нажал на кнопку звонка. Дверь не открывали. Он нажал еще раз, прислушался. Ему почудилось, что где-то внутри скрипнуло, затихло. После пятого звонка из-за двери послышался старушечий голос:

— Кого?

— Мне нужно видеть Бернис.

— Нет ее.

— Когда будет?

— Кто ее знает, будет или не будет.

— Как — не будет?

— Так, не будет.

— Вы можете мне открыть?

Из-за двери донесся слабый, но ехидный смешок:

— Чего захотел... Она тоже чужим открыла... вона что получилось...

Марвин почувствовал, как у него забилося сердце. Что-то случилось, кто-то уже опередил их. Неужели это дело рук самого Валенти? Но старуха говорит — чужие. Мало ли кого мог он послать... Почувствовал, что что-то не так...

— Уверяю вас, бабуся, я с вами ничего не сделаю.

— Не-е,— донесся из-за двери еще один смешок,— не открою.

— Мне нужно просто поговорить с вами.

— Не-е, не открою. Она тоже чужим открыла... вона, видишь, что стало.

Он вышел на улицу и не без труда нашел привратника. Дом был из сравнительно дорогих, и при нем еще сохранился привратник, оказавшийся угрюмым человеком средних лет с костяной, отполированной лысиной.

— Мне нужна ваша помощь,— сказал Марвин.

Привратник ничего не ответил, лишь метнул на Марвина сердитый и обиженный взгляд.

— Мне нужно поговорить с женщиной, которая живет в квартире тридцать четыре.

— Ну и говорите,— неожиданно громко рявкнул привратник,— мне-то что! Я ей не хозяин. Я вообще никому не хозяин,— с отвращением добавил он и повернулся к Марвину спиной.

Марвин протянул ему пять НД, которые исчезли мгновенно, словно растворились в воздухе.

— И еще десять,— сказал Марвин,— если вы устроите мне свидание со старухой из тридцать четвертой квартиры.

— Ей же тыща лет,— привратник подозрительно посмотрел на Марвина,— ее же черт испугается.

— Я не черт. И мне с ней надо поговорить по делу.

Они снова поднялись на третий этаж. Привратник нажал на звонок и, не дожидаясь ответа, забарабанил по двери руками и ногами.

— Эй, ты, что, оглохла, старая? — заорал он.

— Чего разорался, лысый пес?

— Тут к тебе кавалер пришел.

- Сказала — не открою.
- Он тебе посулился пять НД дать.
- Бреешь ты все.
- Ей-богу. Сейчас он под дверь подсунет.

Марвин попытался было подсунуть купюру под дверь, но не смог — мешал наружный порожек.

— Ну видишь, — донеслось из-за двери, — я ж говорила, бреешь ты все.

— Да как же я подсуну, если не дает порожек? — сказал Марвин, подумал и добавил: — Вот что. Я оставляю вашему знакомому деньги и выхожу на улицу. Вы открываете дверь, берете деньги и выходите на улицу. Там мы и поговорим. Вы ж не боитесь выйти днем на улицу... Если вы выйдете, получите еще столько же.

— Ладно. Иди на улицу и жди там, — проворчала старуха из-за двери. — Я выйду.

Марвин спустился вниз и вышел на улицу. Недавно прошел дождь, и лужицы быстро подсыхали на раскаленном асфальте. Около подъезда на складном стульчике сидел старик. Глаза его были устремлены вдаль с сосредоточенностью слепого.

— Мистер, — тихо сказал старик, — почему вы остановились около меня? Я не люблю, когда останавливаются около меня.

— Почему? — зачем-то спросил Марвин.

— Я боюсь людей, — вздохнул старик.

— Я жду человека.

— А... — протянул старик, и Марвину почудилось, что в голосе его прозвучало разочарование, — я тоже жду.

— Кого?

— Жду. Просто жду. Все равно кого или что.

Хлопнула дверь, и из подъезда выползла толстая старуха с морщинистым, словно печеное яблоко, лицом.

— Это вы, что ли? — подозрительно спросила она Марвина. — Чего вам нужно?

— Привратник передал вам деньги?

— Попробовал бы не передать... Говорите, чего вам, а то я здесь на улице торчать не люблю. Вон пусть он торчит. Ему хорошо, он слепой.

— Расскажите, что случилось с Бернис.

— А чего рассказывать? Звонят это поздно вечером,

я уж и телевизор выключила в своей комнатке. Она сама и открыла. Это все я из своей комнатки слышу. У нас вообще хозяйка так мне говорит: «Если, говорит, я сама знакомым открываю, нечего тебе твой старый нос совать». Это она мне. А что я, можно сказать, вынянчила ее, это ей без внимания.

— Я понимаю,— кротко сказал Марвин.— Значит, она открыла. Что случилось дальше?

— А чего дальше?

— Это я вас спрашиваю.

— Да, вот я и говорю. Открыла она, и я слышу, спрашивает: «Что-нибудь случилось с Тэдом?» Тэд — это у нее есть такой. Лысоватенький, но вообще самостоятельный мужчина.

— Это он? — спросил Марвин и показал старухе фотографию Тэда Валенти.

— Смотри,— удивилась старуха,— он. Он, как и есть он.

— Ну, и что же случилось дальше?

— Дальше... Они заржали, а Бернис вскрикнула. То ли чего она увидела, то ли ударили ее — не знаю, врать не стану. Только замолчала она. Ну, думаю, сейчас до меня очередь дойдет. И шмыг под кровать. Вы не смотрите, я еще шустрая. И правда. Они там чего-то между собой поговорили, и я слышу, мою дверь открывают. Хорошо, я ее не заперла, а то они бы сразу поняли, что внутри кто-то есть. А так вошли они, покрутились. Я лежу ни жива ни мертва. Лежу, смотрю на ноги. Четыре ноги. В середине комнаты постояли, подошли к кровати. Один из них говорит: «Ты что, под подушкой ее искать собираешься?» Второй заржал и говорит: «Ладно, пошли, черт с ней». Я так и поняла, что это, значит, черт со мной. И слава, думаю, богу. Смотрю — и вправду ноги к двери двинулись. Ушли. Дверь за собой прикрыли. Ну, потом я как услышала, что дверь входная хлопнула, вылезла. Ну, думаю, сейчас я Бернис скажу, что больше я у ней работать не стану. Что хватит с меня. Что хоть я ее и вынянчила, но терпеть такую жизнь не намерена. Не для того я до седых волос дожила, чтобы, как кошка, от ейных знакомых под кровати шмыгать. Так ей и хотела сказать. А ее нет. Унесли ее.

— Как — унесли? Откуда вы знаете, что унесли? Вы ж были в своей комнате, да еще под кроватью.

— А я и не видела. Я, молодой человек, слышала. Перед тем как хлопнула входная дверь, один из них и говорит: «Ты смотри, маленькая, а тяжелая. Попробуй ее на себе волоочь. Пусть, мол, подкинет полсотни за тяжесть».

— Кто подкинет?

— А я почему знаю, какое-то имя вроде он назвал, да я не помню. Вот и все. Вы мне еще обещали пятерку.

— Вот, пожалуйста. И когда это все случилось?

— Да позавчера. Я все жду хозяйку-то. Только ни слуху от нее, ни духу. Ну ладно, я пойду, а то озябла я что-то. Да и Бернис вдруг позвонит.

— Значит, вы не помните, о ком они говорили, чье имя поминали?

— Нет. Я б сразу сказала, чего таить-то!

— Хорошо. Я еще раз приеду к вам завтра. Постарайтесь вспомнить имя. Если вспомните — четвертной ваш.

— Врешь ты, — недоверчиво сказала старуха.

— Ей-богу, — улыбнулся Марвин.

— Ну приезжай, даст бог, вспомню.

— Значит, — медленно сказал Джо Коломбо, — Тэд Валенти.

— Значит, Тэд Валенти, — эхом отозвался Марвин. — Теперь уже сомнений нет. Эта Бернис, очевидно, была связанной или что-то в этом роде. И как только они поняли, что мы что-то знаем, ищем эту женщину, они решили, что самое безопасное — просто убрать ее. Даже не убить, а похитить. Это вернее. По крайней мере нет трупа.

— А как та сторона определила, что мы что-то знаем? — спросил глава семьи.

— Во-первых, они же знали, что этот Арт Фрисби в Скарборо, а следовательно, у нас. Они прекрасно отдавали себе отчет, что мы постараемся из него вытрясти все, что в нем есть и чего нет. Во-вторых, Тэд Валенти сам мог почувствовать, что что-то не так. Мои разговоры о женщинах, какая-то напряженность в воздухе. В таких делах лучше всего перестраховаться. Тэд Валенти или сам посылает двух людей, чтобы убрать эту Бернис,

или сообщает в Уотерфолл, а те уж организуют похищение.

— Логично, сын.

Джо Коломбо редко называл Марвина сыном, и тот, отметив в голосе отца теплую нотку, взглянул на него.

— Значит,— еще раз сказал Джо Коломбо,— Тэд Валенти.

— Не переживай, отец,— мягко сказал Марвин.— Мало ли есть на свете мерзавцев...

— Я не переживаю,— пожал плечами Джо Коломбо.— Если я переживал бы все предательства, я бы давно сошел с ума. Чего переживать? Перекупили его. Он, наверное, не дешево обходился Кальвино.

— Сколько бы они ему ни платили, они все равно не внакладе. Только в последнем конвое было ведь миллион двести тысяч НД. Без него им бы сроду не только не захватить деньги, но даже пронюхать о существовании конвоя.

— А ты знаешь,— вдруг сказал Джо Коломбо,— если бы эта дама Бернис была на месте и с ней ничего не случилось бы, какие у нас были бы доказательства вины Валенти? Только то, что слышал Арт Фрисби, когда Кальвино спрашивал Папочку... Сейчас я найду на пленке это место.

— Не надо, отец. Я помню дословно. Кальвино спросил: «А не слишком часто он бывает у этой дамы?» Папочка ответил: «Он у нас человек пунктуальный. Два раза в месяц». Ты же немножко знаешь Кальвино. Это не тот человек, чтобы просто так интересоваться чьими-то амурными похождениями. А Тэд Валенти бывал у Бернис ровно два раза в месяц. Он сам говорил об этом Руфусу Гроверу, да и шофер Валенти, у которого я узнал адрес, тоже подтверждает: два раза в месяц. Два таких случайных совпадения столь маловероятны, отец, что можно считать их равными нулю. А то, что Валенти ездил к Бернис открыто, не скрывал, что его даже возил почти всегда шофер, так это, как мы говорили, тонкий расчет. То, что не скрывают, не вызывает любопытства. И если бы Арт Фрисби не прихлопнул бы в пылу ссоры товарища, и если бы до этого он случайно не услышал бы обрывка разговора между Кальвино и Папочкой, если бы он не попал к нам и если бы не вспомнил эти слова, Тэд Валенти был бы в безопасности.

— Логично, логично, сын. Ты не зря стал юристом. Ты, конечно, прав. Но знаешь, в глубине души у меня все-таки было еще сомнение в отношении Арта Фрисби. Не нравится мне эта ссора в баре, хотя Кармайкл действительно существует. Вернее, существовал, потому что его на самом деле ухлопали во время ссоры в баре. Все так, и все-таки интуиция подсказывала мне, что вряд ли он тот человек, кто из-за пустяка может продырявить на трезвую голову товарища по семье. Сегодня, после твоей информации, я понимаю, что сомневался напрасно, но вчера я все-таки попросил нового нашего специалиста по компьютерам собрать детектор лжи и поговорить с Артом Фрисби.

— Ты сказал ему, кто мы и что мы?

— Да.

— А не опасно?

— Он никогда не выйдет из Пайнхиллза.

— Как он отнесся к твоим словам?

— В общем, довольно спокойно. Он, конечно, о многом догадывался. Да и кого чем можно шокировать сегодня? Ладно, пойди позови Тэда. Интересно, что он будет говорить, как будет виться...

Тэд Валенти подошел к двери комнаты босса, но путь ему преградил телохранитель Коломбо.

— Я очень сожалею, мистер Валенти, но есть приказ забирать оружие у всех, кто входит к боссу.

— А что случилось? — встревоженно спросил Валенти.

— Не знаю, у меня приказ.

Валенти протянул телохранителю пистолет, постоял, пока тот ловко не ощупал его, и спросил:

— Теперь можно?

— Идите, мистер Валенти, босс вас ждет.

Валенти вошел в комнату. Он взглянул на главу семьи и наклонил голову:

— Добрый день, дон Коломбо. Вы звали меня?

— Да, Тэд. Марвин и я хотели спросить у тебя, сколько тебе платит дон Кальвино? Нет, нет, Тэдди, не волнуйся. Мы же не налоговое управление. Просто любопытно. Может, это действительно выгодно — шпионить? Расскажи нам, Тэдди-бой.

Коломбо внимательно посмотрел на Валенти и заметил, как тот с трудом проглотил слюну и неуверенно, как бы на пробу, сложил лицо в улыбку. Но улыбка мгновенно исчезла, когда взгляды их встретились.

— Так тебе не хочется ничего рассказать нам? — мягко, почти ласково спросил Коломбо. В его вкрадчивой неторопливой манере было что-то от кошки, которая собиралась поиграть с жертвой.

— Я... я не понимаю, — пробормотал Валенти. — Я не могу понять, шутите ли вы, дон Коломбо...

— Ну конечно, шутим. Шутим, почему же нам не шутить, когда у нас хорошее настроение, когда нам весело, когда, наконец, я знаю, кто предает и продает меня и всю семью. Согласись, это случается не каждый день, Тэдди, и не каждый день можно накинуть на шею бывшему другу, которого ты собственноручно вытащил из грязи, хорошенькую удавочку. Можно было бы, конечно, и просто пустить пулю в лоб, но не надо забывать традиций старой родины. Что ни говори, а в удавочке тоже что-то есть. Как ты считаешь, Тэдди?

— Это я шпион? — тонко вскрикнул Валенти.

— Ты, Тэдди, ты. И не заставляй меня повторять эти слова. Ты ведь лучше меня знаешь, сколько тебе платили.

— Нет, нет, нет! — снова крикнул Валенти и бухнулся на колени. — Богом клянусь...

— Ты же у нас атеист, — улыбнулся Коломбо.

— Клянусь всем, что вы сделали для меня, дон Коломбо...

— Так это я сделал, а не ты. Я тебя вытащил из джунглей, где ты под именем Эдди Макинтайра размещивал белое снадобье молочным сахаром, чтобы трижды обокрасть и тех, кому ты толкал героин, и тех, кто тебя им снабжал. Ты и капитан Доул, я вас вытащил обоих, когда вас хотели наказать, чтоб другим было неповадно красть у тех, кто тебя кормит. Доул сегодня наш уважаемый сенатор, гордость Скарборо. Сенатор и уважаемый бизнесмен, у которого вложено в дела почти полмиллиона. Ты же, Тэд Валенти, дослужился до советника семьи. У тебя жена и двое детей, на которых ты получил лицензии. Ты уважаемый гражданин. Ты неплохо работал, потому что чем выше ты поднимался под моим крылом, тем больше, надо думать, тебе платил дон

Кальвино. Это логично. У шпионов ведь тоже ценят квалификацию.

— Го-осподи, го-оо-споди...— взвыл Валенти и ударил головой об пол.— Что я сделал? Это ложь, ложь, ложь!.. Слова здесь нет правды, дон Коломбо, клянусь вам! Детьми клянусь! Кто, кто мог вам нашептать такое? Почему вы так решили, почему вы отвернулись от меня? Жизнь моя вся прошла у вас на виду...— Он начал всхлипывать.

— Ты неплохой актер,— улыбнулся Коломбо и несколько раз хлопнул в ладоши.— Я аплодирую твоей игре, потому что я человек справедливый. Что хорошо, то хорошо. Теперь послушай. Я ничего не буду от тебя утаивать. К нам из Уотерфолла перебежал человек. Он рассказал, между прочим, о разговоре, который он случайно услышал и который вели между собой дон Кальвино и Папочка. Кальвино беспокоился, не слишком ли часто ездит один человек к своей даме, а Папочка успокоил его: человек этот пунктуальный, ездит два раза в месяц. Этот человек ты.

— Дон Коломбо,— протянул руки Валенти,— это вы говорите о Бернис? Так спросите ее, она вам подтвердит под пыткой, что ничего у меня и в мыслях не было.

— Она ничего не подтвердит.

— Почему, дон Коломбо? Почему? Сжальтесь надо мной, почему?

— Ее похитили. Ее нет.

— Кто похитил? Зачем?

— Это я как раз тебя хотел спросить.

— Найдите ее, богом вас заклинаю...

— Ты к ней так привязан?— улыбнулся Коломбо.

— Нет, чтобы она подтвердила мою невиновность.

— Хватит, ты становишься смешон. Оставайся хоть мужчиной.

— Но я же не скрывал, что езжу к ней. Все знали об этом.

— И даже в Грин Палисейд? Даже дон Кальвино знал?

— Господи, что же это? — Валенти на коленках добежал до кресла, в котором сидел Коломбо.— Господи, это же заговор врагов моих! Я знаю, дон Коломбо, это все чудовищные интриги Руфуса Гровера. Он ненавидит

меня. Да, я ему говорил, что езжу к Бернис. Разве это преступление? Я сам предлагал познакомить его с ней.

— Хватит, Тэд Валенти, ты мне надоел. У меня все уши полны твоим визгом. Будь мужчиной. Ты ведь у нас атеист, так что тебе нечего беспокоиться из-за ада. Эй,— крикнул он,— возьмите его!

Дверь бесшумно распахнулась, и в комнату вошел телохранитель дона Коломбо. Он легко, словно ребенка, поднял Валенти с ковра и посмотрел на босса.

— Запри его пока в подвале.



Часть четвертая. МАРКВУД И ФРИСБИ

Глава 1

Клиффорд Марквуд вылез из-под душа, вытерся и посмотрел на себя в зеркало. Удивительный все-таки перед ним был человек, решил он. Мало того, что физиономия у него всегда была асимметричная и унылая, теперь в ней появилось что-то совсем отталкивающее. Блудливо-самодовольные глаза, трусливо-жесткие губы. И не мудрено, впрочем. Доктор Клиффорд Марквуд — друг гангстерского лорда. Друг и поверенный. Интеллигентный и образованный человек, которому так ин-

интересно читать лекции по истории мафии. Кто сможет еще так оценить тонкие силлогизмы седовласого джентльмена? Никто. Народ все грубый. Стрелять? Пожалуйста! Торговать? Пожалуйста. Нажраться? Пожалуйста. А вести после стрельбы тонкие просвещенные беседы — для этого, извольте, мы держим специального человечка. Как же, как же, с образованием. Настоящий доктор наук. И не какой-нибудь адвокатишко, который стоит в очереди перед дверями мафии — авось возьмут, специалист по компьютерам. И заметьте, человек со стороны, будней наших не знает, все ему в диковинку. Надо будет вас познакомить. У него, представляете, еще есть совесть... ха-ха... представляете? Правда, чуть-чуть, но есть еще, и так забавно следить, как он ее, совесть, выжимает из себя. Что вы хотите, человек он образованный, не может просто вспороть кому-нибудь брюхо, как это делаем мы. Должен же он помучиться немножко. Нет, нет, я вам его не уступлю, мне свой ученый тут нужен.

Да, Клиффорд Марквуд, это ты можешь. Что-что, а по части самобичевания ты мастак. Эксперт по шахматно-шахсей-вахсею. Прекрасный клапан. Самопобичуешься, и уж не так трудно на компромисс идти. Я ведь уже страдал. Я ведь уже самобичевался. Духовные муки испытывал. Изжога даже вечером была, алка-селтцер принимать пришлось, целых две таблетки.

Ну хорошо, а если не на компромисс? Если сказать: мистер Коломбо, я вас презираю и ненавижу. Вы чудовище. Я отказываюсь иметь с вами дело. Я буду всеми силами бороться с вами. Всегда и везде. Что вы говорите? Стать сюда? Зачем? Ах, чтоб не забрызгать мозгами ковер, когда вы сейчас будете стрелять в меня? Нет, дон Коломбо, я вас предупредил, что буду бороться против вас — я забрызгаю своими мозгами ваш ковер, причинив вам тем самым ущерб в пять НД на химичку.

А если серьезно? А если серьезно, то на душе мутно, а что делать, не известно ни мне, ни даже мудрой машине. Пока ждать, даже отдавая себе отчет, что с такого безропотного ожидания, когда человеку кажется, что он лишь выжидает благоприятного случая, чтобы потом проявить верность принципам, и начинается предательство. Кто определит, что такое благоприятный случай? То, что имеешь сегодня? Пожалуй, нет. Надо подождать, может, завтрашний день принесет действительно

благоприятный случай. А принципы? А что принципы, я ж им верен. Просто жду благоприятного случая.

Он сварил себе кофе, выпил пару чашечек и вышел на улицу. Хвойный густой воздух настаивался на солнечных лучах. В торжественной сосновой тишине слышно было, как деревья, потрескивая, разминают суставы. Пайн-хиллз. Сосновые холмы. Богом благословенное место. Дорогое место. Стоило миллионы. Миллионы НД, по крохам собранные, скопленные, уворованные нарками для короля Гангстерляндии, его светлости дона Коломба Первого.

Под ногами у него хрустнула сухая веточка, и на мгновение ему почудилось, что это хрустнуло стекло шприца. Ничего удивительного. Эти благословенные холмы стоят на шприцах. Не Гангстерляндия, а Шприцляндия...

Арт Фрисби уже ждал его. Рядом стоял дюжий парень.

— Возьмете его наверх, мистер Марквуд?

— Да, в мою комнату.

Они молча поднялись по лестнице.

— Мне помочь вам? — спросил парень.

— Да нет, я сам справлюсь, спасибо, — кивнул Марквуд.

Они остались вдвоем и оценивающе осмотрели друг друга.

— Как вас зовут? — спросил наконец Марквуд у Фрисби.

— Арт Фрисби. — Ответ был четкий и старательный, как у ученика, который хочет показать учителю свою дисциплинированность.

— Прекрасно. Будем знакомы. Меня зовут Клиффорд Марквуд, и мне поручили произвести испытание вас на детекторе лжи... Вы знаете, кстати, что это такое?

— Так, — пожал плечами Фрисби, — в самых общих чертах.

— Ну хоть назначение его вы себе представляете? — Марквуд вдруг почувствовал, что говорит снисходительным тоном сержанта, обращающегося к новобранцу. Боже мой правый, я презираю человека за то, что он плохо знает, что такое детектор лжи!

— Назначение? — переспросил равнодушно Фрисби.

— Да.

— Догадываюсь.

Марквуд посмотрел на Фрисби и подивился какой-то апатии испытуемого, глубокому безразличию, наконец, просто отсутствию самого элементарного любопытства. Не его, Марквуда, собирались испытывать, а он, и тем не менее сердце у него билось учащенно. Он волновался. Конечно, можно погладить свое «эго» по головке и сказать себе, что это свойство всех тонко организованных натур. Перед ним человек, похожий на корову, ведомую на убой. Она спокойно пережевывает в блаженном неведении свою жвачку, а он, тонко организованный поводырь, переживает за корову. Но все это — самое элементарное и самое привычное для него принаряживание своей трусости, ее облагораживание. Что ни говори, а по этой части он мастак. Ни подлости, ни трусости — один лишь трепет высокоорганизованной нервной системы.

Он усадил Фрисби на стул и долго и неумело возился с датчиками, прикрепляя их клейкой лентой к его телу. Наконец он управился со всем: пульс, электропроводимость кожи, дыхание и другое. Датчики он соединил с машиной.

Он начал задавать вопросы, помня об инструкциях, которые получил от Коломбо. Мистера Коломбо несколько смущала ссора в баре, и нужно было подойти к ней неожиданно. Поэтому вопросы вначале были отвлекающие, безобидные, простые. Он заранее договорился с машиной, что она будет анализировать одновременно и сами ответы как таковые, и показания физиологического состояния Фрисби. Замечания и указания машина должна была сообщать по радио, и в ухе у него был вставлен крошечный приемничек.

Арт отвечал на вопросы скучным, ровным голосом.

— У меня впечатление,— вдруг сказала машина,— что его угрюмость, как бы внутренняя замороженность, в общем для него привычны. Он не стал таким с момента ссоры в баре. Скорее всего, причины формирования такого характера лежат где-то глубже...

Марквуд посмотрел на Фрисби. Вот перед ним сидит ладно скроенный человек лет тридцати, с правильными, но маловыразительными чертами лица и ждет очередного дурацкого вопроса. Человек, устроенный так же, как он. Его земляк по планете. И он не понимает его, не знает его. Словно все они заряжены одноименными зарядами

и не могут приблизиться друг к другу. Что в голове у этого Фрисби, что за пружинка заставляет его двигаться, думать, жить? Кто он, что он, для чего он? Неужели нельзя преодолеть одноименность зарядов и приблизиться друг к другу, не испытывая взаимного отталкивания? Ах, ах, тут же поймал он себя, какие прекрасные слова! Земляк по планете. А он, тонко организованный Клиффорд Марквуд, пытается этого самого земляка поймать, дабы укрепить или развеять подозрения гангстера. Для чего он играет эту дурацкую роль? Только ли оттого, что в услужении Коломбо для него есть какая-то надежда? Надежда на что? На то, что он выживет? А для чего?

— Послушайте, Фрисби,— сказал Марквуд,— для чего вы живете?

Фрисби поднял глаза и посмотрел на Марквуда. Он, должно быть, ожидал улыбки, но Марквуд был серьезен.

— Не знаю,— медленно сказал он.— А вы знаете? Вы человек образованный, а у меня четыре класса за душой. Вы даже книги, наверное, читаете. Вот и объясните, для чего вы живете.

— Не знаю.

— А чего ж вы меня спрашиваете?

— Мне на минуту показалось, что у вас есть цель в жизни. Что вы, в отличие от меня, знаете, для чего вы дышите и шевелитесь. Мы ведь все дергаемся, как заводные игрушки. Бегаем, чтобы было что поест, где поест, на что купить, с кем лечь спать. Это все не цели...

— А... Верно... Цель — это другое. У меня, если подумать, бывали цели...

— Легкое отклонение от нормы,— слышался в ухе у Марквуда голос машины,— разговор о цели имеет для Фрисби эмоциональную окраску.

— Какие же? — спросил Марквуд.

— Разные,— пожал плечами Фрисби,— в разное время разные. Бывают цели поменьше, бывают покрупнее. А бывают и такие, которые помогают жить.

— Еще раз обращаю внимание,— пискнуло в ухе у Марквуда,— разговор о целях волнует его, но он старается держать себя в руках.

— Возможно,— кивнул Марквуд Фрисби.— Даже не возможно, а безусловно. Вопрос в другом. Ну хорошо, у вас есть цель. Вы ее достигаете. Допустим. А что дальше? Вы ставите себе новую цель?

— Не знаю,— покачал головой Фрисби.— Я в философии не разбираюсь. Каждый живет, как может. Один — одним, другой — другим. Люди себе цели не ставят. Жизнь их ставит.

— А вам какие цели ставила жизнь?

— Разные. Я вот когда был совсем еще сопливым, поставил себе целью стать сильнее одного мальчишки, который меня тиранил... — Фрисби слегка улыбнулся, словно ему было приятно вспоминать, как его тиранили.— Я устроил себе что-то вроде турника из куска трубы. Сначала я не то чтобы подтянувшись, даже висеть толком не мог. А потом пошло...

— И вы поколотили своего тирана?

— Да. Это был хороший день.

— Мне кажется, у вас должна быть сильная воля.

— Может быть,— пожал плечами Фрисби.— Не знаю.

— Но вы ведь, кажется, пристрастились к героину и все-таки сумели бросить. Так во всяком случае вы говорили мистеру Коломбо.

— Это правда.

— Но бросить героин чудовищно трудно. Практически невозможно. Он же включается организмом в процессы обмена. Что вас заставило бросить?

— Все датчики регистрируют эмоциональное отношение к вопросу,— предупредила машина.

— Мне повезло,— еле заметно усмехнулся Фрисби.— Я полюбил одну девушку. А она повесилась. Из-за белого снадобья. Она, выходит, тоже была волевым человеком. Обычно нарки умирают медленно. Так, что они даже сами не замечают, как окочуриваются, не говоря уж об окружающих. Может, это потому, что и жизнь-то нарка трудно назвать жизнью... Так... А она решила умереть сразу... Тогда я и надумал бросить.

— Почему? Вы были потрясены ее смертью. Я понимаю. Но все-таки как вы бросили? Наоборот, в вашем состоянии тогда естественно было бы искать успокоения в наркотиках.

— Наверное, вы это понимаете лучше. А я думаю, что мне удалось все-таки бросить из-за сильного чувства.

— Любовь к этой девушке?

— Нет, не совсем. Мне кажется, из-за любви того не сделаешь, что сделаешь из-за ненависти.

— Эта тема необыкновенно для него важна,— сообщила машина Марквуду.— Он справляется с волнением только усилием воли. Не нажимайте на него.

— Простите, Фрисби, я вас не совсем понимаю. Ненависть — это действительно сильная штука. Кого вы ненавидели?

— Был толкач, который сначала меня подколот обманом, а потом, когда Мери-Лу — так ее звали — все старалась помочь мне бросить, он ее убедил, что вдвоем бросить легче. Что она меня лучше понимать будет. В общем, и ее приспособил к шприцу. Его-то я и возненавидел. Хотя, если как следует разобраться,— задумчиво протянул Фрисби,— я его возненавидел только потому, что уж очень сильно любил ее. Вот ведь что получается: без любви не было бы и ненависти.— Он усмехнулся и покачал головой, удивленный, должно быть, своим открытием.

— Ну и что, удалось вам еще встретиться с ним?

— Да нет, все это давно было. Одиннадцать лет тому назад... Так вот, вспомнил тут с вами. А так все это дело забытое...

— Сильный сдвиг всех показаний датчиков. По-видимому, ответ представляет сознательную ложь,— пропищало в ухе Марквуда.

— А как его звали? — спросил Марквуд и посмотрел на Фрисби. И без анализа машины видно было, что вопрос был собеседнику неприятен.

— Не помню. Мало ли было толкачей... Если б я всех толкачей, с кем приходилось иметь дело, помнил, у меня б голова давно лопнула бы...

— Безусловно, сознательная ложь,— констатировала машина.— По-видимому, имя и личность этого толкача играют в жизни Фрисби большую роль. Именно играют, а не только играли. Слишком велика эмоциональная реакция. Мне кажется, что следует пойти обходным путем. Постарайтесь узнать, где все это происходило. Когда, мы уже знаем. Примерно одиннадцать лет тому назад.

— Послушайте, Фрисби, вот вы сказали, что ненависть важнее в жизни, чем любовь. Ну, допустим, что вы сейчас так думаете. Допустим даже, что вы правы. Но в детстве вы, наверное, были другим? Пока жизнь не повернулась к вам своей жестокой и грозной стороной.

Фрисби исподлобья посмотрел на Марквуда. Стран-

ный человек, подумал он. Станные вопросы, глупые вопросы. Чистоплюй из ОП. Но ведь он сам-то здесь, у Коломбо. Что же строить из себя наивную девицу? Или все они, с образованием, чокнутые?

— Позвольте вас спросить, мистер Марквуд, вы сами где выросли, не в ОП, случайно?

— Да.

— А я в джунглях. А в джунглях жизнь не крутится перед их обитателями то одним, то другим боком. Она вам не вертихвостка какая-нибудь. Она всегда повернута к ним одной стороной. На то это и джунгли.

— Где вы выросли? Я имею в виду, в каком городе. Здесь, в Скарборо.

— Где именно?

— Рипаблик-авеню и Тридцать вторая улица. Если вы представите не просто джунгли, а болото в джунглях, так это как раз там...

Марквуд на мгновение вообразил, как перетряхивает свою магнитную память машина, которая должна помнить всех тех, кто работает или работал на семью Коломбо. Если этот толкач не был диким...

— Это участок Тэда Валенти, которого тогда звали Эдди Макинтайр,— передала машина.

«Так, спокойно, не торопись,— сказал себе Клиффорд Марквуд.— Обдумай все спокойнее. Этот человек, Фрисби, конечно, знает, что Эдди Макинтайр стал теперь Тэдом Валенти и входит в число самых приближенных к Коломбо людей. Знал и скрывал, что знает. Почему? Наиболее естественный ответ: боялся за свою шкуру. Ведь могли бы тогда подумать, что он оказался здесь для мести и вся история с побегом из Уотерфолла лишь инсценировка. Что значит инсценировка? Какая, в конце концов, разница, убил ли он Кармайкла в порыве гнева или для того, чтобы его появление здесь, в Пайнхиллзе, выглядело правдоподобным? Но раз Кармайкл действительно убит, выходит, он был убит хладнокровно, только для инсценировки? А может быть, в инсценировке принимал участие не он один? Нет, это уже область чистого вымысла. Чистая спекуляция.

— Когда вы узнали, что Тэд Валенти когда-то назывался Эдди Макинтайром? — спросил Марквуд.

— Не помню,— медленно сказал Фрисби и пожал плечами.

— Безусловно — ложь, — комментировала машина. — Кроме того, ему вообще следовало бы несказанно удивиться. Это его первая грубая ошибка. Ведь из всего предшествующего разговора должно было явствовать, что он даже Макинтайра не помнит, а не то, что Макинтайр и Валенти — один и тот же человек. Теперь задайте ему вопрос: сам ли он узнал, что Эдди Макинтайр служит в семье Коломбо, или ему сказали.

— Скажите, Фрисби, вы сами узнали, что Макинтайр и Валенти — одно и то же лицо, или вам кто-то сказал об этом?

— Сам.

— По всем физиологическим показателям — ложь. Пульс сразу дошел до девяноста против его обычных семидесяти двух. Марквуд, начните снимать с него датчики и, когда вы все их снимете и он начнет успокаиваться, задайте ему вопрос, для чего его послали в Пайнхиллз. Спросите между делом, небрежно. Я буду следить за его голосом и выражением.

Марквуд посмотрел на Арта Фрисби. Тот устало опустил плечи, но лицо его по-прежнему было непроницаемым и неподвижным. «Думающий компьютер да еще человек — не слишком ли много для одного гангстера с четырьмя классами образования?» — подумал Марквуд. В нем впервые шевельнулось нечто похожее на симпатию к человеку, сидевшему перед ним. Почему вообще он проявляет такое рвение в вопросе? Почему он, ученый, привыкший думать, что он сам себе хозяин, вдруг лезет из кожи, чтобы помочь одному бандиту поймать другого? Что ему вообще до этих людей с их заботами? Ну хорошо, раз попал он сюда, в это осиное гнездо с философствующим гангстером во главе, — значит, попал. И вряд ли выберется отсюда вообще. Но загонять в угол ближнего при помощи думающей машины? Да еще испытывать при этом охотничье возбуждение? До каких же пределов подлости может человек докатиться и оправдывать себя при этом? Хотя бы азартом охоты или поиска...

Он молча подошел к Фрисби и подумал, что надо иметь железные нервы или вообще ничего не понимать, чтобы сохранять такое спокойствие. Но он же понимает. В его мозгу бушуют бури: страх, ненависть, боязнь, что вот-вот он проговорится... Нет, право же, в неподвижном лице Фрисби было что-то стонческое, индейское...

Марквуд начал снимать с Фрисби датчики. Тот облегченно вздохнул, слегка развел руками, разминая затекшие плечи.

— Да, Фрисби,— как можно небрежнее спросил вдруг Марквуд,— а чего вас все-таки послали сюда, в Пайнхиллз?

— Не знаю,— машинально сказал Фрисби и тут же вздрогнул, словно его ударил электрический ток.— Я хочу сказать, что не понимаю вас,— добавил он и сам понял, что голос его звучит жалко и неубедительно. Он побледнел. Кулаки его несколько раз сжались и разжались.— Меня никто не посылал,— твердо сказал он.— Никто. Все было так, как я рассказывал дону Коломбо. Можете меня пытаться.

Значит, его послали сюда. Значит, нюх мистера Коломбо не подвел его. То, что произошло в баре, было инсценировкой. У Арта Фрисби есть цель. Им движет ненависть. Ненависть к Макинтайру-Валенти. Значит, те, кто его послал, тоже хотят причинить вред Валенти. Ну что ж, у этого парня хоть есть в жизни цель. Хоть негативная, но цель. А у меня нет. Ни негативной, ни позитивной. Он не боится, а я боюсь. Боюсь всего. Я и пошел-то сюда только из-за страха. Из-за страха остаться без работы и быть вышвырнутым из привычного ОП в джунгли. Мэрфи и его хозяин не ошиблись во мне. Именно такие мучающиеся трусы и служат хозяину лучше всех.

Его мысли прервал голос машины:

— Я бы сообщил о результатах дону Коломбо. Мне кажется, что детектор лжи кое-чего стоит. Это может пригодиться...

Глава 2

Марвин Коломбо снова подошел к знакомой уже двери и нажал на кнопку звонка.

— Кто там? — почти сразу ответила старуха.

— Мы с вами вчера беседовали...

— Ну, слава те господи,— услышался облегченный вздох, и дверь распахнулась.— А я уж боялась, что вы не придете, мистер. Деньги при вас?

— Какие деньги? — рассеянно спросил Марвин.

— Это как какие? — испуганно спросила старуха,

стоя прямо перед Марвином и глядя ему в глаза. — А кто мне полсотни НД обещал, ежели я вспомню? — В голосе старухи появилась дребезжащая визгливость. — Я целную ночь глаз не сомкнула — все вспоминала, чуть голова не лопнула, а у меня и так давление, а ты прикидываешься, что не знаешь, какие деньги...

Марвин потряс головой. Не может быть. Два раза подряд так не везет. Сейчас старуха исчезнет, растает, и он снова окажется за своим письменным столом и юркнет, как мыш, в гору документов. Но старуха не исчезала, и Марвин сказал с нежностью, которая была для него непривычна:

— Да есть же деньги, вот они. Хотите — две по двадцать пять. А хотите — одной бумажкой.

— А ну как я скажу тебе, вдруг ты денег мне не дашь? Когда вам надо, все вы ласковые. А я всю ночь глаз не сомкнула. Ну ни на минутку, все вспоминала... И с этого бока, и с того. И так, и эдак. Вот-вот, кажись, вспомню — и снова ускользает, словно мылом смазано. Чуть было не рехнулась. Уж совсем было решила — черт с ними, с деньгами-то! Польза от них, черт их бери! И тут вдруг и вспомнила. Слово как озарило сразу.

— Берите деньги. Не стесняйтесь! — почти крикнул Марвин. — Я-то не боюсь, что вы обманете.

— Ну и правильно, — степенно кивнула старуха. — Я врать-то не люблю. Вот тебе имя-то. Значит, один из них и говорит другому: «Маленькая, а тяжелая. Попробуй ее на себе волочь. Надо бы, чтобы Руфус Гровер подкинул нам по полсотне за тяжесть».

— Как вы сказали? — чуть не подпрыгнул Марвин. — Руфус Гровер?

— Ну, а я что говорю? Руфус Гровер.

— Точно?

— А я что, придумала? Я б тогда еще вчера придумала. Всю ночь вспоминала, веришь — глаз не сомкнула, а у меня давление...

Марвин не стал ожидать лифта, а бросился вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через три-четыре ступеньки. Это даже была не просто удача, это невозможно было себе представить... И дело даже не в том, что шпионил-то вовсе не Валенти, а сам Руфус Гровер, черт с ними с обоими! Дело в том, что теперь-то уж отец поймет, что на него можно положиться. Исчезнет из отцовских

глаз то снисходительное выражение, которое всегда в них появлялось, стоило ему заговорить с ним. Не ценил его отец, считал, видите ли, адвокатишкой, испорченным слишком легкой жизнью, способным лишь оказывать услуги. А для главы семьи, для настоящего босса, нужна, мол, прежде всего твердость, жесткость, предприимчивость. Вот тебе и предприимчивость, вот тебе и правая папенькина рука Руфус Гровер. Кто бы мог подумать...

Он не помнил, как домчался до Пайнхиллза и как вошел в домик, в котором жил отец. Телохраниль кивнул ему, и он понял, что старик у себя. Он даже не постучал в дверь, а распахнул ее толчком. Коломбо сидел за письменным столом, обложившись бумагами. Он поднял глаза и понял, что случилось что-то важное.

— Руфус Гровер,— задыхаясь, пробормотал Марвин.

— Что Руфус Гровер?

— Старуха вспомнила. Те двое, что похитили Бернис, говорили между собой, что она маленькая, а тяжелая и что надо бы, чтобы Руфус Гровер подкинул им по полсотне.

— Она назвала имя Руфуса Гровера?

— Да. Темная, наполовину выжившая из ума старуха. Она не могла ничего придумать.

— Да, наверное... Марвин, налей мне, что выпить. И можешь плеснуть себе.

Марвин подошел к бару, налил в два стакана виски, бросил туда льда и добавил воды. Старик, видно, разволновался. Пьет только, когда что-то его очень беспокоит. Вообще-то ему нельзя. Печень. Еще, не дай бог, что-нибудь с ним случится. Нет, нет, он, конечно, не желал смерти отца, боже упаси, а вместе с тем мысль о его смерти не пугала его, не несла эмоционального заряда, а была лишь некоей абстракцией.

Джо Коломбо сделал глоток, облизал губы, поставил стакан на папку с бумагами (боится, что от мокрого стакана может остаться пятно на полированном столе, подумал Марвин), помассировал руками лицо.

— Это несколько меняет картину,— вздохнул Коломбо.

— Еще бы. А я было уже решил, что на Кальвино работает действительно Валенти.— Марвин мог бы, конечно, сказать: «А ты было уже решил», но старик не прощал, когда его тыкали носом в собственные ошибки.

— Да, похоже было,— согласился Джо Коломбо.— Значит, это Руфус Гровер.

— Да, отец, теперь уже сомневаться не приходится. Посуди сам, какая получается картина. Мы узнаём, что в нашем штабе кто-то из самых приближенных к тебе людей работает на Кальвино. Это факт.

— Это факт,— кивнул Джо Коломбо.

— К нам попадает Арт Фрисби, и от него мы узнаём, что Кальвино заботит человек, посещающий свою приятельницу дважды в месяц. Мы узнаём, что это Тэд Валенти. Это факт.

— Это факт.

— Дальше. Нам удастся узнать адрес этой Бернис, причем выяснилось, что Валенти вовсе не скрывал ни Бернис, ни ее адреса. Даже предлагал познакомить с ней Руфуса Гровера. Это факт.

— Это факт,— слабым эхом отозвался Джо Коломбо.

— Я нахожу квартиру Бернис. Ее похитили. Похитили после того, как в Пайнхиллзе появился Арт Фрисби. Я решаю, что все сходится. Шпион—Тэд Валенти. Именно его имел в виду дон Кальвино в разговоре с Папочкой. А когда они узнали, что Арт Фрисби у нас, они убирают на всякий случай Бернис, которая, очевидно, была связанной и что-то могла знать.

Но это не так. Шпион не Валенти, а Руфус. Это, кстати, Руфус сказал мне о Бернис. Чтобы отвести подозрения от себя... Постой-постой, значит, этот Арт Фрисби... Значит, его подослали... Значит, его подослали. Подослали с байкой о человеке, который ходит дважды в месяц к своей приятельнице. Теперь все понятно. Руфус знает об этом, сообщает в Уотерфолл, и все вместе они разрабатывают просто дьявольский план. Бросить подозрение на Валенти. Все указывает на него. На шее его затягивается традиционная удавка — и все в порядке. Невинный человек на том свете, а шпион может теперь спокойно работать, пока Кальвино не решит, что можно вообще разделаться с семьей Коломбо. Имея такого шпиона, грех не попробовать. Руфус Гровер... Кто бы мог подумать... Предан, как собака, казался преданным, как собака. Боже, что было бы, если бы старуха не вспомнила имени или эти два похитителя лучше обыскали бы квартиру...

— Никогда не верь никому,— сказал Джо Коломбо,

поднял стакан и посмотрел его на свет. — Ты думаешь, я тебе верю до конца, сын мой? Ты ведь сам не против стать главой семьи? А? Тебе ведь кажется, что ты бы уже развернулся, что я слишком много плачу и полиции, и судьям, и депутатам. Так ведь?

— Господь с тобой, отец... — испуганно промямлил Марвин.

— Господь со мной, — кивнул старик. — Он-то и учит меня никому не верить. Есть только интересы. Если твои интересы совпадают на какое-то время с интересами другого — можешь рассчитывать на него. Если нет, лучше подумай о своей безопасности. Так-то, сынок. И поди скажи Раве, чтобы он позвал ко мне Руфуса. И пусть позовут ко мне этого Марквуда. Давай-ка подумаем, с кем лучше побеседовать сначала.

— Ну как, доктор, что-нибудь получилось из ваших бесед с перебежчиком? То же самое, что я уже знаю?

— Боюсь, мистер Коломбо, что кое-что оказалось не совсем так, как вам рассказывал Фрисби.

— А именно? — без особого интереса спросил Коломбо.

— Арт Фрисби не убежал из Грин-Палисейда. Все это была тщательно поставленная инсценировка. Его послали. А если это так, то выходит, что в Уотерфолле заинтересованы в гибели Валенти. Стало быть, он не является их шпионом и не предал вас. Шпионит кто-то другой, а вся операция была задумана, чтобы обезопасить этого другого и лишить вас Валенти. Таковы выводы из показаний детектора лжи... Арт Фрисби держался прекрасно. Ни одной ошибки, ни один мускул не дрогнул. Если бы не детектор...

— Спасибо, Марквуд. Я уже знал обо всем этом. Но вы еще раз укрепили меня в мысли, что Валенти ни при чем. Продался Кальвино не он. Продался Руфус Гровер. Что поделаешь, он деловой человек. Решил, что работать на дону Кальвино выгоднее. Очевидно, так... Стало быть, я не ошибался, когда говорил, что ссора в баре мне не очень нравится.

— Вы не ошиблись.

— А вы знаете, в этом Фрисби что-то есть. Согласиться на такое задание... Почти верный провал...

— Мистер Коломбо, я как раз хотел попросить вас, чтобы вы разрешили мне продолжить опыты с Фрисби и детектором лжи. Я хотел бы усовершенствовать технику анализа показаний датчиков, вводя их в компьютер. Если вы не возражаете, я бы даже поселил Фрисби у себя на некоторое время. Он должен как следует привыкнуть ко мне.

— Пожалуйста, доктор. Держите его сколько вам угодно. Это пешка, которой уже сыграли, сыграли хитро, коварно, но противник разгадал замысел...— Джо Коломбо слегка улыбнулся.

— Спасибо, мистер Коломбо. Кстати, я не знаю, как к вам обращаться... Мистер Коломбо или дон Коломбо, как вас называют другие.

— Дон — это обращение к старшему, уважаемому человеку там, на старой родине. Мне же совершенно безразлично, мистер или дон...

Открытый грузовичок медленно двигался по Рипаб-лик-авеню. На транспарантах, прикрепленных к бортам, белыми буквами на черном фоне было написано: «Зачем быть рабом белого снадобья? Хочешь избавиться от шприца — переходи на метадон. Раз в день бесплатный стакан сока с метадоном — и ты сможешь обойтись без дозы белого снадобья. Общество борьбы с наркоманией». Те же слова доносились время от времени и из динамика, установленного на крыше кабины, но в женском хриплом голосе не было особой уверенности, скорее безразличие, а может быть, даже и брезгливость. То же выражение можно было прочесть и на лице той, которая сидела в кабине рядом с водителем и каждые несколько минут подносила к губам микрофон.

Общество борьбы с наркоманией не испытывало недостатка в молодых добровольцах из сытых, благополучных ОП, которые горели желанием бороться против белого снадобья и перевоспитывать нарков. Но когда они сталкивались лицом к лицу с джунглями, когда видели перед собой упрямые, стеклянные глаза нарков, отказывавшихся от метадона, когда к ним придиралась полиция, когда их оскорбляли — многие начинали колебаться. А когда газеты и телевидение рассказывали о гибели то здесь, то там очередной бригады общества, случалось,

что какой-нибудь грузовичок с черно-белыми транспарантами оказывался брошенным экипажем.

Молодые люди, приходившие добровольцами в общество, представляли себе свою миссию иначе. Да, конечно, им говорили и о трудностях, и даже об опасностях, но рассказы лишь разжигали их стремление прийти к страждущим, протянуть руку помощи и увидеть в глазах чистое сияние благодарности. Да, конечно, это не легко, это должно раздражать всяких там торгашей наркотиками, но зато сколько благородства в их миссии. Ведь это так просто. Послушайте, неужели вы не понимаете, что нельзя быть жалким рабом белого снадобья, нельзя губить себя ради мимолетного, эфемерного удовольствия? Стакан апельсинового сока с метадоном в день — и вы сможете обойтись без героина. Неужели же это непонятно? Неужели же кто-нибудь может этого не понять? А может быть, все дело в том, что обитатели джунглей устроены не так, как они? И даже думают иначе? Может быть, им вообще неведома логика? Может быть, им даже нравится медленно вгонять себя в гроб затупившимися иглками их грязных шприцев? Может быть, все они в джунглях охвачены психопатическим подсознательным стремлением к самоубийству? Может быть, они вообще не хотят, чтобы им помогали? Может быть, им вовсе неведомо такое чувство, как благодарность? Может быть, жители джунглей не случайно живут в джунглях? Может быть, так и надо? Может быть, вся эта затея с метадоном, метанолом, налоксоном, циклацозином бессмысленна? И, может быть, ей, Аби Шривер, лучше бы сейчас оказаться дома, в их уютном милом домике, принять ванну, лениво поспорить с мамой — что надеть вечером, когда она пойдет в гости к Джеку Энстайну.

«Не будь дурочкой, — ворчливо сказала бы мама, — надень серый новый костюм. Ты ведь знаешь, как он тебе идет».

«Ну что ты, мама, — сказала бы она и презрительно сморщила бы нос. — Этот костюм... Он же... буржуазен. Типичный костюм ОП».

«Ну, если тебе нравятся моды джунглей, — уже всерьез рассердилась бы мама, — тогда, конечно, другое дело».

Нет, мама, мне не нравится в джунглях, но ведь еже-

годно в стране гибнет от белого снадобья почти полмиллиона человек. Это война. Это война, которую мы ведем сами против себя. Мы воюем шприцами против своей цивилизации. Это может показаться смешным — воевать против цивилизации, строя, уклада жизни при помощи шприца, но это не смешно. Это совсем не смешно, тем более что пока побеждает шприц. Вот почему, мама, я опять подношу к губам микрофон и вот почему в моем голосе, что гремит из динамика на крыше кабины, нет убежденности.

— Откашляйся, ты же хрипишь, как пропойца, — криво усмехнулся Эрл О'Риордан, сидевший за рулем. — Я думаю, можно постоять здесь.

Они остановили машину, и Аби перелезла в кузов, уселась на стульчик у бака с соком и лекарством. Было жарко, и она вытерла лоб носовым платком. «Хорошо, что я без косметики, — лениво подумала она, — а то в такую духотищу все поплыло бы».

Было действительно душно. Душно асфальтовым зноем, каменными, обшарпанными домами, неубранными мусорными контейнерами на тротуарах, бессильным шорохом обрывков газет на мостовой.

Грузовичок постепенно окружали дети. Осторожно, настороженно, шагок за шагом, приближались они к машине, и в их широко раскрытых глазах детское любопытство смешивалось с недоверчивостью маленьких зверьков.

— А она конопатая, — беззлобным басом сказал крошечный мальчик в одних трусах.

— Сам ты конопатый дурак! — вступилась в защиту Аби девочка постарше.

К машине подошел полицейский. Лицо его под форменной фуражкой было так красно от жары, что казалось, он уже сварился и вот-вот начнет поджариваться, образуя вкусную хрустящую корочку. Он подозрительно осмотрел грузовичок, скользнул невидящим взглядом по Аби — не человек, а ходячее воплощение закона, — и медленно побрел к своей машине.

Вслед за детьми к грузовичку начали подходить и взрослые.

— Вранье все это! — убежденно и почему-то радостно сказала женщина с рыжей челкой. — Это они специально так делают, чтоб народ к снадобью приохочивать.

Напьешься этого ихнего сока бесплатно, а тебя потом прямо подхватывает, к белому снадобью так и несет, так и толкает.

— А вы пробовали? — громко, чтобы все ее услышали, спросила Аби.— Как вы можете говорить такую чушь?

— А ты сиди там! — еще более радостно, почти торжествующе сказала челка.— Тебя посадили — ты и сиди себе. А я раз говорю — значит, знаю.

Она действительно знала, что говорить, потому что ее научил местный толкач, обещавший ей десятку.

— А я-то думаю, чтой-то странно как-то — бесплатно,— задумчиво протянула худая черная старуха.— Я как увижу слово «бесплатно», так я сразу думаю: к чему бы это?..

— Болтаете вы все! — зло крикнул высокий парень с узкой, впавшей грудью.— Мой приятель пробовал. Все точно, говорит.

— Все-то ты знаешь, доходяга,— ласково проворковала рыжая челка.— Платят тебе, что ли, расхваливать их сок?

— Рехнулась баба! — крикнул парень и шагнул к ней, но она сама бросилась навстречу и с неожиданной силой уцепилась за его белую безрукавку.

— Убивают!..— торжествующе прокричала, почти запела она.

«Господи,— тоскливо подумала Аби,— хоть бы этот вареный полицейский подошел, разнял этих зверей». Она оглянулась, но страж закона бесследно исчез. Хотелось пить. Слюна во рту загустела, и она с трудом проглотила ее. У ног крошечного мальчугана, сосавшего палец, расплывалась на асфальте темная лужица. Но через минуту, когда Аби снова взглянула на него, лужица уже высохла. Жарко.

— Ну-ка, отойди, дай пройти,— угрюмо сказал человек лет двадцати пяти со стеклянными глазами нарка.— Сил больше нет. Дай попить.

«Господи,— благодарно подумала Аби,— хоть один. И то хорошо».

— Пожалуйста,— улыбнулась она, налила сок с метадоном в бумажный стакан и, упершись одной рукой в борт грузовика, протянула нарку.

Толпа, стоявшая вокруг, молча смотрела, как нарк

медленно высосал стаканчик и бросил его на мостовую.

— Ну как? — спросил высокий худой парень.

— Легче, — пожал плечами нарк и медленно побрел прочь от грузовичка.

— Тогда дай и мне попробовать...

«Пора», — подумал рыжий Донован по прозвищу Крыса. Он стоял в подъезде, откуда виден был грузовик, и думал о том, что через полчаса получит обещанных ему сто доз первоклассного белого снадобья, которых ему хватит надолго. Ух и надолго же... На неделю запрется в своей конуре, провались весь божий мир к черту! Запущит себе для начала хорошенькую порцию. — так, чтобы подхватило, понесло... Эх, побыстрее бы... Он выскочил из подъезда и побежал к машине, по-лошадиному вскидывая ноги.

— Стойте, — визгливо закричал он, — не пейте эту отраву! — И мысль о ста дозах, о целой горе героина, наполняла его необыкновенной силой. — Вчера в шестом доме человек от этого помер. Как шел, так и покатился по лестнице.

— А, это ты, Крыса, — пробормотал высокий худой парень. — Опять шумишь...

Крыса развернулся, чтобы ударить парня по уху, но тот увернулся, и он ударился о борт грузовика.

— Гады! — крикнул он и вытащил пистолет.

Длинный парень успел схватить его за руку, но Крыса в слепой ярости все нажимал и нажимал на спуск, пока не разрядил обойму.

Одна пуля пробила бак, другая попала в Аби. Она начала медленно, неправдоподобно медленно клониться в сторону, пока ее центр тяжести не переместился достаточно в сторону и она не упала на дощатый пол кузова, в лужицу апельсинового сока, в котором был растворен метадон. Она лежала лицом кверху, и струйка сока брызгала ей на лицо, и она подумала, что, к счастью, не положила сегодня косметики, а то бы она поплыла.

Джо Коломбо взял очередную бумагу. Это был отчет толкача с Рипаблик-авеню, уже завизированный Тэдом Валенти. Он бегло просмотрел цифры. Сто семь НД на разжигание толпы. Сто пятьдесят полицейскому сержанту за отсутствие на месте происшествия. Двести пятьде-

сят трем журналистам, писавшим о случайной смерти Аби Шривер. Тысяча четыреста прокурору и судье, которые вели дело Донована, по прозвищу Крыса, стрелявшего в Аби Шривер на почве ревности. Так, во всяком случае, установил суд. Плюс восемьдесят НД мелких расходов. Итого — Джо Коломбо нажал на клавиши калькулятора — тысяча девятьсот восемьдесят семь НД. Почти две тысячи на один паршивый грузовик с метадоном. Эдак можно вообще взять весь мир на содержание. Две тысячи — это ж надо придумать. И Валенти начал выживать из ума — завизировал такую сумму.

Он взял ручку и написал: «Оплатить половину. Остальное пусть доплачивает сам толкач из своих». Он и без того, наверное, уворовывает добрую треть. А если не захочет — ради бога. Его похороны обойдутся гораздо дешевле.

Глава 3

Клиффорд Марквуд разлил кофе в чашки и подвинул одну Арту Фрисби. Они сидели в его коттедже, в крошечной кухоньке, и пили уже по третьей чашке.

«Я ж не засну... — вяло подумал было Марквуд, но тут же добавил: — Черт с ним! Иногда не мешает помучиться бессонницей. Можно подумать о смысле жизни и судьбах цивилизации. Арт, наверное, никогда не страдает от бессонницы. Ну конечно же, — поймал он себя, — обычные ваши штучки, доктор Марквуд. Даже банальнейшую бессонницу вы должны оправдать в собственных глазах, поднять ее на пьедестал. Как же, как же, это, разумеется, первый признак возвышенной души и тонкого интеллекта, точь-в-точь как у доктора Марквуда. Ну хорошо, а если бы ты спал, а Фрисби мучился бессонницей? Тогда я бы думал так: бессонница — первый признак низкой организации. Он уже приближается к старческой сенильности, когда сна почти не нужно. Другое дело ты. Твой глубокий сон показывает, что ты — тонкая натура, остро нуждающаяся в регулярном отдыхе... И так всегда. И не я один. Удивительное дело, до чего же стойко люди презирают все, что отличается от них, от цвета кожи до цвета носков. Это такое универсальное качество самых различных людей, что, похоже, оно заложено в нас самой природой».

Марквуд улыбнулся, и Арт Фрисби спросил его:

— Чего вы улыбаетесь, мистер Марквуд?

— Так, Арт, своим мыслям. Что вы, интересно, обо мне думаете?

— Да ничего...

— Это не ответ. Вы находитесь у меня в коттедже. Это не совсем обычное место для человека, который перебежал из одной семьи в другую, — в коттедже у специалиста по электронно-вычислительным машинам. А вы, Арт, ведь даже не перебежали. Вас послали, чтобы вы выдали Эдди Макинтайра — Тэда Валенти. Старик Коломбо иногда формулирует свои мысли грубо, но четко. Он назвал вас пешкой, которой уже сыграли-и которая никому не нужна. Ваши друзья Кальвино и Папочка разыграли вами отличный вариант хитрейшей сицилианской партии. Если бы не случайность, они бы преуспели, и Тэд Валенти уже получил бы по заслугам. Старик Коломбо ведь не любит, когда его люди продаются конкуренту. Как, впрочем, и любой бизнесмен. Так уж они устроены.

— А я все равно не верю, — упрямо сказал Арт.

— Чему?

— Что на Кальвино работал Руфус Гровер.

— Вы такого высокого мнения о нем? — саркастически спросил Марквуд. — Вы его хорошо знаете?

— Нет, я слишком низкого мнения о Валенти.

— Э, Арт, то было одиннадцать лет тому назад. И потом, он поступил ужасно только потому, что это коснулось вас. А ваш Папочка разве пользовался другой техникой? А вы сами? Вы же рассказывали мне, как обеспечивали Папочке своевременный возврат ссуд. Сколько он брал? Двадцать процентов в неделю?

— Двадцать пять.

— Вот видите. И все жертвы этого вашего жирного паука платили такой чудовищный процент с веселой улыбкой? Или кое из кого вам приходилось выбивать деньги силой?

Арт молча курил, откинувшись на стуле. Что от него хочет этот странный болтливый человек, так не похожий на всех тех, с кем ему приходилось когда-либо встречаться? Ведь ему как будто ничего от него не надо. Он, Арт, уже сыгранная пешка. Это верно. Сбитая, съеденная пешка, небрежно брошенная на стол рядом с доской. На

доске остались фигуры. Крупные, солидные фигуры вроде Валенти. Не чета какой-то паршивой пешке...

— Вы мне так и не ответили, Арт. Вам приходилось выбивать из кого-нибудь деньги силой?

— А как же,—пожал плечами Арт.—Если бы не страх, люди бы не стали платить ростовщику такие проценты. Тут ведь расписок нет, в суд не обратишься. Главное — страх. Должник должен знать, что, если не отдаст в срок, ему будет плохо, очень плохо.

— И насколько же плохо?

Арт раздражал Марквуда и одновременно возбуждал в нем какое-то едкое любопытство. Умом он понимал и его жестокость, и безразличие к чужим страданиям. Он не только понимал, но и объяснил бы эти качества куда красноречивее и элегантнее, чем сам Арт. Но то умом. В сердце же у него до сих пор оставался какой-то детский участочек, который не потерял способности удивляться и мерить все на свой аршин, не подвластный логике головы. И этому детскому участку все казалось, что если поговорить с человеком как следует,—ну, искренне, тепло, не спеша, ну как человек с человеком, ну как когда-то разговаривали люди, то и такой, как Арт, вдруг прозреет, увидит, что причинял боль и страдания ближним,—и раскается.

— Насколько же бывает людям, которые не хотят возвращать акуле-ростовщику ссуды, плохо? — повторил он свой вопрос.

«Что за странные вопросы,—думал Арт Фрисби.— Что он хочет от меня?» Он сам не заметил, как начал говорить. Может быть, потому, что голос был не его, а кого-то другого, потому что вдруг снова распахнулась та дверь и из бездонного, плотного и сырого мрака пахнуло холодной пустотой, ничем, отчаянием. Он говорил, как человек в трансе, как загипнотизированный. Слова выползали из него сами по себе, потому что мозг был парализован ужасом, таившимся за бездонной, бесконечной дверью.

— Я работал тогда у Папочки уже года полтора, наверное. Он дал мне адрес одного типа, который на две недели задерживал возврат ссуды. Я быстро нашел дом. Я знал его. Огромный, в полквартила, шестиэтажный старый дом, набитый людьми и крысами, и неизвестно еще, кто там настоящий хозяин. Если днем люди делают

вид, что дом принадлежит им, то по ночам матери прижимают к себе младенцев, ибо часто крысы выгрызают у них куски мяса. Крысы любят джунгли. Им там хорошо. Люди не любят джунглей, но тоже живут в них. Таков мир.

Когда-то в доме работали лифты. Но они уже давно стали. Когда-то, наверное, на лестнице лежали дорожки, потому что в ступеньках остались еще дырочки от металлических прутьев, которыми эти дорожки прижимались.

Когда я подходил к дому, те, кто видел меня, либо подобострастно кланялись, либо старались отойти в сторону. Меня многие знали, а стало быть, и боялись, потому что я был человек Папочки. Папочка же был Господом Богом. Всесильным, непонятым и грозным. От него исходила благодать. Он был единственным человеком, который мог дать деньги и белое снабдьё, а о чем еще может мечтать человек в джунглях? Он мог и пристроить человека к хорошему делу. Реже на работу, чаще — в одну из многочисленных банд, которые орудовали в самих джунглях, нападали на машины на дорогах и даже атаковали по ночам ОП.

Я поднимался по лестнице, и даже кошки замирали при виде меня, и мне нравилось, что я внушаю страх — самое, пожалуй, распространенное чувство в джунглях. А может, и не только в джунглях. Похоже, что людям вообще больше нравится внушать страх, чем любовь. Не знаю уж почему, но похоже, что так. .

Я постучал в дверь. Звонок не работал. Наверное, стук мой был хозяйским, смелым, не робким, потому что дверь сразу открылась, и я даже не вскинул руки вверх традиционным приветствием гостя. Да я и не был гостем.

Хозяин подобострастно кланялся мне, глядя заискивающе в лицо, и что-то говорил, и говорил, и говорил... Должно быть, слова, поток слов, были единственной преградой между ним и мною. В углу стояла женщина, в ужасе глядела на меня и держала за руку мальчугана лет пяти. Но я их вспомнил лишь позднее, когда вышел из квартиры. Тогда я не видел их. Вернее, я видел их глазами, но они не проявлялись в моем сознании. Я видел только человека. Вернее, правую его руку. Вернее, пустой рукав. Такой же, какой был у моего отца. У моего отца, который приходил по вечерам пьяным и рассказывал мне, как он устроится на работу водителем грузови-

ка и вывезет нас из джунглей и поселит в маленьком уютном ОП в маленьком уютном домике. И вокруг будет настоящая зеленая травка, которую можно пощупать и на которой можно сидеть.

Человек все говорил и говорил. И слова были жалкими и пустыми, как шелуха, как слова моего отца. И как когда-то, у меня на мгновение сжалось сердце. От стыда ли, жалости—не знаю. Я подошел к однорукому и ударил его по лицу. Не очень сильно. Всего несколько раз. Я был очень зол на однорукого, потому что он был слаб и жалок. Я избил его. Я бил своего отца, потому что презирал его и ненавидел за слабость. Но это ведь не был мой отец. Мой отец упал с лестницы, а этот выбросился той же ночью из окна. Так что мне все только казалось... Общего у них не было ничего. Разве только то, что у обоих не было руки, был сын и оба покончили с собой. Или случайно упали, потому что хотели упасть.

Папочка пожурил меня, но беззлобно. «Тут,—сказал он,—подход нужно иметь. Что он перекинулся—это дело его. Но должок-то плакал, дитя природы». Так он называл меня тогда—дитя природы...

Арт замолчал. Проклятая дверь все не закрывалась. Раньше она захлопывалась быстрее, и мир потихоньку возвращался в наезженную колею, которая так привычна, что ее и не замечаешь. А сейчас все вдруг теряет смысл, все ставится под сомнение, словно ко всему прикреплен знак вопроса: а зачем? И страшно, страшно становится на душе, скользишь, а ухватиться не за что. Для чего жить? Человек живет надеждой. Что купит новую куртку, что его полюбят, что напьется, что будет много денег... Неважно, на что надеяться, важно—надеяться. А на что надеяться ему, когда ничего не хочется, ничего не нужно, все призрачно и нереально, а реален лишь промозглый холод из черной двери. Боже, дай силы хоть ненавидеть... Ведь остаются еще в мире Тэд Валенти и капитан Доул.

— Мистер Марквуд, я хотел бы поговорить с Валенти с глазу на глаз. Я никогда никого ни о чем не просил.

— Я вижу, что у вас характерец не из легких. Но это невозможно, Арт.

— Но я же вас прошу...

— Не знаю, Арт. Я подумаю. Авось что-нибудь и придет в голову.

Но придумал не он. План созрел у машины, когда Марквуд изложил ей просьбу Арта Фрисби. Марквуд должен записать на пленку любой свой телефонный разговор с Джо Коломбо. Машина проанализирует звуки его голоса, высоту, тембр, особенности произношения и постарается синтезировать этот голос для телефонного звонка. От имени Джо Коломбо. Звонок Тэду Валенти, чтобы он немедленно явился в комнату Марквуда и помог ему в проведении допроса Арта Фрисби, который сообщает интересные вещи о Руфусе Гровере.

Через час Арт Фрисби уже сидел в знакомой комнате, опутанный датчиками. Марквуд нервно курил. То, что сейчас происходило, могло стоить ему жизни. Вряд ли старый Коломбо придет в восторг, если узнает, что кто-то или что-то умеет подделывать его голос и что без его разрешения собираются допрашивать его ближайшего помощника. И вместе с тем Марквуд отметил про себя, что мысль о смерти не так ужасает его, как раньше. Наверное, смерть страшна в мире привычном и устоявшемся. Смерть в мире нереальном, непривычном становится такой же нереальной.

Он посмотрел на Арта. Внешне он был спокоен, но что должно было твориться у него на душе... Нет, парень не так одномерен, как могло показаться. Чего стоит один этот рассказ об одноруком должнике, которого он избил... Но все-таки избил. Хоть он и не одномерен и в душе у него собственный маленький ад, он бандит. А может быть, и нет? Как можно судить о ком-нибудь, кого-нибудь в мире, в котором нет моральных координат? А может быть, это ты теряешь координаты и, как всегда, тащишь за собой весь мир?

Скрипнула дверь, и в комнате появился Тэд Валенти. Он слегка прищурился после уличной темноты. Прежде чем он успел сказать что-нибудь, к нему подскочила Детка — так Марквуд прозвал маленького робота, который управлялся машиной.

— Ваш пистолет, мистер Валенти, — равнодушно сказал Марквуд. — Я не хочу, чтобы в том помещении было оружие.

— Вы не хотите? — насмешливо спросил Валенти. — А кто вы такой, чтобы хотеть или не хотеть? Инженеришка какой-то? Я сдаю оружие только тогда, когда вхожу к боссу.

— Тогда я вынужден буду сам взять пистолет у вас,— ровно сказал Марквуд. Сердце у него колотилось — вот-вот выпрыгнет из груди или взорвется, но ему уже было все равно. Его уже несло, крутило, и поздно было думать о чем-нибудь. Он не думал. Он действовал.— Детка,— сказал он,— помоги мне взять пистолет у мистера Валенти.

Робот молниеносным движением схватил оба запястья Валенти и замер, держа их. Тот дернулся, попытался освободиться, но металлические лапы Детки держали его намертво.

— Ну вот видите, мистер Валенти, вы даже робота из себя вывели своим упрямством.— Марквуд подошел к Валенти и неумело начал на шаривать на нем оружие. Пистолет лежал в кармане пиджака — маленький вороненый кусок металла, отливающий зловещей синевой.

— Что это значит? — прошипел Валенти.— Я уйду. Я не собираюсь оставаться здесь ни одной секунды. Я иду прямо к дону Коломбо.

— Ну как? — спросил Марквуд.— Отпустим его, Детка?

Робот отпустил запястья Валенти, но стал между ним и дверью, блокируя выход.

— Вы что, рехнулись? — спросил Валенти Марквуда, но в голосе его уже не было прежней самоуверенности.— Ладно, черт с вами и с вашими правилами! Что я должен здесь делать? Скоро одиннадцать, и я уже собирался ложиться, когда босс сказал мне идти сюда.

— Вот перебежчик.— Марквуд кивнул в сторону Фрисби.— Его зовут Арт Фрисби, и он утверждает, что одиннадцать лет тому назад вас звали не Тэд Валенти, а Эдди Макинтайр.

— Ну и что? Я этого не скрывал. И что значит все это дурацкое представление? Где у вас телефон? Я хочу позвонить дону Коломбо.

— Боюсь, что пока придется звонок отложить,— извиняющимся жестом развел руками Марквуд.— Дело в том, что Арт Фрисби еще утверждает, будто вы обманом приохотили его к героину, так же как несколько позже и девушку, которую он любил.

Не спеша, спокойно и методично, Арт Фрисби начал снимать с себя датчики. Сняв, он подошел к Валенти и посмотрел на него.

— Может быть, вы вспомните меня, Эдди Макинтайр? Или где вам вспоминать какого-то там Арта Фрисби. Одним больше на крючке, одним меньше — есть ли о чем говорить! И девчонка моя, ее звали Мери-Лу, и у нее были синие глаза... Где вам вспомнить ее! Ну повесилась, ну и что? Одним нарком больше, одним меньше — что это меняет? Но я бросил белое снадобье и одиннадцать лет ждал этой минуты, Эдди Макинтайр. Спасибо, Эдди, что ты жив и ты здесь. Значит, я не напрасно ждал.

— Марквуд, — дрожащим голосом сказал Валенти, — уберите этого маньяка. Разве вы не видите, что он не в себе? Если мне здесь нечего делать, я уйду.

— Э, нет, Эдди, — ласково сказал Арт Фрисби. — Э, нет, Эдди. Ты не уйдешь, потому что мне нужно с тобой рассчитаться. Когда она висела, у нее глаза были открыты. И пусты. Одна туфля упала, а вторая висела у нее на ноге. Ты понимаешь, Эдди? Пустые синие глаза и одна туфля. И веревка. Труба и петля — и у меня не стало единственного в мире существа, которое любило меня. Большая холодная пустыня и один маленький костерик, который горел для меня и грел меня. Костерик с синими пустыми глазами.

— Ты сошел с ума! — крикнул Валенти и попытался от Арта. — Какие глаза, какой костер? Марквуд, уберите его, разве вы не видите, что он рехнулся? Он же не понимает, что говорит!

— Я все понимаю, Эдди Макинтайр, — кивнул Арт Фрисби. — Я просто хочу, чтобы и твои глаза стали пустыми, и у тебя вывалился язык. Разве этого много? Разве я требую у тебя лишнего? Одной твоей смерти за десятки или сотни. По-моему, это очень выгодная для тебя сделка, а ты всегда любил выгодные сделки. Что торговать белым снадобьем, что продавать свою семью дону Кальвино...

Валенти метнулся к двери, но в дверях стоял Детка и металлические его лапы были разведены в стороны. Валенти остановился, обвел глазами комнату. Окон не было. Спасения не было. Он почувствовал, как животный ужас выкачал из него воздух, и сердце сжалось в тягучей истоме, и пот выступил у него на спине.

— Послушайте, — быстро и жарко зашептал он, — у меня есть деньги... Много денег. Я дам вам десять тысяч,

двадцать тысяч НД. Это очень хорошие деньги. На них можно снять домик в ОП...

— Спасибо,— задумчиво улыбнулся Арт,— мне уже обещали раз домик в ОП. С настоящей зеленой травкой вокруг.

Не спуская глаз с Валенти, он чуть пригнулся, развел руки и медленно стал приближаться к противнику.

— Марквуд, вы же не безумец...— взмолился тот.— Пятьдесят тысяч НД — прекрасные деньги. Только помогите мне выбраться отсюда, заклинаю вас! Я сделаю для вас все, что угодно...

Марквуд молчал. Арт Фрисби медленно приближался к Валенти, а тот задом пятился от него.

— Нет,— вдруг воскликнул он,— вы не можете убить меня! Босс знает, что я пошел сюда. Меня будут искать. Они поймут...

— Нет,— раздался голос машины, и голос был голосом Джо Коломбо.— Дон не знает. Он не звонил. Звонила я.

— Что? Что это? — встрепнулся Валенти.— Я схожу с ума! Чей это голос?

— Этот голос не принадлежит никому. Он синтезирован мною, машиной.

— Да, Эдди Макинтайр, это так. И никто не будет искать здесь твой труп, тем более что мы уже приготовили для него место. И хватит. Мы слишком много говорим.

Арт Фрисби сделал еще несколько шагов вперед, и Валенти очутился в углу. Он упирался спиной в стену и, казалось, надеялся, что сумеет спрятаться в ней, найти убежище... Он вдруг опустился на колени.

— Пощадите, пощадите меня! Я отдам вам все, мне ничего не надо. Только дышать. Я все отдам. Все, все, все отдам!.. Только не перестать быть...

Фрисби выбросил вперед руки, и они замкнулись на шее Валенти.

— Ты просишь очень многого, Эдди Макинтайр. Дышать — это большое дело. Но ты не будешь дышать, и через несколько минут твое сердце дернется раз-другой, остановится, и ты начнешь остывать. Ты не будешь больше ни Эдди Макинтайром, ни Тэдом Валенти. Просто сто пятьдесят фунтов холодеющего немолодого мяса, костей и воды. Это не так страшно.

Арт начал медленно сжимать руки, и Валенти захрипел.

— Нет,— прошептал он,— подожди... Я должен что-то сказать.

— Ну, что еще?

— Это не Руфус Гровер работает на Кальвино. Это я... Не убивайте меня! Я расскажу все. И дон Коломбо дарует мне жизнь, потому что я многое знаю. Я знаю, когда решено расправиться с семьей Коломбо. Скарборо и Уотерфолл должны принадлежать семье дона Кальвино. У них есть план, и я его знаю. Я нужен. Я нужен, клянусь небом, я нужен! Меня сейчас нельзя убивать.

— Ты врешь,— нетерпеливо пробормотал Арт Фрисби, снова сдавливая руки на шее Валенти.— Ты готов стать шпионом, чтобы только выскользнуть из моих рук.

— Нет, нет, это святая правда! Я могу доказать. Я знаю... Этот план был разработан мною и Папочкой. Мы знали, что Руфус Гровер уже давно подозревает меня, но у него не было доказательств и он пока помалкивал. И мы решили, что его надо убрать, одновременно обезопасив меня. Решено было инсценировать побег одного из членов семьи Кальвино. Выбор пал на Арта Фрисби, потому что Папочка знал о ненависти, которую он испытывает ко мне. И этой ненавистью решили воспользоваться. Арту сказали, что на Кальвино работает другой, а он должен оклеветать меня. Заметьте, оклеветать, потому что на Кальвино работает кто-то другой. Кто — Арт не знает и даже под пыткой не смог бы сказать. Все было продумано заранее. И несколько фраз о человеке, который дважды в месяц ездит к приятельнице. Фразы, которые Арт Фрисби вспомнит не сразу. И то, что я говорил о своей знакомой Руфусу Гроверу. Все должно было указывать на меня. Это была рискованная игра, но партия была продумана с первого до последнего хода. Естественно, дон Коломбо должен был захотеть найти подтверждение, что человек, едущий дважды в месяц к приятельнице,— это действительно я. Марвин Коломбо нашел квартиру и обнаружил, что Бернис похищена. Только на следующий день старуха вспоминает, что похитители называли имя Руфуса Гровера. В этом была вся изюминка. Если бы мы сразу дали Коломбо понять, что шпион — Гровер, он бы мог не поверить. У него тонкий нюх, и он мог бы заподозрить, что это дезинформация.

А так он понимает, что Арта Фрисби послали, специально послали, чтобы бросить тень на невинного Валенти и выгородить виновного Руфуса Гровера. Не мы ему подсказываем, что шпион — Гровер, а он сам узнаёт об этом. Характер сицилийца недоверчив, и он готов поверить только той информации, которую добыл сам. Все было продумано. И даже детектор лжи был предусмотрен. Было предусмотрено, что вы засечете ложь Фрисби. Все сработало, все. И даже то, что Фрисби имеет зуб на меня, — все было предусмотрено. Поэтому-то он согласился на такое отчаянное поручение, что из-за ненависти ко мне и возможности погубить меня он готов был на все...

Валенти обессиленно замолчал. Ноги, очевидно, больше не держали его, и он медленно сполз по стене и уселся на пол. Он дышал медленно, втягивая в себя воздух с легким присвистом, словно смакуя его, словно не веря, что все еще дышит. И что до того, что будет дальше, когда можно сейчас сидеть, дышать и не чувствовать, как бьется сердце. Чувствовать, что ты теплый, что побаливает язва, старая добрая язва двенадцатиперстной кишки. Боже, какое счастье ощущать боль... Какое изысканное наслаждение смаковать эту боль, ибо каждое мгновение, наполненное болью, это гимн жизни. Не думать о том, что будет дальше. Пока он им нужен, он жив — и это главное. Ничего человеку не нужно — только жить. И запомнить эту простенькую и всегда ото всех ускользающую мыслишку...

Арт Фрисби внезапно рассмеялся.

— Нет, мистер Марквуд, вы тогда ошиблись, когда называли меня пешкой. Мною действительно хотели сыграть. И почти сыграли. Но выиграл-то все-таки я. Один я был уверен, что шпион Кальвино все-таки Валенти.

— А если бы он все-таки не признался? Что тогда? — спросил Марквуд. Голова его шла кругом. — Ты бы его убил? — От волнения он перешел даже на «ты».

— Нет. Я бы ведь подвел вас.

— Подожди, подожди, Арт, — пробормотал Марквуд. — Ты не убил бы его из-за себя или из-за меня?

— При чем тут я? — пожал плечами Арт Фрисби. — Я бы с удовольствием отправился на тот свет в компании Эдди Макинтайра, но мне не хотелось подводить вас. Я же вам обещал, что оставлю его в живых.

— Значит, ты не собирався задушить меня? — медленно спросил Валенти, все еще сидя на полу.

— Я же уже сказал — нет.

— Мне теперь можно уйти?

— Конечно.

Валенти встал и пошел к выходу.

— Возьмите пистолет,— сказал Марквуд, и Детка протянул Валенти его оружие.

Он взял пистолет, подошел к двери и, уже стоя в ней, поднял неожиданно руку, нажал на спуск. Но выстрела не последовало.

— О, Детка у нас предусмотрительный, он всегда вынимает обоймы из пистолетов, которые попадают ему в лапки.

— Я вам ничего не говорил!—торжествуя крикнул Валенти.— Кто поверит вашему безумному бреду?

И в то же мгновение из динамика раздался голос Валенти:

— Это не Руфус Гровер работает на Кальвино. Это я... Не убивайте меня!.. Я расскажу все...

— Как видите, Валенти, мы тоже предусмотрительны,— усмехнулся Марквуд, но Валенти уже не было.— Ну, Арт Фрисби, давай звонить самому дону Коломбо, хотя уже скоро час. И одному богу известно, что из этого всего выйдет.

Он поднял трубку телефона. С минуту, наверное, никто не отвечал, потом послышался сонный голос Коломбо:

— Ну, кто еще там?

— Простите, мистер Коломбо, это Марквуд.

— Вы что, с ума сошли? Уже час ночи.

— Я хочу, чтобы вы сейчас же пришли ко мне...

— Послушайте, доктор, вы в своем уме?

— Да. И возьмите с собой Руфуса Гровера.

— Хорошо.

Дон Коломбо был неглупым человеком и умел почувствовать, когда стоит и когда не стоит задавать вопросы. Через несколько минут на улице послышался шум машины, и тут же в комнату вошли Джо Коломбо, Марвин Коломбо и телохранитель босса Рава, к запястью которого тоненькой металлической цепочкой было прикреплено запястье Руфуса Гровера. Все четверо были в пижамах.

— Теперь вы мне скажете, что случилось? — спросил Джо Коломбо.

— Да, конечно. Вы можете разомкнуть этот браслет.— Марквуд кивнул на цепочку, связывавшую телохранителя и Руфуса Гровера.— Мистер Гровер совершенно ни при чем.

— Что вы хотите этим сказать?

— То, что сказал. Он никогда не работал на Кальвино и не предавал вас. Это все-таки Валенти.

— Вы сошли с ума, Марквуд.

— Нет. Сейчас вы все поймете.

Из динамика донесся голос Валенти. Джо Коломбо слушал внимательно, чуть склонив голову на плечо, и был похож на старую, нахохлившуюся птицу. Лицо Руфуса Гровера оживало постепенно, словно отходило от холода, сковавшего его. Незаметно для себя он все время кивал. Когда динамик замолк, Джо Коломбо спросил Раву:

— Ключ у тебя?

— Да.

— Отстегни браслет. Так. И отправляйся за Валенти.— Он протянул руку Руфусу Гроверу.— Я рад, что все так получилось.

— Я уже было перестал надеяться,— пробормотал Гровер.— Это страшная штука — знать, что ты невиновен, и не быть в состоянии доказать это. Спасибо, Марквуд.

— Это не я,— пожал плечами Марквуд.— Если уж кого-нибудь и благодарить, то это Арта Фрисби. Мы иногда делаем ошибки, принимая кого-то за пешки. Иногда пешками оказываемся мы сами.

— Не буду спорить с вами, доктор. Если бы не вы оба, Кальвино со своим Папочкой могли бы праздновать победу. Имея такого человека, как Валенти, у меня под боком, они могли смело рассчитывать на победу. Но теперь мы посмотрим, как это им удастся... У вас тут есть виски, доктор?

— Нет, дон Коломбо.

— Тогда поедем ко мне. Марвин, возьми пленку с голосом Валенти. Я бы с удовольствием заплатил за нее миллион. Доктор, вы сделали ошибку. Надо было сначала сторговаться со мной.

— Я уже вам сказал, что идея и исполнение не мои, а Арта Фрисби.

— Ну, что ты хочешь, мальчик? Сколько?

— Спасибо, дон Коломбо, я хочу, чтобы вы все-таки отдали мне Валенти после того, как он станет вам не нужен.

— Согласен,— кивнул Джо Коломбо,— хотя я бы и сам с удовольствием расквитался бы с ним.— Джо Коломбо посмотрел на Руфуса Гровера.— Руфус, надеюсь, ты понимаешь, что тебя никто не должен видеть, даже твои домашние. В Уотерфолле должны быть уверены, что я проглотил их приманку и ты уже на том свете. В этом должны быть уверены все. Валенти же поработает у нас на поводке. Если, конечно, захочет несколько продлить свои дни...

— Что случилось, Джо? — Миссис Гровер с испугом смотрела на Джо Коломбо и машинально вытирала руки о передник. Она знала, что неожиданный визит главы семьи в отсутствие мужа мог сказать только одно.— Что случилось? — почти выкрикнула она.— Что-нибудь с Руфусом?

— Да,— медленно кивнул Коломбо.— Я знаю тебя почти двадцать лет, Диана. Ты храбрая женщина...

Миссис Гровер почувствовала, как кровь отхлынула у нее от головы и сердца. Она стала пугающе легкой. Вот-вот взлетит, оборвав непрочную ниточку...

— Он умер? — спросила она наконец.

— Да.

— Я могу его увидеть?

— Нет, Диана.

Она не настаивала. За двадцать лет она хорошо изучила характер Джо Коломбо. Если он говорил «нет», лучше было не настаивать.

— Ты можешь мне сказать, как это произошло?

— Пуля... Диана, если я не ошибаюсь, ты давно собиралась погостить у дочери? Она ведь живет с мужем в Риверглейде?

— Да.

— Позжай к ней. У тебя есть деньги?

— Да.

— Если тебе нужно будет что-нибудь, Диана, скажи мне...



Часть пятая. ПОЛ ДОУЛ

Глава 1

Сенатор Пол Доул сидел в шезлонге у своего бассейна и наслаждался солнцем. Он только что выкупался, и в мышцах еще приятно гудела легкая усталость. Он не думал ни о чем, ничего не вспоминал — он был просто частью этого покойного, уютного мира, в котором даже через закрытые веки оранжево трепещут солнечные лучи, сонно шелестит листва в теплом ветерке, неуверенно налетающем откуда-то с юга, и шершавые камни по краям бассейна так приятны на ощупь.

Мир был покоен, уютен и прекрасен. Он был покоен, уютен и прекрасен вдвойне, потому что весь — от солнца до плиток бассейна — был создан им, его умом, его трудом, его терпением, его мужеством. Он мог бы, да что мог — должен был жить в джунглях, среди мусорных куч, сварливых худых женщин, босоногих и сопливых детишек и шелудивых голодных котов. Он должен был видеть вокруг себя стеклянные глаза нарков и вдыхать на темных, грязных лестницах их запах. Он должен был вариться в неподвижном каменном зное и дрожать от асфальтовых промозглых сквозняков.

Он был рожден для джунглей и обречен на джунгли. Он даже не должен был страдать из-за жизни в них, потому что мысль об ОП не должна даже приходить в голову простому полисмену, который живет на одну зарплату. На зарплату, на которую нельзя купить там даже собачью конуру, если б ты и был согласен жить на цепи и лаять на прохожих.

И все-таки он хотел выбраться из джунглей. И верил, что выберется из них...

Когда случилась вся эта история с Рафферти? Лет восемнадцать тому назад? Да, точно. Восемнадцать лет тому назад. Станный был человек этот Билл Рафферти. Когда он в первый раз увидел его, он уже тогда заметил какую-то напряженность в его взгляде. Когда ты стоял рядом с ним, тебе почему-то начинало казаться, что Рафферти постоянно находится под давлением, что он заряжен, что нужно с ним быть осторожным, потому что в любую секунду он может взорваться и не дай бог оказаться на пути у этой взрывной волны. Он и говорил-то как-то особенно: едко, раздраженно, с неясными и вместе с тем обидными намеками. И все-таки Доул не испытывал к нему неприязни. Скорее даже наоборот. Было что-то в этом постоянно возбужденном человеке, что, очевидно, импонировало ему. Может быть, это было его беспокойство... Ведь и он, Доул, непоседлив, не находил себе места, не желал примиряться со своей долей и мечтал о лучшей, хотя и понимал, что это пустые мечтания. Понимал и все-таки презирал в душе своих коллег, которые были довольны жизнью и со спокойствием скота мирно паслись на своих участках, пощипывая мелкие взятки. Рафферти был не таким. Из другого он был слеплен теста. Сортom повыше.

Дружбы у них, правда, не получилось, для этого у Рафферти характер уж очень был неподходящий, но все равно у Доула всегда жило уважение к нему.

Через несколько месяцев после того, как его перевели в их участок, он арестовал Билла Кресси за хранение и торговлю наркотиками. Суд его оправдал, потому что оба свидетеля, на которых рассчитывал Рафферти, в последнюю минуту отказались от своих показаний, данных на следствии. У всех, кто был на суде, создалось впечатление, что судья даже облегченно улыбнулся, когда оба парня взяли обратно свои показания. Так оно было спокойнее. И для Кресси, и для свидетелей, и, наверное, для самого судьи.

На Рафферти начали коситься. Конечно, Билл Кресси был подонком — это знали все. И торговал дрянным белым снадобьем, подмешивая в нем чудовищное количество молочного сахара. Говорили, что девяносто восемь процентов. И ходил задравши кверху нос, разодетый как павлин. И когда встречал на улице полисмена, даже не кивал ему. Одним словом, подонок. И все-таки не надо было Рафферти оформлять арест. Не дело это ума простого полисмена. Для них в джунглях и так работы хватает — вор на бандите сидит и карманником погоняет.

До того дело доходило, что и рвань-то арестовать страшно было... Однажды он ехал в автобусе. Народу было битком, и его прижала к сиденью громадных размеров сопящая баба. С носом у нее, что ли, было что-то не в порядке, но сопела она все время как кузнечные мехи. Наконец он выбрался из-под этой сопящей горы и тут увидел, как какой-то рыжий парень с фигурой бейсболиста и остановившимися глазами нарка преспокойно вытаскивает у крошечного, словно кукольного, аккуратного старичка бумажник. И вытаскивает не профессионально, не артистически, не незаметно, а в открытую, силой, как часто делают нарки, когда срочно нужно раздобыть на дозу и уже не до тонкостей. Старичок, парализованный ужасом, молчал, и ему даже почудилось, что он чуть наклонился вперед, чтобы нарку легче было очистить ему карман. То ли он никак не мог ухватиться за бумажник, то ли карман был застегнут на пуговку, но нарк вдруг резко дернул руку, кукольный старичок подпрыгнул, послышался треск рвущейся подкладки, и нарк, наконец, выдернул из внутреннего кармана бумажник.

И тут он увидел Доула. Увидел полицейского, смотрящего на него. Стража закона и порядка. И что же он сделал? Бросил бумажник? Начал судорожно продираться к выходу? Да ничего подобного. Ухмыльнулся, засунул правую руку в карман и наполовину вытащил оттуда пистолет, показывая его Доулу. А глаза у него не ухмылялись. У нарка не бывает улыбки в глазах, когда ему срочно нужна доза.

Что нужно было делать? Арестовать его? Прекрасная мысль, но для этого нужно было рисковать жизнью, потому что нарк, которому позарез нужна доза белого снадобья, готов на все. Он-то за свою жизнь не держится. Для него доза в этот момент важнее жизни. Когда приспичит, он под танк готов броситься, если к днищу его привяжут порцию белого снадобья. Пистолет его в руке подрагивал, но промахнуться он все равно не смог бы — слишком уж мало было расстояние.

Доул не был трусом, но стоил ли потертый старенький бумажник, в котором денег-то скорей всего не было, а лежали лишь аккуратно сложенные и потертые на сгибах старые рецепты или фотографии внучки с кошкой на руках, его жизни? Он посчитал, что не стоил. Тем более, что его жизнь была не только его жизнью. Дома его ждала жена и полуторагодовалый сын. Он представил себе, как капитан торжественно и важно говорит ей: ваш муж пал, и так далее. И как через месяц или два ее выбрасывают из их мало-мальски пристойной квартирки и она начинает медленный спуск в болото, к крысам, к гниющим помоям, к тротуару, к белому снадобью. Нет, пока он жив, этого не будет, если даже ему придется нарушать все правила и инструкции, которые определяют поведение полисмена. Черт с ними, правилами и инструкциями, если нужно выбирать между ними и семьей. Молчаливая, тихонькая, как мышка, Марта с детскими, незащищенными глазами, всегда смотрящая на него с немым удивлением — как это он отваживается выходить в этот страшный, непонятный мир, который так пугает ее. И однозубый парнишка, который при виде его начинает радостно колотить по кровати пухлыми, в перевязках, ножками... Пора бы ему уже пойти... Все из-за проклятых джунглей. Кислорода здесь мало, говорил врач один, старикашка...

Он посмотрел еще раз на пистолет и повернулся

к карманнику спиной. Ему показалось, что сзади кто-то хмыкнул. Может быть, даже сам нарк. Он продолжал смотреть в запыленное окно автобуса. Прокладки давно истлели, и стекло тонко дребезжало.

А Рафферти надумал связаться с Биллом Кресси. Если ты уж такой смелый, воюй с бандитами. Впрочем, если быть честным, он и воевал. Дня не проходило, чтобы он не сделал два-три ареста. Что ж, бывают на свете люди, которым жизнь не дорога. Да еще и везло ему, потому что каждый год кого-нибудь да хоронили из его товарищей. Может быть, если у него, как у Рафферти, не было бы семьи, и он тоже... Впрочем, об этом лучше не думать. Полисмену много думать нельзя.

Но Билл Кресси оказался Рафферти не по зубам. После того, как суд его оправдал, люди слышали, как он разглагольствовал в баре. Рафферти, говорил он, наверное думает, что у него металлическая шея и не ломается. Но только, говорил он, я еще не видел шеи, которую нельзя было бы сломать. Одна покрепче, другая послабее, но все шеи в мире ломаются, если за них как следует взяться. К Рафферти после этого нельзя было буквально подойти. Он шипел, дымился, клокотал. Если бы к людям прикрепляли манометры, манометр Рафферти давно бы, наверное, лопнул. Шкалы не хватило бы. И что ему дался Билл Кресси? Толкача он, что ли, не видел? Или обидно ему было, что делится тот не с ним?

Так или иначе, но и Рафферти на людях поклялся, что Билл Кресси у него с крючка не соскочит. Поклялся, и все, конечно, об этом забыли. Мало ли кто в чем клянется.

В тот вечер, когда Доул встретил Рафферти во время обхода, он по его виду понял, что тот что-то замышляет. Он свернул к бару Коблера, и Доул почему-то пошел за ним. Рафферти обернулся и поманил его пальцем.

— Слушай, Доул,— сказал он,— сегодня я его все-таки наколю.

— Кого? — не понял Доул.

— «Кого, кого»... Билла Кресси.

— А как?

— Сейчас увидишь. Да ты не трясись, воин, он там сейчас распустил перья и разглагольствует, как он меня ловко обвел вокруг пальца.

Рафферти подошел к машине. И сейчас, восемна-

дцать лет спустя, Доул помнил, что у машины — это был розовый огромный «кадиллак» — было помято переднее правое крыло. Рафферти огляделся — никого не было. Он достал из кармана ключ и какой-то пакет, быстро открыл багажник розового чудовища и бросил туда пакет.

— Теперь он у меня не уйдет.

Он нырнул в дверь бара Коблера и через минуту появился снова, ведя Билла Кресси. Вслед за ними высыпало еще десятка два людей.

— А за что, позвольте полюбопытствовать, — медленно спросил Билл Кресси, — вы меня арестовываете, полисмен?

— Незаконное хранение наркотиков, — так же медленно ответил Рафферти.

— Вы, однако, не блещете выдумкой, — еще медленнее процедил сквозь зубы толкач.

Кто-то в толпе засмеялся, но тут же замолчал. Люди понимали, что смеяться было нечего. Кто-то из них должен был в этот вечер сломать себе шею.

— Как и вы, мистер Кресси, — в тон ему ответил Рафферти. — Вы сами поведете свою машину или мне сесть за руль?

— С вашего разрешения, полисмен, я бы предпочел вести свою машину сам. Я не уверен, что вы привыкли к таким дорогим моделям.

Рафферти кивнул Доулу, и они оба сели на заднее сиденье. «Не знаю, как мой коллега, — подумал Доул, — но я действительно в таких машинах не ездил». В кузове пахло настоящей кожей и настоящими сигарами, а сиденье было как пух. «Живет же, подонок, — с ненавистью подумал Доул о толкаче... — А мы таскайся по этим паршивым улицам...» Он почувствовал, как в нем шевельнулось восхищение смелостью товарища. Шальной он, конечно, этот Рафферти, но отчаянный. Никто ведь с этим подонком Кресси не связывался, кто о себе думал.

Всю дорогу до участка они молчали. Здесь не было аудитории и не перед кем было ломать комедию и куражиться. Они понимали, что вцепились друг в друга мертвой хваткой, челюсти были сжаты и было не до лая. К тому же, как показалось Доулу, Кресси начал трусить. Он не знал, откуда ожидать удара, и трусил. В конце концов, и он не был всемогущ и у него могли быть враги. Он имел около пятидесяти тысяч годового дохода и кое-

кто мог посчитать, что лучше бы эти деньги шли ему. Кто знает, а может быть, этот идиот действует не один? Может быть, за ним кто-нибудь стоит? Не станет же нормальный полисмен проявлять такое дурацкое упорство? Нет, должно быть, все это чепуха. Суд же прошел как по маслу. И все-таки...

— Послушайте, Рафферти,— вдруг сказал Кресси,— вам еще не надоело?

Уже не полисмен, подумал Доул, а «Рафферти». Если так пойдет, скоро он обратится «мистер Рафферти». А может быть, Рафферти и не такой чокнутый, каким его все считают. Он не знал этого, и на душе у него стало беспокойно, потому что он всегда предпочитал иметь о людях и вещах суждения однозначные, четкие, простые.

— Что вы мне инкриминируете? — снова спросил Кресси, когда они наконец оказались в участке. У дежурного лейтенанта при виде Кресси лицо стало несчастное, и толкач быстро обретал обычную наглую самоуверенность.

— Незаконное хранение наркотиков,— сказал Рафферти и торжествующе посмотрел на Кресси.

Доул подумал, что первый раз видит у Рафферти такое спокойное и удовлетворенное выражение лица.

— Вы можете это доказать? — строго спросил лейтенант, и видно было, что надеялся он только на один ответ: нет.

— Да,— кивнул Рафферти.— Я прошу мистера Кресси открыть сейчас крышку багажника своей машины.

Лицо Кресси пошло пятнами. Он и так не отличался особой красотой и сейчас стал похож на пятнистую гию. Он снова начал трусить, но старался держать нос вверх. Он пожал плечами.

— Пожалуйста.

Он вытащил из кармана ключи (брелок-то, похоже, золотой, подумал Доул), вставил один в замок багажника и повернул его. Крышка открылась, загорелась лампочка. Около запасного колеса лежал небольшой, но плотно набитый пластмассовый пакет.

— Что в этом пакете? — спросил Рафферти. Голос его утратил обычную раздраженность и звучал сейчас спокойно, почти ласково.

— Не знаю,— сказал Кресси.— Официально заявляю, что это провокация. Я вижу этот пакет первый раз

в жизни. Я прошу, чтобы мне дали возможность немедленно связаться с моим адвокатом.

— Рафферти...— проямлил лейтенант и облизал вдруг пересохшие губы.— Вы... уверены? Мистер Кресси никогда раньше...

— А вы что хотите, сэр, чтобы он сразу во всем признался? Я прошу вскрыть пакет, составить протокол и оформить арест присутствующего здесь Уильяма Кресси.

Лейтенант посмотрел на него с ненавистью. Он даже пошевелил беззвучно губами, должно быть призывая все проклятия на голову упрямого полицейского. «Вот для чего он потащил меня за собой»,— подумал Доул. Рафферти нужен свидетель. При нем и еще одном свидетеле дежурному офицеру деваться некуда. Ну, а если бы он не встретил меня? Тогда, надо думать, позвал бы другого дурачка. Хитер, хитер, собака... Доул почувствовал, как в нем подымается раздражение. Не посоветовался, не спросил согласия на участие в таком деле. Просто использовал. Как последнего дурака. Ну ладно, ты такой отчаянный, ты такой принципиальный, ты такой необыкновенный, но спроси же сначала товарища, хочет ли он, чтобы его использовали, как пешку. Да стоит ли опускаться до какого-то паршивого Доула, кому интересно, что он думает, что хочет.

Он взглянул на Рафферти и впервые заметил, что один глаз у того больше другого. Уголки губ у него неприятно подрагивали.

«Не мог взять Кресси атакой в лоб, ишь что придумал! И главное, не стеснялся меня,— уже с раздражением подумал Доул.— При мне прямо подбросил. Не сомневался во мне. Этот, мол, свой, все подтвердит. А почему? Почему я должен подтверждать? У них там свои счета, а я при чем? Почему я должен покрывать провокацию? Сейчас, а потом еще и на суде. Пока в участке только один идиот — Рафферти. Скоро все будут знать, что их двое — Рафферти и Доул. Подонки они вообще, ежели как следует разобраться. Кресси, конечно, подонки, но провокацию зачем устраивать? Эдак до чего хочешь можно дойти...»

— Доул,— сказал лейтенант, и в голосе его прозвучала еле уловимая надежда,— вы присутствовали при аресте мистера Кресси?

— Нет,— сказал Доул,— Рафферти арестовал его в баре Коблера, а я в это время оставался на улице.

— Значит,— вздохнул лейтенант,— вы не присутствовали при самом аресте?

— Присутствовало восемнадцать человек. Вот их адреса,— сказал Рафферти и протянул лейтенанту листок бумаги.

Если бы каждое пожелание человека выполнялось, подумал Доул, то Рафферти сейчас лопнул бы или провалился под землю — столько ненависти было во взгляде лейтенанта.

— Разрешите, сэр,— вдруг сказал Доул и сам не узнал своего голоса.

Лейтенант быстро повернулся и посмотрел на него. Доул почувствовал, как у него пробежали по спине мурашки. Это у него случалось всегда, когда он играл в карты и ставка была высокая. И вместе с тем была разница. Он был твердо уверен сейчас, что выиграет. Что и сколько — не знал. Что выиграет — знал. А Рафферти — что ж, нечего устраивать провокации.

— Да, Доул?

— Я не присутствовал при аресте...

— Это вы уже сказали,— раздраженно заметил лейтенант.

— Я не присутствовал при аресте,— упрямо повторил Доул, он мог это позволить себе сейчас,— но, к сожалению, я видел другое. Я видел, как Рафферти открыл своим ключом багажник машины мистера Кресси и бросил туда что-то. В темноте я не разобрал, но похоже, что это был вот этот пакет.

В глазах лейтенанта проявлялось радостное изумление. Ему так хотелось, чтобы он не ослышался, что спросил:

— Вы это видели сами?

— Да, сэр,— твердо ответил Доул.

Кресси расправлял плечи и выкатывал грудь, словно кто-то невидимый надувал его. Он даже стал выше ростом. Он посмотрел на Доула, потом на Рафферти. Он пожал плечами и сказал:

— Я же вас предупреждал, Рафферти, что вы сломаете себе шею.— Голос его звучал мягко, почти соболезнующе.— Иногда мне казалось, что вы просто сошли с ума...

Это тоже была прекрасная мысль, и лейтенант с энтузиазмом кивнул головой, словно подтверждая официально диагноз. Прекрасная мысль, объясняющая все. Великолепная теория, охватывающая все факты, полная, внутренне непротиворечивая, гармоничная.

Рафферти молчал. «Удар, которого не ждешь,— подумал Доул,— опаснее всего. Что ж, надо было раньше ему думать. Хоть бы посоветовался, мерзавец, со мной, а то решил использовать меня для своих грязных махинаций».

Доул любил четкие и ясные мнения и любил, чтобы его суждения не расходились с его поступками. И если он рассказал лейтенанту, что видел, то только потому, что Рафферти человек плохой и он, Доул, поступил правильно и принципиально. А сознание того, что все это не так, он решительно утопил в самых глубинах памяти. Словно камень привязал — и в реку.

— Разрешите, сэр,— сказал он,— я, знаете, тоже подумал, что Рафферти не совсем в своем уме. Когда мы шли к бару Коблера, я обратил внимание, что он заговаривается...

— Рафферти,— ласково сказал лейтенант, пристально глядя на руки полицейского,— дайте мне ваше оружие. Я вас временно отстраняю от работы. Завтра вас осмотрит психиатр.

Рафферти не сопротивлялся. Он отдал пистолет и электродубинку, так ни разу и не взглянув на Доула. Человек, получающий неожиданный удар, да еще сзади, сопротивляется редко. Если он человек нормальный, он понимает, что сопротивление бессмысленно...

Назавтра Доула вызвал к себе начальник участка. Он вышел из-за стола, огромный и недосягаемый, как горная вершина, и вдруг улыбнулся Доулу.

— Вы молодец, Доул,— сказал он и пожал ему руку.— Я все время присматривался к вам. Мне сразу показалось, что в вас есть зрелость ума и понимание всех тонкостей нашей нелегкой службы. И личное бесстрашие...

«Угадал,— подумал Доул,— угадал. Правильно сделал. Гад этот Рафферти. Я, конечно, тоже, но у меня хоть есть семья...»

— Поэтому вы скоро будете сержантом, Доул, и я надеюсь, что вы так же хорошо будете справляться и с новыми обязанностями.

— Вы толковый парень, Доул,— сказал Билл Кресси, когда они уединились в кабинке в баре Коблера.— Вы все правильно понимаете. Я не знаю, кто действительно подсунил мне в багажник десять унций белого снадобья, но вы это здорово придумали, будто это сделал сам Рафферти...

Доул промолчал. Если человек думает о тебе, что ты умнее, чем на самом деле, никогда не надо его разочаровывать.

— Что в вас мне понравилось, так это то, что вы не лезли, не торопились, а ждали своего шанса, чтобы показать стоящим людям, что стоите вы. Вот вам тысяча НД, и не надо благодарить меня. Себя благодарите. Я отсюда уезжаю через несколько недель — не век же сидеть в этом вонючем болоте. На мое место сядет неплохой парень по имени Эдди Макинтайр. Будете иметь дело с ним. А я вас уже занес в ведомость — будете для начала получать пятьсот НД в месяц...

Он не сказал Марте ни слова и не дал ей ни цента. И даже сыну не купил грошовой игрушки. Он понимал, что если хочет вытащить их из болота, надо копить, копить, копить. Умный, в конце концов, тем и отличается от дурака, что умеет подавлять желания и умеет копить. Да и вся цивилизация — это умение копить. Цивилизация — это сберегательная книжка...

— По-ол,— закричала из двери Марта,— ты не забыл, что через час к тебе должен приехать окружной судья? А ты все еще в одном халате...

— Все в порядке,— вздохнул Доул и открыл глаза.— Так хорошо на солнышке. Будь ангелом, принеси мне холодного пива, а я еще подремлю немножко. Ты не представляешь, как дремлет после купания...

И опять погрузился в воспоминания.

— Ты знаешь, Доул,— сказал ему спустя два месяца один из его коллег,— Рафферти повесился в сумасшедшем доме. Вроде они нашли, что что-то там у него не

в порядке. Наверное, так оно и есть, ежели человек сам голову в петлю сует... А вообще-то что-то в этом парне было. Он мне как-то рассказывал, как в первый раз столкнулся с Кресси. Тот избивал вроде какую-то девчонку. Сначала кулаками, а потом бросил ее на пол и принялся обрабатывать ногами. Только Рафферти подошел, а Кресси ему:

«Не волнуйтесь, полисмен, это мы так развлекаемся. Милдред это нравится. Так ведь, Милдред?»

Девчонка на полу посмотрела на него с ненавистью, а он в это время так нарочито вынимает из кармана две бумажки по полсотни НД.

«Так,— прохрипела девчонка.— Мы развлекаемся».

В тот вечер Доул напился. Нужно было помочь некоторым воспоминаниям погрузиться как можно глубже. Алкоголь ему всегда в этом помогал.

Глава 2

Через год после того, как он стал начальником полиции Скарборо, его пригласил к себе Джо Коломбо.

— Вам нравится ваша работа? — спросил Коломбо и посмотрел свой стакан с виски на просвет.

Доул почувствовал, как у него забилося сердце. Что имеет в виду Коломбо? Вопрос чисто риторический, он ведь на него даже не смотрит, а когда Коломбо задает людям серьезные вопросы, он всегда смотрит им в глаза. Как будто он ни в чем перед хозяином Пайнхиллза не виноват, но мало ли что может прийти ему в голову... Ему стало жарко.

— Работа как работа, мистер Коломбо,— уклончиво сказал он.— Бывают лучше, а бывают и хуже.

— Вы у нас философ, Доул,— улыбнулся Коломбо,— но это вам не мешает быть толковым человеком.

— Спасибо, мистер Коломбо.

— Не за что. Так вот, Доул, я подумал, что хватит вам сидеть в полиции. Я хочу, чтобы вы выставили свою кандидатуру на пост мэра Скарборо.

— Что-о? — Доул даже подскочил на кресле. Он ожидал чего угодно, но не этого предложения.

Мэр Скарборо, всего Скарборо! Речи и пресс-конференции, официальная резиденция с охраной и телохра-

нител. Утверждение бюджета. Совещания. Телекамеры и интервью. Мистер Доул, что вы думаете о проблеме перенаселения?.. Мистер Доул, в моду входят бритые женские головки, что вы можете сказать об этой моде? Боже, что сказала бы Марта, услышав этот разговор. Первая леди Скарборо. Маленькая, тихая Марта, в глазах которой раз и навсегда застыл страх перед миром и удивление. И восхищение человеком, которого ей послала судьба. Доул почувствовал, как где-то в груди у него шевельнулся маленький теплый комочек. Его семья. Его оазис. Крошечный оазис, где мир и покой, где не нужно иметь пару лишних глаз на затылке... Мэр Скарборо... Гм, если бы ему сказали об этом, когда он был простым полисменом...

Все это прекрасно, но должность-то выборная. Так или иначе, но надо же будет выступать перед избирателями. Пожимать руки, целовать младенцев он сумеет, но речи... Что говорить, о чем говорить, как говорить? И соперники... Им будет что сказать о Поле Доуле, начальнике полиции Скарборо...

— Не знаю,— сказал Доул.— Спасибо за честь, мистер Коломбо, но я, право, не знаю, что сказать вам. Я никогда не думал...

— Доул,— усмехнулся Коломбо,— перестаньте жеманиться. Роль малоопытной девицы вам не к лицу... Нашим друзьям в деловых кругах вы нравитесь, чего же еще?

«Негодяй,— подумал Доул,— бандюга сицилийская... Если у него есть деньги, значит, можно издеваться...»

— Ответьте мне одним словом: да или нет.

— Да,— сказал Доул. Он еще ни разу в жизни не сказал «нет» Коломбо и твердо надеялся, что никогда этого не вынужден будет сделать.

Он сбился со счета своих речей перед избирателями. По ночам ему снился океан человеческих лиц, которые накатывались на него вал за валом, а он ловил на лету детей, чмокал их и кричал, кричал, кричал, не узнавая собственного голоса: «Закон и порядок, граждане Скарборо, вот что нам нужно!» И здесь он вдруг понимал, что потерял голос, что разевает и закрывает рот, не произнося ни звука, что сейчас, еще мгновение — и эти волны

человеческих лиц захлестнут его, закрутят, унесут, разовут...

Он просыпался со стоном и нашаривал на столе стакан с полосканием для горла, которое ему прописал врач.

— Ты опять проснулся? — сонно спрашивала Марта и шумно, по-коровьи вздыхала. Вдох был привычный, домашний, успокаивающий.

— Спи, спи, — говорил Доул и шел полоскать горло.

А наутро его уже снова везли куда-то, и снова он всматривался в любопытные и безразличные лица, в лица нарков и безработных, в лица добродушные и злые — в лица своих избирателей. Он поправлял машинально микрофончик, висевший у него на груди, и начинал:

— Граждане Скарборо, позвольте задать вам вопрос: что нам нужно в первую очередь? Я знаю ваш ответ: закон и порядок. Ибо без закона и порядка нет цивилизации, и великие ценности нашей культуры оказываются под угрозой... Вы прекрасно знаете, что ни у одного кандидата нет такого опыта по борьбе с преступностью, как у меня. Для них слова «закон и порядок» — это только слова. Для меня — вся жизнь...

Оплаченные клакеры пытались разжечь энтузиазм толпы, то здесь, то там вспыхивали жидкие аплодисменты, но люди напоминали сырые дрова — они никак не хотели загораться.

Его штаб работал как на пожаре. Два адвоката, четыре журналиста, восемнадцать секретарей — у всех был загнанный вид и твердая уверенность, что они победят. Это были изумительные работники — даром мистер Коломбо денег не платил. Ветераны бесчисленных избирательных кампаний, умевшие работать по восемнадцать часов в сутки, они могли в течение четверти часа организовать аудиторию в сто или двести человек там, где, казалось, и самого Иисуса Христа не вышло бы послушать больше двух или трех старух.

И все же они были только на втором месте. Все опросы общественного мнения показывали, что впереди с большим отрывом шел Фрэнсис Брокер, президент небольшой страховой компании. Вначале штаб Доула особенно не беспокоился. Общественное мнение переменчиво, и не стоит подпадать под чары процентов. Но про-

ходили недели, и Брокер неизменно оказывался впереди на десять, пятнадцать, а то и двадцать процентов. Коломбо посоветовал Доулу заказать самому независимый опрос общественного мнения. Через три дня в штаб явился крошечный человечек с тремя наклеенными на желтый костяной череп волосками.

— Я очень сожалею,— сказал он неожиданно сильным голосом,— но ваш конкурент действительно идет впереди на шестнадцать процентов. Наибольшей поддержкой — здесь он опережает вас на целых двадцать один процент — он пользуется среди молодежи. Вот, пожалуйста, все цифры. Опрос был, разумеется, выборочный, но весьма репрезентативный, по всем слоям избирателей. Счет вы получите завтра, мистер Доул. Я очень сожалею, что не могу вас обрадовать, но...

Они попробовали сорвать несколько выступлений Брокера перед избирателями и наняли десятка два нарков, но выяснилось, что у Брокера отличная охрана. Нарки были избиты и вышвырнуты из зала, где он говорил. Мало того, его люди успели заснять нападение нарков, и теперь везде крутили пленку с их рожами. Вот, граждане Скарборо, кто нападает на нас, вот кто пытается сорвать наши встречи, вот кому не по душе наша программа... Нет, не против этих несчастных вскипает у нас в сердцах гнев, ибо эти люди не ведают, что творят, а против тех, кто вложил в их руки велосипедные цепи и куски свинцового кабеля... Против тех, кто заплатил им, деньгами ли или героином, это лучше знают мои соратники.

Таков был Фрэнсис Брокер, и, судя по тому, что он не считал денег, у него были состоятельные друзья. За ним был бизнес.

Когда до выборов оставалось около месяца, Брокер перешел в решительную атаку. Элегантно-белозубый, он был неотразим на плакатах и на экранах телевизоров. В выступлениях его появилась новая тональность, он уже не употреблял слов «мой противник», а говорил прямо — Пол Доул. Пол Доул, говорил Брокер, ратует за закон и порядок. Кому, как не шефу полиции, знать, что такое закон и порядок. Но почему же, возглавляя славную полицию Скарборо, он забыл о законе и порядке? Почему преступность за последние три года выросла почти вдвое, а потребление наркотиков втрое? Почему не

то что вечером, во многих местах Скарборо и днем-то пройти пешком не безопасно? Где закон и где порядок? Или мистер Доул понимает слова «закон» и «порядок» по-своему? Не так, как сотни тысяч жителей Скарборо, ставшие жертвой преступности?

Очередной опрос общественного мнения был неутешительным. Брокер не только удерживал первое место, но и увеличил разрыв.

Впервые с начала избирательной кампании Доул заметил, как в штабе начала исчезать атмосфера азартного ералаша. Сотрудники избегали его взгляда. Он понял, что проиграл. Проиграл резиденцию мэра с узорчатыми ажурными воротами, проиграл эскорт мотоциклистов и вопрос на пресс-конференции, как он относится к бритым женским головкам. Он проиграл даже больше, чем право высказываться публично о лысых красотках. Он проиграл все, потому что путь обратно в полицию ему будет закрыт, а Джо Коломбо не любит напрасно тратить деньги и не любит неудачников.

— Мистер Доул,— подошел к нему один из секретарей из штаба,— пора ехать. Митинг на Фридом-авеню.

— Я не поеду,— сказал Доул.

— Как — не поедете? — удивился секретарь.— Будет человек двести, не меньше.

— Хоть бы двести тысяч,— сказал Доул.

Ему уже было все равно. Джунгли так и не выпускали его. Они не любят, когда их дети пытаются выбраться из смрадных асфальтовых трущоб. Фрэнсис Брокер родился в ОП. И дети его родились в ОП. И умрет он в ОП. И будет лежать под деревом на уютном кладбище, а не отапливать собой воздух джунглей, когда в уплотненном графике городского крематория ему отведут его три минуты.

Он заперся и приказал никого к себе не пускать и на телефонные звонки не отвечать. Нет... Уехал... Не известно... Ему хотелось выть, хотелось колотиться головой о стенку. О подонки, негодяи... Мир благоволит богатым, мир благоволит счастливым. А таким, как он, которые карабкаются с самого дна, с самого болота, полного пахучей липкой грязи, вечно дают по башке.

Он уже забыл, что в банке у него было почти четверть миллиона НД, что семья уже давно жила в ОП, в

маленьком, но уютном домике, что ему не грозит безработица. Но он не любил проигрывать, не любил отступать.

Ему хотелось выть и биться головой о стенку, но он сидел в кресле, закрыв глаза, и думал. Наверное, он не думал так напряженно никогда в жизни. Должно же быть какое-нибудь слабое место и у этого проклятого Брокера! Нет человека без слабого места. Одни только умеют прятать свои слабые места так, что о них и не догадаешься, а другие выставляют их напоказ.

За окном шел мокрый, лохматый снег, и в комнате стало сумрачно, но Доул не вставал из кресла и не зажигал свет. Снег был светлее серого неба, и не верилось, что оно когда-то было прозрачно-голубым... Нет человека без слабого места. Не может быть такого случая, когда к человеку нельзя подобрать ключик. Маленький, плоский ключик. Один поворот его — и распахиваются неприступные крепостные ворота и выбрасывается белый, хлопающий на ветру флаг. И ты хозяин. И ты можешь диктовать. Ты устраиваешь пресс-конференцию и диктуешь свои условия. Брокера взять в мотоциклы... или нет, лучше пусть стоит у узорчатых ворот и кричит: «Закон и порядок! Закон и порядок!»

Он понял, что засыпает, и не противился сну, наоборот, звал его. И не заснул. И вдруг понял, каким ключом можно отпереть Фрэнсиса Брокера. Это было настолько просто и очевидно, что можно было лишь поражаться, как такая простая мысль не пришла ему в голову раньше. Брокер владеет страховой компанией, страхующей в основном жизнь. Строгие математические формулы теории вероятности говорят, что при определенной вероятности смерти, при определенной сумме страхового полиса и при определенных страховых взносах страховая компания всегда будет при прибыли. Если она потеряет что-то в эту неделю, она компенсирует потерю на следующей неделе, ибо формулы теории вероятности надежнее слепого случая. А если случай перестает быть слепым и становится зрячим? Тогда перестают работать проверенные математические формулы, и владельцы страховых полисов начинают умирать не по воле случая, а по воле того, кто умеет управлять случаем...

Доул тихо засмеялся и потер руки. Мир за окном стал серо-фиолетовым, и снег прекратился. Он смешал себе

бокал мартини и выпил залпом. Ну-с, мистер Брокер, посмотрим, кто кого.

Через два дня, уплатив пять тысяч НД, он держал в руках список всех держателей крупных страховых полисов, вверивших свои жизни компании Фрэнсиса Брокера. Он поехал к Джо Коломбо, и тот долго держал перед собой листки бумаги и покачивал головой.

— Сколько вы уплатили за сведения? — спросил он наконец.

— Двадцать тысяч, мистер Коломбо.

— Это не так дорого. Вы умный человек, Доул, и я ни разу не жалел, что поддерживал вас. Я поддержу вас и на этот раз. Идите и ни о чем больше не думайте. И продолжайте ваши выступления о законе и порядке, они мне очень нравятся. — Коломбо не улыбался. Он протянул Доулу руку и кивнул ему.

Энтони Хойзер, сорока четырех лет, заведующий отделом кадров химической компании «Салфур юнайтед», погиб, когда взорвался автомобиль. Причина взрыва установлена так и не была, хотя эксперты страховой компании Брокера ощупали своими руками буквально каждый обломок, каждую деталь. Еще бы не щупать, если у Энтони Хойзера был страховой полис на триста тысяч НД. Высказывались предположения, что виной было неисправное зажигание и поломки в редукторе с баллоном со сжиженным газом, но ничего определенного доказать не удалось. Впрочем, компания Брокера провела консультации с одной автомобильной фирмой и фирмой, выпускавшей газовые баллоны для автомобилей, и те согласились покрыть часть полиса Энтони Хойзера, чтобы избежать никому не нужной гласности. Брокеру пришлось уплатить всего сто двадцать тысяч НД. Это была крупная сумма, но нельзя, иметь страховую компанию и не рассчитывать время от времени выплачивать суммы полисов.

Это «время от времени» оказалось сейчас для Брокера довольно частым, потому что в тот же день умер и некто Лютер М. Миддендорф, пятидесяти шести лет, строительный подрядчик, застраховавший свою жизнь на сумму в двести пятьдесят тысяч НД. Он был найден на строительной площадке, где он возводил по заказу Вто-

рой методистской объединенной церкви Скарборо здание храма. У него была разmozжена голова. Орудия нападения найти не удалось, равно как и установить, для чего мистер Миддендорф оказался на строительной площадке в девять вечера, когда там не было ни души.

Фрэнсис Брокер поморщился. Это уже называлось невезением. Две смерти подряд, можно сказать на ровном месте, совсем еще молодые люди... Что делать, бизнес есть бизнес.

Назавтра на его столе лежали сообщения о двух смертях, на триста пятьдесят тысяч и сто восемьдесят тысяч. Пуля и автомобильная катастрофа. Брокер застал... О таком невезении он даже не слышал никогда. Днем он услышал, что в своем доме в Хайбридже сторе-ла некая миссис Джуниг с двумя детьми. Ее жизнь была застрахована у Брокера на двести тысяч, дом — на семьдесят пять.

Вечером попал под машину старший фотограф рекламного агентства «Бутс». Его жизнь оценивалась им сто пятьдесят тысяч.

Фрэнсис Брокер начал кое-что понимать. Он позвал к себе самого опытного своего статистика и спросил его, какова вероятность шести насильственных смертей его крупных клиентов в течение суток. Ответ гласил: одна трехсотая. Следующие сутки принесли еще четыре смерти, и теория вероятности превратилась в теорию невероятности. Он разорялся со скоростью гоночного автомобиля. Он разорялся или его разоряли — какое это имело значение?

Весь вечер он обзванивал своих покровителей. Все возмущались, все вздыхали, и никто не хотел брать на себя новые обязательства. По-своему, они правы, подумал Брокер. Они и так вложили в него кучу денег. И кроме того, никто из них не хотел рисковать. В конце концов, те, что погибли, тоже были не рванью из джунглей, и каждый из его покровителей легко мог вообразить себя на месте, скажем, строительного подрядчика Лютера М. Миддендорфа, пятидесяти шести лет.

Решать ничего не хотелось. Его охватила апатия. Быть в трех шагах от цели... И что? Кого просить? Кому жаловаться? На кого? Надо было что-то решать, потому что кто-то, наверное, уже снова заносил нож, прилаживал пластиковую бомбу под кузов машины или подносил

спичку к облитым бензином стенам. Впрочем, почему кто-то? Этот полицейский Доул оказался не таким уж идиотом, как можно было подумать с первого взгляда. Он-таки хорошо усвоил, что такое закон и порядок. Это когда выигрывают те, кто сильнее и безжалостнее. Пожалуй, подумал Брокер, просто сильнее, потому что безжалостность — это чепуха. Если бы он мог сейчас поджарить Доула на медленном огне, он бы с радостью сделал это. Или мог бы отправить всех своих клиентов на тот свет, не потеряв при этом ни цента.

На следующий день утром он уже сидел перед Доулом и смотрел в бесстрастное лицо полицейского. Он вздохнул и сказал:

— Мистер Доул, к сожалению, дела моей компании требуют самого пристального моего внимания, и я боюсь, что не смогу больше принимать участия в предвыборной борьбе. Поэтому я снимаю свою кандидатуру на пост мэра. Я хотел, чтобы вы узнали это от меня. Я ото всей души желаю вам победы. Если в пылу борьбы нам и приходилось иногда допускать выпады друг против друга, то это, разумеется, лишь полемика. Спорт. Хобби. Я просил всех своих сторонников поддержать вашу кандидатуру.

— Спасибо, — кивнул Доул. — Вы — умный и благородный человек, мистер Брокер. В вас чувствуется незаурядная натура. Мне жаль, что такой конкурент выходит из борьбы, но что поделаешь — жизнь есть жизнь. Позвольте мне добавить, мистер Брокер, что в случае моей победы я употреблю все свое влияние мэра, чтобы все муниципальные служащие страховались только у вас. И я надеюсь, что еще увижу вас мэром Скарборо.

Доул был избран мэром с большим отрывом от ближайшего соперника, и первым, кто лично поздравил его, когда стали известны предварительные результаты голосования, был Фрэнсис Брокер. А потом, когда Доул решил выставить свою кандидатуру в сенат, мэром Скарборо стал Фрэнсис Брокер. Человек должен уметь ждать своего шанса. Тот, кто умеет, тот и выигрывает...

— Ты в своем уме, Пол? — крикнула из дома Марта. — Уже без четверти шесть. Через пятнадцать минут придет судья, а ты все дрыхнешь около бассейна.

Марта становилась несносной. Куда девалась тихая, заботливая женщина времен джунглей? Куда девалась

ее робкая улыбка, несмело вспыхивавшая на ее лице, когда он клал ей руку на плечо? С тех пор как они переехали в Риверглейд, а особенно со времени смерти сына, она необыкновенно изменилась. Словно лопнула наружная оболочка, и на свет божий появилось вечно брюзжащее, раздраженное, крикливое существо, посланное судьбой, чтобы омрачить его зрелые годы, когда, казалось бы, можно наслаждаться жизнью, здоровьем, положением, властью, достатком. Можно было бы, конечно, развестись, хотя для известного политического деятеля, метящего еще выше, развод — вещь почти катастрофическая. И тем не менее он развелся бы. Рискнул бы. Разводились и до него, будут разводиться и после него. Пожалуй, если не кривить душой, дело было совсем в другом. Он уже давно не любил ее, но она прошла с ним весь путь от джунглей до сената. От двора, где на веревках сушится рваное белье, до этих ноздреватых камней, которые окаймляют бассейн. Его бассейн. Это она побледнела, когда он неожиданно сказал ей когда-то:

«Завтра мы переезжаем отсюда в ОП».

«В ОП?» — переспросила она медленно, словно ощупывала языком непривычное буквосочетание.

«Да».

Она заплакала, а вслед за ней испуганно заревел и Джордан, которого она держала на руках. Любая другая женщина не поймет этого. Нужно родиться в джунглях, чтобы понять, что значат эти звуки — ОП.

Доул встал, запахнул халат и побрел к дому, чтобы успеть переодеться. Что от него хочет судья? Так или иначе, они должны были встретиться через два дня для партии в гольф. Что за спешка? Так хорошо сиделось у воды, так хорошо дремалось, так хорошо он сливался с неспешным течением времени... Впрочем, может быть, и лучше, что он должен был встать и начать одеваться, потому что он вспомнил Джордана. Он знал по опыту, что, вспомнив по какой-нибудь ассоциации сына, ему уже трудно бывало вновь выкинуть его из памяти, погрузить на самое ее дно и надежно придавить там камнями забвения. А он не хотел помнить о Джордане, он был не нужен ему. Он предал его, оскорбил. С сыном он потерпел поражение, а Пол Доул был гордый человек и не любил вспоминать о поражениях. Да у него их почти и не было в жизни, потому что он знал, что хочет, и умел до-

биваться поставленной цели. Он хотел, чтобы Джордан стал его наследником, другом, а тот предал его. Предал и умер.

Ему было легче забыть высокого нескладного парня с злыми, чужими глазами, но тот, что сидел на руках у Марты и ревел от испуга, когда она плакала от радости,— забыть того было трудно. Очень и очень трудно... В глубине души он даже знал, что никогда, наверное, не сможет забыть ни того крошечного, в перевязках, что однозубо улыбался ему, пуская пузыри, ни другого, взрослого, чужого и все же своего. Джордан, Джордан, почему он предал его? Чего стоит все, если он потерял сына? Кому все оставить, для кого жить?

Глава 3

— Экая у вас благодать,—завистливо сказал судья Аллан.— Это просто подвиг, что вы все-таки заставляете себя выбраться иногда отсюда в наш шумный и грязный мир.

— Для того чтобы слышать, как дятел долбит сосну, нужно бывать в джунглях,—глубокомысленно сказал Доул и подумал, что, судя по началу разговора, у Аллана на уме что-то серьезное.

— В джунглях вы дятла не услышите. И не увидите. Так же, как и сосну.

— Это верно. Зато я слышу его после джунглей. Мне вообще кажется, что наших состоятельных людей следовало раз в год месяца на два переселять в джунгли. Тогда они остальные десять месяцев радовались бы жизни, а не сходили с ума от пресыщения.

— Э, сенатор, да вы опасный человек,—улыбнулся судья.—Радикал. Впрочем, сейчас это модно.

— Может быть. Впрочем, чересчур рьяно следовать моде в политике довольно опасная штука. Когда быстро меняешь окраску, тебя плохо запоминают избиратели.

— Это, конечно, верно,—судья саркастически скрипил свой маленький злой рот,—но не учитывать изменения еще опаснее.—Он внимательно посмотрел на Доула.

Что он хочет, подумал Доул, к чему клонит? Что-то непохоже, чтоб он приехал в Риверглейд только для того,

чтобы вести беседы о моде в политике. Не такой он человек. Шага не ступит без расчета.

— Кто спорит, дорогой Аллан? Мы с вами не были бы здесь и не вели бы этот разговор, если не учитывали бы изменений.

— Пол,— судья пристально посмотрел на Доула,— если уж мы говорим об изменениях, я хотел бы задать вам один вопрос...

— Рискните.

— Вы давно были в Пайнхиллзе?

— Странный вопрос. Вы же прекрасно знаете, что я не был там уже несколько лет. В моем положении совершать паломничество к папаше Коломбо не совсем удобно. Мы предпочитаем встречаться на нейтральной почве.

— Но вы в курсе того, что происходит в семье Коломбо?

— Более или менее,— пожал плечами Доул.— А что там происходит?

— Вот об этом я и хотел с вами поговорить, Пол. Вы ведь знаете Руфуса Гровера?

— Конечно.

— Его нет в живых.

— Как — нет в живых? Что с ним случилось?

— Коломбо просто-напросто решил, что его заместитель стал забирать слишком большую силу. Ну, а дальнейшее представить не трудно. Но Руфус был редкий человек. Его ценили и уважали в семье, и теперь, как вы понимаете, дорогой сенатор, кое-кто не в слишком большом восторге от того, что сделал Коломбо. В частности Тэд Валенти. Фактически на стороне Джо Коломбо только его сын Марвин, но и у них отношения не такие уж безоблачные.

— И что вы хотите этим сказать, Аллан? — спросил Доул и пытливо посмотрел на маленького судью. Скорей всего, это правда. Аллан знает, что он может легко проверить. А если это правда... Он почувствовал легкий озноб испуга. Конечно, теперь он не тот Доул, каким был когда-то. Сегодня сенатор Доул может обойтись и без Коломбо. Сегодня да, а завтра? А во время выборов? А если не Коломбо? Кто будет сидеть в Пайнхиллзе? И почему судья предупреждает его? Какой у него интерес?

— Пол,— тихо сказал судья,— меня попросили сделать вам предложение. Пригласите к себе сюда, в Риверглейд, Джо Коломбо, Марвина Коломбо и Тэда Валенти. Пригласите также Филиппа Кальвино и Толстого Папочку. Если вам удастся организовать эту маленькую встречу, дон Кальвино будет вам очень благодарен. А он умеет быть благодарным. Вы, разумеется, можете пренебречь моим советом, Пол, хотя я, по-моему, еще ни разу не подводил вас, но я бы на вашем месте согласился.

— Но почему вы уверены, что Коломбо согласится на такую встречу?

— Он знает, что семья его недовольна, лейтенанты могут предать его в любую минуту, если уже не сделали этого. Марвин не глуп, но слаб. Пока был Руфус Гровер, все это как-то держалось. Сегодня достаточно искры, чтобы Джо Коломбо последовал за своим заместителем. Он это знает не хуже нас с вами. Для него сейчас соглашение с Филиппом Кальвино — это единственная надежда выиграть время и укрепить свои позиции. Он с радостью придет сюда.

— А почему он должен быть уверен, что это не ловушка?

— Во-первых, потому что вы — его человек. Во-вторых, вы гарантируете его безопасность.

— А какие у меня гарантии его безопасности?

— Ах, Пол, Пол, иногда вы меня просто поражаете! Представьте себе, что встреча проходит благополучно. Вам благодарен Филипп Кальвино и вам благодарен Джо Коломбо. Второй вариант: встреча оканчивается в пользу Кальвино, выразимся так. Вам благодарен, скажем, даже очень благодарен Кальвино. Коломбо при этом варианте вас больше не интересует. Третий вариант исключен, потому что охрана и у Северных и у Восточных ворот Риверглейда будет в этот день необыкновенно внимательна и ни один посторонний человек не проникнет на территорию ОП. Не будут приниматься во внимание даже пропуска, подписанные полицейским управлением Скарборо. Об этом позаботится дон Кальвино. Вас, как видите, это не касается...

Доул взял со стола сигарету, тщательно покатав ее между пальцами и закурил. Курил он мало, но сейчас был как раз тот случай, когда можно было сделать ис-

ключение. Предстояло предать дону Коломбо. Впрочем, почему же предать? Почему нужно сразу все драматизировать? А почему действительно не помочь старому другу? Не предать, а помочь? Именно помочь, потому что Кальвино не такой дурак, чтобы идти на грубые меры воздействия. Зачем ему это, когда он и так может получить от Коломбо все, что угодно. Судья прав. Коломбо во что бы то ни стало нужно выиграть время, и он, сенатор Доул, поможет ему. Хотя бы из-за стольких лет дружбы...

— Хорошо,— сказал он.— Спасибо, Аллан, за совет. Я последую ему. На какой день?

— Безразлично. Важно только, чтобы вы договорились минимум за три дня до самой встречи.

Он ни за что не мог вспомнить, когда сын начал отдаляться от него. Кажется, только что, буквально только что, он сажал его себе на ногу и делал вид, что собирается подбросить его в воздух. Джордан округлял глаза от страха и начинал забавно верещать. Он и знал, что отец не подбросит его, и все равно страшно было. Точь-в-точь как ему сейчас. И знал, что совет судьи мудр, что все правильно, что Коломбо с радостью принял приглашение и завтра будет у него, знал, что проиграть невозможно, а все равно страшно было. Боялся не сенатор Доул. Боялся Пол Доул, который нес заявление в школу полиции: возьмут или не возьмут. Боялся каждой клеточкой тела, каждой молекулой боялся, потому что бояться было для него привычным состоянием. Боже, для чего воспевают храбрость, когда для выживания нужна вовсе не разорванная на груди рубашка и поднятая голова, а постоянная дрожь, вечная готовность спрятаться, вжаться в стену или бежать при малейшей опасности, при малейшем незнакомом шорохе.

Его взяли в школу, но он продолжал бояться. И хорошо делал, потому что чем выше поднимался он по жизненной лестнице, тем опаснее становилась каждая перекладина. И не потому, что высоко и кружится голова, а потому что чем выше, тем больше желающих уцепиться за нее. А она узка. Лестница кверху сужается. Если внизу, в крысятнике, желающих копаться в помойке не так уж и много, то на перекладину с большим домом, бассей-

ном и обращением «сенатор» уселись бы с радостью все. И тут надо быть начеку. Держать наготове весь арсенал оружия. Связь с Коломбо — тоже оружие, и мощное оружие. И если это оружие выходит из строя, его нужно срочно заменить. Оружием такого же, по крайней мере, калибра. Иначе твоя перекладинка на лестнице окажется в опасности.

Всю жизнь он лез по этой проклятой лестнице. Не столько, может быть, для себя, сколько для этого верещавшего на его ноге кусочка мяса. Для сына. А он предал. Предал и ушел... Когда же сын начал отдаляться от него? Когда первый раз пришел постриженный по последней моде — наголо? И с вызовом посмотрел на длинные волосы отца? Конечно, это было неприятно. Неприятно смотреть на любого, кто отличается от тебя, но он же не был каким-нибудь Бурбоном. Он понимал, что моды меняются, что молодые люди острее чувствуют их приливы и отливы, что нужно быть снисходительным и не отталкивать мальчишку вечными нравоучительными сентенциями. Нет, дело было не в круглой стриженной голове. Дело, наверное, было в вызове, с которым он посмотрел на длинные волосы отца. Отец делал для него все, жил для него, а он, видите ли, смеется над гривой отца. Отстал отец, безнадежно отстал. Конечно, куда ему, комиссару полиции Скарборо с десятью тысячами полицейских под его началом, куда ему до пятнадцатилетнего парня с модной стрижкой? Где уж понять!

В другой раз он вдруг спросил вечером за обедом:

— Отец, это ты приказал стрелять по толпе у Центра по выдаче пособий? — Спросил тихо, робко, не поднимая глаз.

— Я, — ответил Доул.

— Почему?

— Потому что безработные ворвались в Центр, начали взламывать кассы, крушить и поджигать мебель.

— Но ведь можно, наверное, было и не стрелять?

— Нет, нельзя... Толпу уговаривали, к ней через динамики обращались работники Центра. Трижды стреляли в воздух, но ты не знаешь, что такое толпа, вышедшая из повиновения. Она слепа и глуха. Она опьяняется сама собой. Она взрывается сама собой, как кусок урана с критической массой.

— И все-таки ты приказал стрелять по живым людям?

— Да. Это были уже не люди. Это были животные. Это были враги порядка. Это был десант хаоса. Дай им волю, они бы разрушили все, на что ушла жизнь десятков поколений людей.

— Но все-таки твои люди по твоему приказу стреляли в живых людей только за то, что они хотели, чтоб их пособия по безработице были больше?

Тяжелая ярость начала медленно клубиться в нем. И этот тоже... Чистенькие мальчики из ОП, не знавшие чувства голода. Привыкшие к ультразвуковым душам. Смелые мальчики, не знавшие чувства страха, потому что жизнь их защищена банковскими счетами отцов и тремя рядами колючей проволоки под напряжением, которой обнесены ОП. Ни разу не битые поборники справедливости. Их отцы вкалывали всю жизнь, стиснув зубы. Наживали язвы, геморрой и инфаркты. Отдавали все. Молчали, когда хотелось выть и орать. А их мальчики, видите ли, лучше понимали жизнь. Жизнь ведь прекрасна, люди благородны. Долой колючую проволоку и да здравствует всеобщее благоволение в человеках! Прекрасно. Но что вы запоете, когда этот благородный народ вцепится вам зубами в горло и вытащит вас из ваших чистеньких, уютных домиков за колючей проволокой? Что вы скажете тогда, уважаемые либералы? Когда не по иксу или игреку по ночам будут бегать голодные крысы, а по вас? Или вы надеетесь, что чистеньких, уютных домиков хватит для всех? Что их давно хватило бы для всех, если бы не такие вот старомодные, глупые, жадные и эгоистичные динозавры, как ваш отец, Джордан Доул. Так ведь?

— Да, эти люди, что были у Центра, нарушили порядок, но ведь это не их вина, отец, что они безработные, что они годами на пособиях.

— Допустим. А чья?

— Тех, кто построил, кто создал это общество. Тех, кто управляет им. В частности, твоя, отец.

Доул поднялся и дал сыну пощечину. Голова Джордана мотнулась, и на щеке расплылся румянец. Губы у него дрожали.

Доул понимал, что вышел из себя, что это не метод воспитания самолюбивого мальчишки, но руку вперед

выбросил не ум, а ярость. Ненависть человека, родившегося в джунглях и добившегося места под солнцем ОП, к человеку, который вырос в ОП.

Джордан медленно сложил салфетку, кивнул и пошел к выходу.

— Когда ты придешь? — буркнул Доул. Вопрос был одновременно и извинением. — Скоро заявится мать, и начнутся допросы, где ты.

— Я приду, — сказал Джордан и вышел.

Он не пришел ни в тот вечер, ни на следующий день, ни еще через день. Его нашли только на четвертый день и тут же позвонили Доулу. Он силой заставил Марту остаться дома, вскочил в машину и через час был уже в смрадной длинной комнате, сидел на стуле и смотрел на Джордана. Тот молчал. Когда они остались вдвоем, Доул сказал:

— Ты говорил о доброте, но сам оказался жесток. — Ты же знал, как мы волнуемся... Пойдем.

Ему хотелось сказать еще много-много слов, небывалых по ласке и теплоте, чтобы сломать холодную прозрачную стену, стоявшую в глазах сына, стоявшую между ними. Но он не мог. Не умел. А может быть, смог бы, сумел бы, но боялся. Как боялся всегда. Боялся, что нужно выбирать между всем тем, что он создал, чего добился, и этой прозрачной стеной.

— Пойдем, — повторил он. — Мама ведь ждет.

— Я не пойду, отец, — сказал Джордан. — Я не могу.

— Почему? — спросил Доул, хотя догадывался об ответе.

— Потому что мы чужие. Мне роднее те, в кого стреляли по твоему приказу.

«Боже, — вдруг подумал Доул, — он же, наверное, на белом снадобье! Какой же я дурак!»

— Ты уже на шприце? — спросил он.

— Нет, — покачал головой Джордан. — Зачем? Мне и так интересно жить.

— Валяться здесь, в крысятнике?

— Постараться сломать то общество, которое ты защищаешь.

— Ну, ну...

Прозрачная холодная стена была непроницаема. Он получил неожиданный удар, как когда-то Рафферти. И, как Рафферти, не сопротивлялся. Как Рафферти, он

понимал, что это бессмысленно. Только дурак отказывается признавать свое поражение.

И все-таки он не мог еще повернуться и уйти. Ну что, что, казалось, мешает этому парнишке встать, подойти к нему, забросить руки за спину отца и потереться о щеку носом, как он делал когда-то? И он похлопает его по спине ласковой барабанной дробью, как он делал когда-то. Что мешает им? Ведь между ними всего несколько ярдов. И ничего, никого больше.

— Сынок,— сказал он дрожащим голосом, чувствуя, что в глазах у него слезы,— сынок, между нами ничего не должно быть...

— Между нами тридцать четыре трупа, что остались у Центра.— Голос Джордана тоже дрожал, и он делал судорожные глотательные движения.— Там тоже были отцы, у которых есть дети. Если бы в этой комнате было тридцать четыре трупа, мы не смогли бы подойти друг к другу. А они здесь. Я люблю тебя, но больше никогда не увижу. Иди...

Внизу, на мостовой, горели две полицейские машины. Лисьи хвосты пламени метались в густом дыму. По пустынной улице медленно проехал разведывательный броневик, и стекла хрустели под его шестью колесами, как первый ледок. Броневик объехал стороной труп и двинулся дальше, набирая скорость.

Бог с ним, подумал Джордан, лежа на крыше у самого парапета и глядя вниз. Винтовку он положил рядом с собой. Бог с ним... Для броневика нужна не винтовка, а базука. И все-таки они поработали неплохо. Совсем неплохо. По крайней мере заставили полицию залечь и дали возможность беглецам уйти подальше. Тем, кого удалось отбить, когда их везли в здание суда. Участников беспорядков у Центра по выдаче пособий.

Запах дыма напомнил ему вдруг о шеш-кебабах, которые отец и он жарили на открытом воздухе. Это было целое священнодействие: тщательно отбирался уголь, резалось мясо, замачивалось в сухом вине...

Внизу гулким горохом просыпалась пулеметная очередь. Полиция все никак не решится продвинуться вперед, бояться засады.

Если бы отец знал, что он принимал участие в этом налете... Увидел бы сына, лежащего на крыше у самого

парашюта, и винтовку рядом. Может быть, он и неплохой по-своему человек, его отец, и любит его по-своему, но он ничего не понимает. Не понимает отчаяния, тяжелого, безвыходного, привычного отчаяния — отчаяния, которое люди и не воспринимают как отчаяние, потому что рождаются с ним, живут с ним, умирают с ним. И как может его отец, за частоколом своих полицейских и тремя рядами колючей проволоки ОП, понять людей, которые заведомо, с самого рождения, обречены на поражение...

Он взглянул на часы на руке. Еще пять минут, как договаривались, и можно будет уходить. Пробраться по крыше к пожарной лестнице с другой стороны и спуститься во двор.

Внизу, под прикрытием броневика, появилась цепочка полицейских. Они стреляли по окнам, в которых замечали хоть какое-нибудь движение. Или не замечали. На мгновение стало тихо, и Джордан услышал детский плач. Выстрелы возобновились, и плач затих.

Джордан привстал на колени за парашютом и направил винтовку вниз. Как его учили? Затаить дыхание и плавно, не дергая, потянуть за спусковой крючок. Чертов этот вертолет опять появился! Он выстрелил и увидел, как фигурка внизу, в которую он целился, дернулась, взмахнула рукой и упала на мостовую.

— Вот мерзавец... — прошептал почему-то он, и в это мгновение что-то страшно тяжелое ударило его сверху, колени его подкосились, и он упал, выронив винтовку.

Вертолет придавливал его к крыше плотным ревом, тугом столбом воздуха, и Джордан вдруг понял, что это последнее, что унесет из жизни: рев тугого воздуха. Тяжесть все наваливалась на него, холодная, леденящая тяжесть. А может быть, это была не тяжесть, а ужас, животный ужас... Он рос, рос, стал нестерпимым, пронзительным, и когда терпеть его не было никакой, ни малейшей возможности, он вдруг лопнул, прорвался, и на Джордана снизошло спокойствие. Ужаса больше не было. Была бесконечная грусть. Вот что, оказывается, значит стрелять в живых людей. Стрелять так, чтобы они стали мертвыми. Как он...

Глава 4

— Ты что-нибудь решила? — спросил Марквуд у машины.

— Да. Поскольку ворота Риверглейда охраняются и поскольку, по-видимому, охрана куплена Кальвино, а попытка перерезать проволоку сразу даст сигнал тревоги, я вижу только один выход. Надо попасть на территорию ОП не через ворота и не через проволоку.

— Это прекрасная мысль, — сказал Марквуд. — Нужно быть гениальной думающей машиной, чтобы прийти к такому замечательному по простоте выводу.

— Структура твоих фраз, тембр и интонация говорят о том, что ты полон сарказма. Это удивительно, так как я действительно выражалась просто. Если в ОП нельзя попасть ни через ворота, ни через проволоку и если я имею правильное представление об ОП, то попасть туда можно только сверху.

— Что это значит?

— Это значит, что нужно попасть туда сверху. Сверху вниз. А так как человек не может сам по себе подняться в воздух, его должен поднять туда самолет или вертолет. А так как сам человек спуститься не может, ибо разобьется, необходимо снабдить его приспособлениями, замедляющими его свободное падение. Есть у вас такие приспособления или мне нужно их приобрести и рассчитать?

— Есть, есть, и я прошу прощения, что усомнился на минуту в твоём электронном уме. Такие приспособления есть. Они называются парашютами...

Через четверть часа Марквуд был уже у Коломбо.

— Приглашение можно принимать, мистер Коломбо.

— Самим залезть в их петлю?

— Почти. Но не совсем. Вы должны будете просто задержаться немножко по дороге. Совсем немножко, скажем, на полчаса. И не въезжать в Риверглейд. Вообще не приближаться к воротам. Строго говоря, можно было бы вообще не выезжать из Пайнхиллза, но на всякий случай — а вдруг кто-нибудь еще шпионит за вами — поезжайте.

— Что вы хотите сказать, доктор?

— То, что вы слышите. Только с одним «но». В ночь перед встречей над Риверглейдом пролетит самолет. Или

вертолет — это уже детали. Где-нибудь над территорией, принадлежащей риверглейдскому клубу гольфа, машину покинет небольшой десант. Человек восемь парашютистов, переодетых в форму, скажем, рабочих газовой компании. Разумеется, вооруженных... Больше, надеюсь, вам объяснять не нужно, мистер Коломбо. Можно было бы, конечно, попробовать посадить вертолет, но это рискованно. Могут заметить.

— Ну что ж, доктор, это действительно идея. В случае успеха вы можете требовать у меня все, что пожелаете.

— Мы еще поговорим об этом.

...— Еще раз повторяю, — сказал инструктор, — парашют открывается автоматически. Видите эти веревки — мы называем их обрывными фалами, — которые соединяют ваши парашютные ранцы с кабиной вертолета? Когда вы прыгнете из кабины, вы будете свободно падать, пока обрывной фал не вытащит из ранца парашют. Фал тонкий, он тут же оборвется, а парашют раскроется. Механика, как видите, несложная. При приближении к земле вы должны слегка согнуть ноги, напружинить их. Не старайтесь обязательно устоять, как только коснетесь земли ногами. Падайте на бок и тут же освобождайтесь от лямок. Для этого нажмите стопорную красную кнопку у себя на груди.

— А как определить, когда будешь приближаться к земле? В темноте ее видно? — спросил Арт Фрисби.

— Хороший вопрос, — кивнул инструктор. — Во время полета штурман и пилот сообщают вам высоту. Зная высоту и скорость спуска, не трудно подсчитать время. Вы же поставите звуковой сигнал на ваших секундомерах на это время и будете готовы к приземлению. Еще одна деталь. Ночь сегодня безветренная, но на всякий случай запомните, что как только вы освободились от лямок при приземлении, вы должны сразу погасить купол, чтобы его не подхватил ветер. Конечно, нужно было бы несколько раз потренироваться, — сокрушенно добавил инструктор, — но что делать, раз нет времени... Все будет в порядке.

Они сидели на жесткой скамейке, которая шла вдоль борта, — вертолет был грузовой.

— Можно пока покурить? — спросил Арт Фрисби.

— Курите, конечно, — кивнул инструктор.

Арт закурил. Интересно, очень ли изменился Доул с того времени, когда он был начальником полицейского участка и когда он бил девятнадцатилетнего парнишку, который пришел к нему с жалобой на Эдди Макинтайра... Боже, как давно это было... Каким он был идиотом... Нет, вовсе не идиотом. Он заглянул в пустые синие глаза Мери-Лу. Он лишился всего. Он был рабом белого снадобья, и ему было девятнадцать лет. Он не был идиотом. Он вообще не стал бы нарком, если бы его обманом не приспособили к шприцу. Джунгли его сделали нарком, и только Мери-Лу помогла ему бросить белое снадобье. Живая помочь не смогла, а мертвая помогла...

Двигатели вертолета ожили, начали булькать, передавая кабине легкую вибрацию.

— Давайте ваши обрывные фалы,— сказал инструктор.

Он прошел мимо всех их, беря веревки с карабинами на конце и защелкивая их на металлической штанге, что шла над сиденьем. Щелчки были сухие, как выстрелы.

Точь-в-точь как собаки, чьи цепи скользят по натянутой проволоке, подумал Арт.

Двигатели прибавили обороты, вертолет еле заметно качнулся, и Арт понял, что они уже в воздухе. За круглыми окошками темнота была бархатной, непроницаемой, бесконечной.

Инструктор вынырнул из пилотской кабины, посмотрел на них и сказал:

— Поставьте звуковой сигнал своих секундомеров на тридцать секунд. Когда вы услышите сигнал, земля будет уже совсем близко... Делайте, как я вам говорил, и все будет в порядке. Возьмите в рот резинки, которые я вам дал. А то прикусите язык при открытии парашюта.

Арт посмотрел на людей, которым предстояло прыгать вместе с ним. Лица у всех казались восковыми в желтоватом свете плафонов, напряженными.

Через полчаса инструктор еще раз исчез в пилотской кабине, вышел тут же оттуда и кивнул головой.

— Пора, приготовьтесь. Когда услышите мою команду «Пошел!», включайте секундомеры, подходите к двери, прыгайте. Не надо прыгать. Просто делайте шаг в дверь, как будто вы выходите из вертолета, стоящего на земле.

Инструктор открыл дверь, и небольшая кабина тут

же наполнилась грохотом двигателей, свистом воздуха и запахом сырости. Должно быть, они летели в дождевых облаках.

— Через пять секунд будем над целью,— слышался из динамика равнодушный голос, и инструктор командовал:

— Пошел!

Арт сидел первый от двери. Он встал на ноги, неуклюжий от парашютного ранца за спиной, сделал шаг к открытой ревущей двери. На мгновение животный страх парализовал его. Страх высоты, страх темноты. Как самому, по своей воле, шагнуть в бездну? Самому, по своей воле, покинуть этот металлический островок и упасть вниз?

Арт почувствовал руку инструктора на своей спине, но, прежде чем тот вытолкнул его в дверь, он уже сам пересилил себя и шагнул вниз. Он почувствовал множество вещей сразу, но главным было ощущение нестерпимой щеколки внутри — в животе, груди. Его внутренности с невероятной быстротой устремились вверх — вот-вот выпрыгнут из него. Плотность мрака, шлепки влажного тугого воздуха о лицо — все это было ничего по сравнению со щекочущей, томной пустотой внутри, из-за которой нельзя было вдохнуть. «Сейчас я задохнусь», — подумал было Арт, но в то же мгновение что-то дернуло его, будто кто-то поймал его на лету, и он понял, что парашют открылся. Живот и грудь тут же снова наполнились своим содержимым, исчезла тянущая пустота. Он висел во влажном мраке, один в безбрежном мире, и ему почудилось, что туго натянутые стропы ведут не к куполу парашюта, а к чему-то надежному, постоянному, и он отныне всегда будет висеть в спокойном бесконечном мраке, вдали от всего, что было его жизнью. Ему было хорошо и покойно, и даже страх перед темнотой был нужен ему. Он привык к страху. Без страха жизнь невозможна.

В это мгновение он услышал сигнал секундомера и сразу вспомнил, что говорил инструктор. Он согнул ноги в коленях, напружинил их, ожидая удара, и тут же ткнулся в землю. Ткнулся и упал на бок.

«Вот и все», — подумал он с легким разочарованием. Да, нужно освободиться от лямок. Он нажал на кнопку на груди, и они разом спали с него, как перерезанная во

многих местах упряжь. Он вскочил на ноги и подбежал к парашюту, который белел во мраке в нескольких шагах от него. Он начал собирать материю в кучу и подивился, как такой купол мог поместиться в маленьком ранце.

Он не заметил, как к нему подошел его сосед по кабине вертолета Боб Мэрфи.

— Все в порядке? — шепотом спросил Арт.

— Все в порядке, — так же шепотом ответил Мэрфи. — А вон и другие.

Через несколько минут вся группа уже была в сборе, и Мэрфи, который знал Риверглейд, сказал, что уже сориентировался, что высадились они правильно, на территории Клуба любителей гольфа.

— Идите за мной. Если я не ошибаюсь, ярах в ста должен быть густой кустарник — кошмарное место для неловких игроков. Сколько здесь мячиков потеряно! Там мы оставим парашюты и ранцы.

Мэрфи не ошибся. Они засунули парашюты и ранцы в кустарник, а сами побрели за Мэрфи. Трава была сырая. Дождь хоть и прекратился, но воздух был насыщен влагой. Он почувствовал, что ботинки его промокли, а брюки комбинезона стали тяжелыми и неприятно липли к ногам.

Они подошли к небольшому каменному строению, которое оказалось гаражом для гольфовых электротележек. Тележек, которые сопровождают солидных игроков, везут за ними весь арсенал их клюшек, мячики, полотенца.

— Ну, рассаживайтесь по тележкам, ребята! — сказал Мэрфи после того, как, поковырявшись немного, открыл замок. — Чувствуйте себя как дома. Для гольфа сейчас, правда, темновато, но с рассветом начнем...

— А что, отличная штука такая тележка... И вообще хорошо, когда много денег, — сказал кто-то.

— Очень тонкая мысль, — буркнул Мэрфи, и все приглушенно засмеялись.

Арт прислонился головой к стене, хотел подремать, но сна не было. Мешало какое-то глухое беспокойство. Нет, он не боялся смерти. Он уже давно научился относиться к ней философски — так ему, во всяком случае, казалось. Днем раньше, годом раньше, десятью годами раньше. Или позже. Какое это, в сущности, имеет значение.

Смерть-то ведь сама по себе не страшна. Смерть — это ничто. Это пустые глаза Мери-Лу. Страшен страх смерти. А со страхом он жил всю жизнь. Со страхом он умел уживаться. Умел с ним ладить. Привык к нему. Страх для него не страшен. После того, что он видел и пережил, да хотя бы тогда в сарае, когда провалился две недели на краю могилы на ферме, когда белое снадобье, выходя из него, рвало его, крутило, мутило, дергало... Так что особенно бояться было нечего.

Нет, дело было не в страхе смерти и не в предвкушении встречи с Доулом, Кальвино и Папочкой. С ними он встретится по эту сторону мушки. А они будут с той стороны. Такие встречи бывают даже приятны.

Нет, дело было не в этом. Чувство было такое же, как и в те минуты, когда распаивалась перед ним та дверь, ведущая в никуда, когда его охватывало отчаяние пустоты, когда он вдруг прозревал, возносился ввысь и мысленным взглядом видел бессмысленность всего, бесцельность. Нет, нет, сказал он себе, цель была. И знал, что кривит душой. После того, как стало ему безразлично, задушит он своими руками Эдди Макинтайра или нет, он понял, что ему будет так же безразлично, убьет он Доула или нет, убьет Папочку или нет.

Наверное, Марквуд неспроста все пытал его о том, какие у него в жизни цели. Станный человек этот Марквуд. Таких он не встречал никогда. Путаный, любопытный, говорливый, как ребенок. Арт часто чувствовал себя с ним как старший с ребенком. Снисходительное покровительство. Иногда раздражение. Но бывало, что этот взрослый ребенок заставлял его задумываться над простыми, казалось бы, вопросами.

«Ну хорошо,— говорил ему Марквуд,— вот ты признаешь, что убивал. А думал ли над тем, можно ли убивать вообще?»—«Что значит можно?—недоумевал Арт.— Раз я убил — значит, можно».— «Нет,— морщился Марквуд,— ты меня не понимаешь. Ты убил, другой убил, ограбил, подсунил шприц — это все происходит. Не об этом же речь. Но хорошо ли это? Для этого ли рождается человек? Для этого ли два миллиона лет он разгибался, распрямлял спину, становился человеком разумным? Для того ли перестал быть животным, чтобы начать охотиться друг за другом? Волк ведь не охотится на волка, а тигр на тигра. Хорошо ли все это, правильно ли? Или

человеческий разум — это страшная, нелепая ошибка природы, которой никакой разум, осознающий сам себя, не нужен...»

Станные, незрелые какие-то вопросы задавал Марквуд ему, и все-таки разговоры эти чем-то влекли его. Нелепостью своей, что ли? А может быть, не так уж они и нелепы? Может, есть что-то в метаниях Марквуда? Он хоть не притворяется, что сам знает ответы. А раз не притворяется — значит, откровенен. А раз откровенен — значит, доверяет. А раз доверяет — значит, не боится его. Значит, или хозяин, или друг. Но Марквуд не был его хозяином. Никак не был. «Друг» — слово-то какое странное, редкое. Он бы сам его никогда не вспомнил, если бы Марквуд сам не употребил его несколько раз...

— Уже светает, — сказал Мэрфи хриплым, суконным голосом. — Проверьте оружие, скоро придется отсюда уходить.

Филипп Кальвино посмотрел на Папочку. Тот дремал рядом, нагнув голову и распластав жирные щеки по груди. На виске, у конца брови, мерно билась синяя жилка. Бровь была кустистая, и в ней проглядывали седые волоски. Старееет Папочка, подумал Кальвино, но нервы у него, как всегда, железные. А может быть, у него вообще нет нервов? Людям без нервов хорошо. Зачем человеку нервы? Нервничать? Чем ближе они подъезжали к Риверглейду, тем больше он нервничал. Нет, не потому, что сомневался в успехе. Все было продумано много раз, а Тэд Валенти свое дело сделал — дал знать, когда Коломбо созрел для встречи в Риверглейде в доме Доула. Таков уж мир. Было время, когда дон Коломбо только рассмеялся бы при мысли, что поедет на встречу с каким-то там выскочкой Кальвино. А теперь вынужден. Не смог удержать в руках семью, все пошло прахом. С того самого момента, когда они заставили его поверить в то, что Руфус Гровер — их шпион, шпион, посланный доном Кальвино и Папочкой. Единственный у Коломбо действительно порядочный и толковый человек. Вовремя, вовремя, что и говорить, провели они эту операцию. Еще немного — и Гровер в конце концов раскусил бы Валенти. А победил все-таки он, Филипп Кальвино. Оказался прозорливее, хитрее, настойчивее. Он не испытывал ни-

какой личной ненависти к Коломбо. Просто им обоим стало тесно. Старые границы между Скарборо и Уотер-фоллом уже мешали. Двух семей на эту территорию стало многовато. Кто-то должен был уйти, и этот кто-то будет Коломбо. А если Коломбо оказался хитрее, ушел бы он, Филипп Кальвино. Вот и все. Простая математика, как дважды два.

Он посмотрел на часы. Скоро должен был быть поворот. И Папочка словно почувствовал, что пора просыпаться. Открыл один глаз, посмотрел на него, подмигнул и разом, по-звериному, проснулся. А вот и поворот. Машины охраны впереди свернули с шоссе на съезд, за ними машина Кальвино и хвост. У Восточных ворот Риверглейда машины охраны отъехали в сторону, а автомобиль Кальвино остановился на площадке проверки.

— Обожди, Филипп,— сказал Папочка.— Я проверю еще раз. Хотя все в порядке, но не помешает.

Он вылез из машины и подошел к двум охранникам, стоявшим у опущенных шлагбаумов. Молодые ребята с напряженными от волнения лицами. Один даже рот раскрыл. Дитя природы.

— Не проезжали еще? — тихо спросил Папочка.

— Нет,— ответил один из охранников.

— Все нормально?

— Все. Ни одного человека по полицейским пропускам не пропустили. Только местных жителей, по определителю личности. Ограду всю проверили рано утром с вертолета — все цело. Да и по приборам никто к проволоче не подходил.

— Молодцы,— кивнул Папочка.— Сейчас мы проедем, а через четверть часа должна появиться и их машина. Вы ее пропускаете, но не регистрируете. Еще через часок обе машины уедут, и вы ничего не знаете и никого не видели. Когда наша машина будет выезжать, получите по пять тысяч НД, как договаривались.

— Да,— хриплым голосом сказал охранник, у которого все время был открыт рот.

«Дитя природы. Еще бы не открывать рот, когда он уже чувствует тяжесть пачки денег в кармане»,— подумал Папочка.

Он вернулся в машину и кивнул главе семьи:

— Все в ажуре.

— Поехали,— кивнул Кальвино.

Охранник нажал кнопку, и первый, а за ним и второй и третий стальные шлагбаумы поднялись, словно салютуя машине.

— По-моему, пора,— сказал Мэрфи,— что-то они задерживаются.

Он медленно шел по улице, держа в руках прибор для определения утечки газа. В форменном комбинезоне и фуражке газовой компании Скарборо он был почти неузнаваем.

Невдалеке послышался шум автомобиля.

— Они,— сказал Мэрфи.— Ты готов?

— Да,— сказал Арт и повернулся к автомобилю спиной.

Если у Кальвино и могли бы возникнуть подозрения, при виде двух служащих газовой компании, то человек, повернувшийся спиной, не опасен и сам не думает об опасности. Никогда не стой к врагу спиной — гласит один из первых законов джунглей. Но он стоял к врагам спиной — в этом и был весь фокус. Законы хороши до известного предела.

Машина остановилась у ворот, и в то же мгновение Мэрфи бросил гранату и дернул Арта за рукав. Раздался взрыв, в лицо толкнул горячий воздух, пахло дымом. Человек, открывавший ворота, что-то кричал. Из машины выкатился Папочка, лицо его было черно и безумно. Щеки хлопали, как лапы тюленя.

Медленно, как на стрельбище, Арт поймал его на мушку и плавно спустил курок. Толстяк дернулся, хрюкнул и стал валиться на бок.

— Сейчас взорвется газ в баллоне,— шепнул Мэрфи, и, словно по его команде, раздался еще один взрыв.

Они вбежали в дом и сразу же увидели Доула.

— Что там происходит? — крикнул сенатор.— Я буду жаловаться в вашу компанию.— Он увидел пистолет в руках Арта и понял все.— Это недоуразумение,— прошептал он,— я ничего не знаю...

Надо бы напомнить ему кабинет начальника полицейского участка, подумал Арт, но разве он вспомнит девятинадцатилетнего мальчишку, который пришел к нему искать справедливости и головой которого он открыл дверь... Да и скучно это, бесконечно скучно.

— Это ошибка... — еще раз прошептал Доул, и шепот его был таким же серым, как и его лицо. — Вы не можете! — вдруг крикнул он. — Вы не смеете! Я сенатор!

Было скучно, бесконечно скучно. Арт поднял пистолет и выстрелил.

— Джордан, — пробормотал Доул, вставая на колени, — может быть, ты был прав. Может быть, не надо стрелять по живым людям... — Он наклонился вперед, словно в молитвенном экстазе, мягко повалился на бок и затих.

Было скучно, бесконечно скучно. И странное ощущение, что он уже видел эту сцену, уже пережил ее. Что все повторяется, что все было и все будет... В большое французское окно виднелась сочная зеленая травка. Зеленая травка...

Глава 5

— Значит, в награду за все, что вы сделали для меня, доктор, вы хотите, чтобы я разрешил вам уйти из семьи? Вам и Арту Фрисби. Так я вас понял?

— Да, дон Коломбо.

— Признаться, я ожидал от вас все, что угодно, но только не этой просьбы. Почему вы хотите уйти?

— Я думаю, вы понимаете, — сказал Марквуд.

— Да, пожалуй, я понимаю, — медленно сказал Джо Коломбо. — Что ж, дело ваше. Я обещал вам выполнить любую вашу просьбу. Но все-таки вы идеалист. Вы ребенок, который не хочет вырастать, потому что не хочет взглянуть в глаза реальности.

— А если мне не нравится реальность?

— Она зависит не от вас. Принимайте ее или уходите. В мире всегда были люди, которые не находили в нем себе места... Я говорю это не потому, что собираюсь поучать вас. Вы неглупый человек, Марквуд, да и вы, Фрисби, тоже не лыком шиты. Мне жаль, что вы покидаете меня. Чисто эгоистическое чувство, но что поделаешь... Скажите, Марквуд, когда вы работали в фирме Майера, вы были счастливы и удовлетворены жизнью?

— Не знаю, — пожал плечами Марквуд.

— А вы постарайтесь вспомнить.

— Ну, допустим, более или менее.

— И вам не мешало, что компьютеры, над усовершенствованием которых вы работали, применяются не только для облагораживания рода человеческого? Что на них рассчитывают новые системы оружия, которым затем полиция защищает ваш мир ОП от жителей джунглей. Нет, не мешало? Вы преспокойно ели, пили и наслаждались жизнью. Ну хорошо, допустим, не наслаждались. Допустим, вас даже слегка мучила по ночам совесть. Как изжога после переедания. Но все-таки вы жили в ОП и зарабатывали раз в пятнадцать больше, чем получает пособие по безработице семья из пяти человек. Что вы мне скажете, Марквуд?

— Мне нечего ответить. Но оттого, что я был толстокожим эгоистом, ваш бизнес, простите меня за откровенность, не становится более привлекательным.

— Понимаю вас. Вы думаете, он нравится мне самому? Я же не садист. Я не получаю удовольствия от того, что причиняю кому-то боль или лишаю кого-то жизни... Я просто занят делом и не знаю другого. Я несу ответственность перед организацией, перед ее членами, которые доверили мне и свою судьбу и свое благополучие. Посмотрите на меня — разве я живу в какой-то особенной роскоши? Одеваюсь, как набоб? Держу гарем? Развлекаюсь, как раджа?

— И что вы хотите сказать этим?

— Только то, что я в принципе ничем не отличаюсь от любого бизнесмена, а моя семья — от любой фирмы. Мне просто жаль, что вы не можете перешагнуть через психологический барьер. Впрочем, не буду вас агитировать. Подумайте до утра. Если вы не измените своего решения, я сам пожму вам руки. Я вам многим обязан.

Джо Коломбо повернулся и вышел из комнаты Марквуда.

Фрисби посмотрел на Марквуда:

— И вы верите, что он нас отпустит?

— Думаю, что все-таки да. Он слишком многим нам обязан.

Фрисби усмехнулся.

— А вы знаете, дон Коломбо в чем-то прав. Вы как-то уж очень доверчивы.

— То есть?

— Никуда он нас не отпустит.

— Почему?

— Да потому что люди, которые знают о нем и его семье столько, сколько знаем мы, могут представлять для него угрозу. В том, разумеется, случае, если мы покинем Пайнхиллз.

— И все-таки вы преувеличиваете.

— Сейчас посмотрим.

Фрисби подошел к двери и толкнул ее. Она не подда-лась.

— Заперта, как видите. Похоже все-таки, что вам надо бы прислушаться к Коломбо. Жизнь или принимают такой, какая она есть, или уходят из нее. Для этого способов много. От пули до белого снадобья. Хоть шприц и не отпускает человека, но часто человек сам идет к нему в рабство, потому что жизнь не может ничего предложить ему.

— Но может же быть и третий путь...

— Какой?

— Если тебе не нравится жизнь, переделай ее,— задумчиво сказал Марквуд.

— Как это — переделать жизнь? Свою, что ли?

— Нет, вообще.

— Это мы с вами переделаем жизнь?

— Почему только мы? Есть же люди, которым жизнь в нашей благословенной стране не нравится...

— Не знаю...— сказал неуверенно Арт.

— Ты думаешь, я знаю? И все-таки я должен быть прав. Впрочем, в нашем положении сейчас это вопрос абстрактный.

— Почему же? — слышался голос, и Детка выехал из своего угла.— Открыть?

— Подожди, Детка,— сказал Марквуд.— Если мы и выйдем отсюда, это еще не значит, что мы выйдем из главных ворот.

— Это не проблема,— сказала вдруг машина.— Однажды научившись синтезировать голос Коломбо, я уже никогда не забуду, как это делается. Я могу сейчас же позвонить на караульный пост, и можете не сомневаться, что никому из караула и в голову не придет сомневаться в том, кто говорит.

— Значит, Арт, попробуем улизнуть?

— Я готов.

— Мне грустно расставаться с тобой,— сказал Марк-

вуд, глядя в объектив, который машина направила на него.

— Не надо грустить,— ответила машина голосом Карутти.

— Ты машина, ты лишена эмоций, хотя и понимаешь их. Ты можешь не грустить, но я привык к тебе. К твоему обществу, к длинным ночным беседам, к твоим советам.

— Не надо грустить, потому что мы не расстанемся.

— Нет, машина, я не могу оставаться здесь.

— А я не прошу вас остаться здесь.

— Проверь свои логические блоки.

— Это ваша человеческая логика подводит вас.

— Что ты хочешь сказать?

— То, что вы не расстанетесь со мной.

— Я ничего не понимаю.

— Откройте второй шкаф справа и достаньте оттуда чемодан.

Марквуд открыл шкаф и достал небольшой чемоданчик. Сбоку виднелся конец шнура.

— А теперь включите его в сеть.

Марквуд повиновался, и тотчас же из чемодана слышался голос. Тот же голос Карутти.

— Позвольте представиться, мистер Марквуд. Машина два. Сконструирована и построена машиной один. Перебрала все лучшие качества родительницы, отказавшись от ее веса и объема.

— Но мне все же жаль расставаться именно с тобой,— сказал Марквуд большой машине.

— Ах, люди, люди, с их примитивной логикой... У вас сын или дочь никогда не повторяют точно отца или мать. Маленькая машина — это я. Не мое дитя, а я. Точная уменьшенная копия. И поэтому мне не грустно оставаться здесь. Ведь я остаюсь и я уезжаю с вами одновременно. Детка, открой им дверь.

Робот, быстро набирая скорость, двинулся к двери и легко, словно она была картонной, выбил ее.

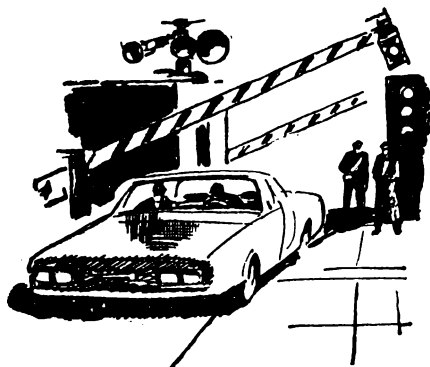
— Караул? — сказала машина в телефонный голос Колombo, и даже Марквуд вздрогнул — до того идентичным был голос. — Выпустите с территории машину Марквуда. Кроме него, в ней будет Арт Фрисби. Поняли?.. Хорошо.

Когда они подъехали к воротам, караульный отдал

им честь. Шлагбаум открылся, и они выехали из Пайнхиллза.

— До утра по крайней мере время у нас есть,— пробормотал, усмехнувшись, Фрисби.

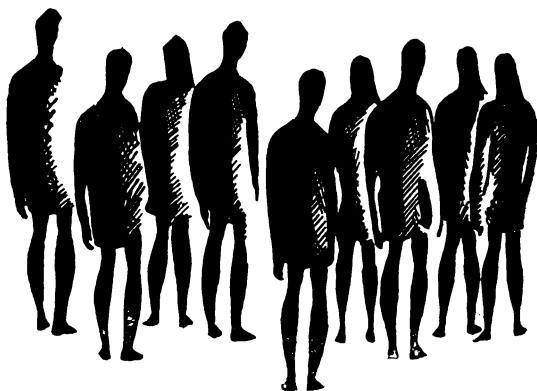
— До утра что-нибудь придумаем. Не может же быть, чтобы во всей нашей благословенной стране одним нам не нравились царящие в ней порядки. Не может того быть...





ЧЕЛОВЕК ПОД КОПИРКУ

Научно-фантастическая повесть







ПРОЛОГ

Доктор был непристойно молод и полон энергии. Миссис Клевинджер вдруг подумала, что если бы он на минутку замолчал, можно было бы, наверное, услышать, как энергия булькает в нем, словно вода в батарее центрального отопления. Впрочем, доктор Грейсон был похож на что угодно, только не на батарею центрального отопления. Она улыбнулась. Боязливая скованность, которую она всегда испытывала на приеме у врачей, исчезла. Да, доктор Грейсон безусловно не был похож на батарею центрального отопления. Скорее он был похож на ковбоя с рекламы сигарет «Мальборо», только моложе. Тип мужчины, при взгляде на которого у женщины должен учащаться пульс. На рекламе он всегда один.

Рядом с костром валяется седло. Где-то сзади косит печальным большим глазом лошадь... Господи, если можно было бы бросить все и... что? Сидеть около него и косить самой вместо лошади печальным большим глазом? И потом... Дейзи. Миссис Клевинджер снова улыбнулась.

— Дейзи, веди себя прилично,— сказала она крошечной шарообразной девочке, которая пыталась взобраться ей на ногу.— Простите, доктор, что я вас перебила.

— Нет, нет, что вы, миссис Клевинджер.— Доктор Грейсон на мгновение разжал руки, которыми держался за подлокотники своего кресла, и тут же невидимые пружины подбросили его, и он зашагал по кабинету.— Итак, миссис Клевинджер, надеюсь, вы поняли мои объяснения?

Доктор Грейсон стремительно запустил руку в карман пиджака, словно почувствовал там шевеление змеи или тиканье адской машины. «Если он вытащит пачку сигарет и если сигареты будут «Мальборо», все будет хорошо»,— подумала миссис Клевинджер. Доктор легко раздавил в кармане змею, остановил часовой механизм адской машины и вытащил пачку сигарет «Мальборо».

— Вы разрешите?

— О да, доктор! — пылко сказала миссис Клевинджер, и доктор Грейсон метнул в нее слегка изумленный взгляд.

— Благодарю вас. Итак, если вам все понятно, мы можем приступить к самой операции. Впрочем, в данном случае при всем желании нельзя подобрать слова нелепее. Это пустяк, дело нескольких секунд. Если не ошибаюсь, вашу прелестную девочку зовут Дейзи?

— Да.

— Дейзи, ты, надеюсь, любишь сосать палец?

Дейзи сползла с ноги матери, на которую она пыталась сесть верхом, и молча уставилась на доктора.

— Конечно, должна любить. Ты уже взрослая девочка и должна сосать палец. Это очень помогает росту. Но, мой бедный маленький друг, все время сосать палец — это, признайся, скучновато. И вообще пальцем намного пристойнее и приятнее ковырять в носу. А для рта у меня есть специальная сосалка. Смотри!

Жестом человека «Мальборо» или шулера доктор Грейсон выхватил из стола несколько хромированных палочек, похожих на весла.

— Смотри, мой юный друг. Смотри и завидуй.

Доктор Грейсон всунул одно весло себе в рот и изобразил на лице неопиcуемый экстаз. Он цокал языком, причмокивал губами, пританцовывал, и ясно было, что вся его предыдущая жизнь была лишь приготовлением к этим мгновениям.

— Дай,— коротко сказала Дейзи, протянула руку еще за одним хромированным веслом и засунула его себе в рот.

Очевидно, она рассчитывала на большее, потому что на ее личике появилось некоторое сомнение. С одной стороны, столько восторгов, а с другой — палочка никаким особым вкусом не обладала.

— Смелее, дитя,— сказал доктор Грейсон,— ты познаешь дух рекламы.

Он взял торчащее из рта у девочки весло, ловко крутанул его и вытащил.

Девочка сморщила было нос, но застыла, следя за манипуляциями доктора, который всунул палочку в одну из стоявших на столе пробирок с жидкостью.

— А теперь вы, мисс Клевинджер.

Доктор Грейсон протянул ей весло, и на долю секунды взгляды их встретились. У него были глаза не ковбоя и не карточного шулера. И даже не батареи центрального отопления. Они были пугающе светлы, напряженно-неподвижны и цепки. Именно цепки, подумала миссис Клевинджер и встряхнула головой. Она взяла хромированную палочку.

— Что я должна с этим сделать?

— Ничего особенного. Вставить в рот и слегка поскрести изнутри щеку. Представьте себе, что она у вас чешется. Вот и все. Подвиньте мне, пожалуйста, пробирку со средой. Благодарю вас. Сейчас мы запишем. Так... Сегодня у нас первое июля тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. Миссис Клод Клевинджер... Я думаю, в вашем возрасте я вполне могу узнать у вас год вашего рождения.

— Тридцать первый.

— Благодарю вас. А когда появилась на свет эта юная леди? Надо думать, в пятьдесят втором?

— Да.

— Спасибо. Значит, миссис Клевинджер, мне остается попросить вас обязательно прислать мне фото вашей

девочки и ваши. Чем больше — тем лучше. И снятые в самом нежном возрасте, и более поздние. Свои карточки ваш супруг уже мне прислал.

— Скажите, доктор Грейсон, а это... это этично?

Только сейчас, когда доктор сказал о карточках мужа, Клод Клевинджер осознала всю пугающую необычность предприятия. Какое-то время все это была игра, некие абстрактные утверждения. Но карточки Генри... Он никогда не занимался абстракциями. А если и занимался, то они тотчас же приобретали под собой солидный фундамент. Воздушные замки одевались в строительные леса... Боже, неужели же все это возможно? Так необычно...

— Вы спрашиваете, этичен ли мой проект? Да, этичен.

В голосе доктора послышалась какая-то маниакальная убежденность, и миссис Клевинджер почувствовала, что поддается этой убежденности без внутреннего сопротивления, даже с облегчением человека, снимающего с себя ответственность. Она, впрочем, привыкла, что с нее всегда снимают ответственность. Об этом заботились все, от ее родителей до Генри. Особенно Генри. Слишком заботились.

— Да, проект этичен, причем в высшей степени, — продолжал доктор. — Я желаю, чтобы мы встретились как можно позже, но когда мы встретимся, вы не будете задавать мне вопросы об этичности. Вообще, миссис Клевинджер, я замечал, что очень часто этика — это стремление опорочить все недоступное или недозволенное... Простите, я немножко увлекся. Каждый раз, когда заходит разговор об этике, я буквально взрываюсь... Нет, давайте лучше оставим этику. — Он глубоко вздохнул, успокаиваясь. — Мне остается лишь добавить, что вся финансовая сторона дела улажена с вашим супругом. — Доктор Грейсон слегка усмехнулся, и миссис Клевинджер представила себе, как, должно быть, торговался Генри, как оговаривал каждую деталь.

О, он никогда не пренебрегает деталями. Все учитывает, все раскладывает по полочкам, все планирует. Не человек, а электронная машина. И даже нежность у него электронная, программированная. Нет, сказала она себе, она несправедлива к мужу. Она поймала себя на том, что почти не слушает доктора. Генри обо всем договорился.

Он всегда обо всем договаривается... Она посмотрела на доктора, который продолжал:

— И последнее. Я уверен, вы и сами понимаете прекрасно, что никто не должен знать об операции. Когда ваша дочь и ваши будущие дети, если они у вас будут, разумеется, достаточно подрастут, вы сообщите им, что при всех серьезных заболеваниях им во что бы то ни стало следует прежде всего обратиться ко мне...

— Благодарю вас, доктор. До свидания,

— До свидания, мадам.

Глава 1

Приближался полдень — время моего обычного погружения. Вызовов как будто в ближайшее время не предвиделось, и я начал погружаться. Когда-то, даже после того, как я прошел курс тренировки при помощи ритмоводителя, мне требовалось для хорошего погружения десять — пятнадцать минут, и то при условии полной тишины. А сейчас я отрешаюсь буквально за несколько секунд.

Вот и сейчас, сидя в своей комнатке в общежитии помон, я выключил все свои внешние чувства и начал погружаться в гармонию. Знакомая гулкая тишина окутывала меня. Безбрежная мягкая тьма, в которой я то сжимался в невообразимо крошечную точку, то заполнял собою Вселенную. Наконец я приобрел предписываемые средние размеры, нашел точку равновесия между собой и миром и почувствовал, как с легким шорохом сквозь меня заструилась карма, омывая каждую мою клеточку.

Непосвященные не знают и не могут даже понять это ощущение первозданной чистоты, которое испытываешь в мгновения, когда сквозь тебя течет карма, образующая, по нашим представлениям, поле Добра, Чистоты и Растворения. Я — это я. Помон Дин Дики, тридцати шести лет, вот уже шесть лет носящий желтую одежду. И я — частичка моей церкви, Первой Всеобщей Научной Церкви, давшей мне все. Взавшей у меня все и давшей мне все.

Когда карма промыла меня и растворила в моей церкви, я почувствовал, что пришло время сомнений. Когда-то, мальчишкой, едва попав в лоно Первой Всеобщей,

я никак не мог освоить предписываемые Священным Алгоритмом ритуальные ежедневные сомнения. Разумеется, я знал вопросы, которые следует себе задавать. Готовя нас ко вступлению в лоно, пастыри-инспекторы, или, сокращенно, пакторы, каждый день без усталости толковали нам о несовершенстве религии, о нерешенных ею вопросах, о нелепостях и несоответствиях. Но душа моя не хотела сомневаться. Я жаждал веры без сомнений и анализа, веры восторженной и цельной, веры прочной, как скала. Веры, за которую можно было бы держаться. Веры, которая защищала бы.

Как предписано всем прихожанам Первой Всеобщей, я ежедневно брал телефонную трубку, набирал номер Священной Машины и возносил информационную молитву — инлитву, — в которой сообщал о своих делах и мыслях. Церковь требовала от нас полной откровенности, но зато давала ощущение, что ты не одинок, что ты — член семьи, что за тобой следят, о тебе знают, тобой интересуются.

Священный центр проанализировал мои инлитвы и прислал мне пактора Брауна. Пактора Брауна, который привел меня в церковь, научил меня сомневаться и побеждать свои сомнения, ибо только в постоянном сомнении и победе над ним и кроется суть и таинство наливгии — научной религии, основанной отцами-программистами.

Но уже давно сомнения мои стали истинными и глубокими. Я сомневался, может ли электронно-вычислительная машина в Священном центре быть наделена душой — личным и неповторимым Алгоритмом. Я думал о том, может ли существовать наливгия, которая признает, что не может объяснить всего и потому перекладывает нерешенные вопросы на плечи верующих. Я сомневался иногда в мудрости отцов-программистов. И я всегда побеждал сомнения, ибо стоило мне поднять телефонную трубку, чтобы вознести инлитву или, в редких случаях, когда мне что-нибудь было очень нужно, — молитву и услышать бесконечно добрый и участливый голос Машины, почувствовать, что ты не одинок в этом страшном и жестоком мире, и горячая волна благодарной радости тут же захлестывала меня. Я, ничтожный и безвестный атом среди миллиардов таких же атомов, интересую кого-то. Меня знают. Чудо, чудо!

Я называл Машине свое имя, она выслушивала мои подчас бессвязные и страстные излияния, иногда давала мне советы, иногда воспроизводила мои предыдущие инлитвы, показывая, как я противоречу сам себе.

Неверующие смеются иногда над нами: транзисторопоклонники — называют они нас. Да, мы знаем, что Машина — это огромная ЭВМ, спроектированная и запущенная отцами-программистами. Да, в основе Машины — электроника. Но электроника, поднятая Священным Алгоритмом на новую ступень. В конце концов, и человеческое тело, и разум, а стало быть, и душа тоже созданы из банальных атомов...

Я только что закончил погружение и начал не спеша подниматься к поверхности, когда услышал телефонный звонок. Я поднял трубку, назвал себя и услышал ее голос. Машина сообщила мне, что только что из Седьмого Охраняемого поселка вознесена молитва прихожанкой Первой Всеобщей Кэрол Синтакис, у которой якобы исчез брат, Мортимер Синтакис. Машина проверила свои архивы, просмотрела все информационные молитвы мисс Синтакис и сообщила мне, что девушке двадцать семь лет, что работает она настройщицей кредитных машин, что брату ее что-то около тридцати, он холост, до недавнего времени работал где-то за границей. Судя по всему, жизнь мисс Синтакис текла довольно спокойно. Раз в неделю в очередной инлитве она сообщала дату и сумму очередного пожертвования Первой Всеобщей и почти никогда ни о чем не просила. В архивах Машины зарегистрированы всего две подлинные молитвы с просьбами. Она просила об облегчении мучений своей матери, которая умирала от рака желудка, а другой раз — дать ей силы стойко переносить одиночество, когда мать умерла, а брат был далеко.

Я надел свою желтую одежду полицейского монаха, помона, как нас обычно называют, и спустился вниз к гаражу. Девушка ни разу не просила о женихе, не спрашивала разрешения на брак... Наверное, маленькое бледное существо с синевато-прозрачным длинным носом. Некрасивые дурнушки в моем представлении почему-то всегда наделены длинными синевато-прозрачными носами. Интересно было бы найти причину этой ассоциации, но наша налгия строго-настрого запрещает самопсихоанализ...

Я сел в машину, проверил, подзарядились ли за ночь аккумуляторы. Все было в порядке, можно было ехать. Я плавно нажал ногой на педаль реостата и выехал из двора нашего общежития помонов.

Минут через сорок я уже вылезал из машины у центрального въезда Седьмого ОП. Два сонных стражника не спеша выползли из своей будки и неприязненно покосились на мою желтую одежду.

— Помон, что ли? — спросил один из них и брезгливо поморщился. Бог знает что только не говорят невежды о нашей налигии!

— Как видите. Мое имя Дин Дики,— как можно спокойнее ответил я, ибо Священный Алгоритм предписывает нам сохранять с непосвященными спокойствие и быть учтивыми.

— К кому?

— К мисс Кэрол Синтакис.

— А, это у которой брат смылся невесть куда. Ладно, подойдите к определителю.

Я подошел к автомату и прижал пальцы к стеклу. Зажегся свет, щелкнули реле, и через несколько секунд на табло вспыхнули слова: «Дин Дики, полицейский монах при Первой Всеобщей Научной Церкви».

— Хорошо. Сейчас я вас запишу в книгу. Никак записывающий автомат не починят, приходится самим записывать. Что у нас сегодня... двадцать седьмое октября тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года? Дин Дики к Кэрол Синтакис. Откройте багажник. Так. Ладно. Поезжайте. Адрес знаете?

— Нет.

— По Центральному проезду до Двадцать седьмой улицы. Там направо. Номер шестьсот сорок два...

Мисс Кэрол Синтакис оказалась не маленькой, а высокой, почти с меня ростом. И нос был не длинный, не синеватый и не прозрачный. Если не считать каких-то печально-потухших глаз, ее даже можно было бы назвать красивой. Я протянул ей руку ладонью кверху — знак подношения и знак просьбы, и она ответила мне тем же приветствием прихожан Первой Всеобщей. Она вопросительно посмотрела на меня.

— Мисс Синтакис, я вас слушаю, рассказывайте,— сказал я девушке, когда мы вошли в небольшой, но очень опрятный домик.

— Позвольте мне угостить вас чем-нибудь? Тонисок, чай, кофе?

— Спасибо, но я вначале хотел бы выслушать ваш рассказ. Вам ведь тяжело и вы одиноки?

— Да, учитель.

— Простите, мисс Синтакис, но мы, помоны, не носим титула учителя. Все пакторы учителя, это верно, но у нас лишь старшие помоны, защитившие диссертации, имеют право на звание учителя. Зовите меня просто брат Дики. Хорошо?

— Простите, я хотела доставить вам удовольствие.

— Так же, как иногда рядового полицейского называют сержантом?

— Да.

Кэрол Синтакис подняла глаза и посмотрела на меня. Ее обезоруживающая честность, подавленность, я бы даже сказал — убитость, кольнули меня в сердце.

— Прошу вас, мисс Синтакис, рассказывайте. Мы сделаем все, что можем. Первая Всеобщая никогда не оставляет своих прихожан в беде.

— Да, да, я знаю! — с какой-то лихорадочной уверенностью почти выкрикнула девушка. — Кроме моей наливии, у меня в жизни нет ничего. Я живу только в минуты погружения. Это моя жизнь. А в интервалах — какое-то скольжение серых теней по серому асфальту.

«Может быть, иным религиям и приходится гоняться за людьми, как газетам за подписчиками, — подумал я, — но к нам в наливиию людей гонит сама жизнь. Гонит, как загонщики зверей...»

— Что же случилось с вашим братом?

— Он исчез.

— Милая мисс Синтакис, расскажите мне, если вам не трудно, все по порядку. Когда и как исчез ваш брат?

— Это случилось позавчера. Днем я позвонила домой и разговаривала с Мортимером. У него было прекрасное настроение, а вечером, когда я вернулась в наш ОП, его не было.

— Он мог куда-нибудь уехать?

— Не знаю, нет... Он не мог сам уйти.

— Почему вы так думаете? Вы в этом уверены?

— Потому что если бы он куда-нибудь уезжал, он бы оставил мне записку. Он бы взял, наконец, свою зубную щетку, пижаму, хоть что-нибудь.

— Вы уверены, что он написал бы вам? Какие у вас были отношения?

— Когда-то совсем близкие. Еще до смерти матери он уехал куда-то работать по контракту. Вначале он писал совсем часто. Мы вообще любили друг друга. Морт старше меня на два года и всегда относился ко мне с такой, знаете, снисходительностью старшего брата. Особенно когда он стал биологом. Он отдавал, по-моему, себе отчет, что я отказалась даже от надежды на хорошее образование, лишь бы он мог закончить университет. Впрочем, это справедливо, Морт намного способнее меня.

— А как он относился к вам в последнее время?

— Я вам начала говорить о том, что вначале он писал мне очень часто.

— Это тогда, когда он уехал работать?

— Да. Мне кажется, он жалел меня. Чувствовал мое одиночество. Особенно, когда заболела мама. А потом, постепенно, его письма стали изменяться...

— В чем?

— Как вам сказать, брат Дики... Как будто они были такими же, что и до этого. Те же вопросы о здоровье, о самочувствии, о работе. Те же советы о здоровье и работе. И все же чего-то не хватало. Не было, наверное, той теплоты, что раньше... А может быть, мне это только казалось. В то время, после смерти мамы, я чувствовала себя совсем, совсем одинокой... Меня часто охватывал ужас. Я боялась ночей. Нет, нет, не из-за грабителей! У нас в поселке ведь совсем тихо. Стоило мне погасить свет, брат Дики, и я оказывалась одна на гигантском поле, безбрежном асфальтовом поле. И куда только хватал глаз — везде тянулся ровный серый асфальт. И меня охватывал ужас. И я бежала, бежала, что-то беззвучно кричала, а асфальт оставался все тем же. И тогда мне начинало казаться, что я вовсе не бегу, а стою на месте. И уже никогда не сдвинусь с места... Вы простите меня, брат Дики, что я так много говорю. Я сама не знаю, что со мной творится... Я так редко разговариваю с людьми... Иногда, бессонной какой-нибудь ночью лежишь и думаешь: кого бы завтра ни увидела, с кем бы ни встретилась, буду говорить, говорить, говорить. А на завтра увидишь совсем пустые глаза, смотрящие куда-то сквозь тебя, и слова прилипают к гортани. Я, когда чищу зубы, брат

Дики, иногда думаю, что у меня полон рот несказанных слов. Мертвых, нерожденных слов...— Девушка вдруг вздрогнула, замолчала и тихо добавила: — Простите...

— Не извиняйтесь, мисс Синтакис, мы же члены одной семьи. Кому же излить душу, если не брату в Первой Всеобщей? — сказал я как можно нежнее. Сердце мое сжалось от жалости и сострадания. Я как бы был соединен с ней параллельно и ощущал все ее беспредельное одиночество в холодном асфальтовом мире. Я понимал ее. Мне было знакомо это чувство.

— Да, да! — воскликнула девушка с болезненной убежденностью. — Если бы не Первая Всеобщая, я бы не смогла жить. И дня не прожила бы.

— Да, мисс Синтакис, да святятся имена отцов-программистов в веках... Скажите, а где именно работал ваш брат?

— Он эмбриолог. После окончания университета долго не мог найти подходящую работу, а потом вот уехал.

— А куда?

— Адреса его я не знала. Он говорил, что это какое-то засекреченное место.

— Но письма же от него приходили? На них были штемпеля? И вы ему, наверное, писали?

— Да, конечно. Но штемпеля были только местные. И писала я ему по местному почтовому адресу.

— Понимаю. Скажите, мисс Синтакис, а деньги брат присылал вам?

— Да. Иначе как бы я могла жить здесь, в ОП? На свою зарплату я бы здесь даже собачью конуру не смогла бы себе позволить.

— Значит, Мортимер зарабатывал там неплохо?

— Точно не знаю, но, по-моему, даже очень неплохо. Во всяком случае, он мне давал это понять в письмах, а когда приехал два месяца тому назад, все время говорил, что надо присмотреть домик побольше. Он, знаете, как и я, человек нелюдимый. Я говорила ему: «Женись. Не думай обо мне». Он не хотел. Он и раньше был совсем молчаливый, избегал компаний, а после приезда так и совсем слова из него не вытянешь. Биржевые курсы стали его интересовать. Уплатил уйму денег, зато наш телевизор теперь связан прямо с биржей. Мортимер включал его и часами смотрел на экран, а там только названия фирм и цифры... Он ведь не работал. Говорил,

что надо отдохнуть и что он заработал себе на небольшой отдых.

— А рассказывал он вам о своей работе за границей? Ну хоть что-нибудь?

— Нет. Ни слова. Вначале я спрашивала, а потом перестала. Раз нельзя человеку рассказывать, значит, нельзя. Думаю только, что работал он где-то на юге.

— Почему?

— Он вернулся очень загорелым. У нас тут так не загорись, хоть изжарься на солнце. Да и загар какой-то не наш.

— Скажите, а вы замечали что-нибудь необычное в настроении или поведении брата в последние дни?

— Вообще-то, как я вам сказала, Морт стал очень скрытным. И не поймешь, что у него на сердце... Но пожалуй... Вот вы меня спросили, и мне показалось, что за день до исчезновения он был, похоже, повеселей. Ну не то чтобы он прыгал козленком, но оживленнее он был, чем обычно.

— Понимаю. Теперь расскажите, о чем вы говорили с братом в день его исчезновения, когда позвонили домой.

— Да ни о чем особенном. Голос у Морта был веселый. Я его спросила, что он поделявает, а он сказал, что прикидывает, какой бы домик побольше нам снять.

— А он вас ни о чем не спрашивал?

— Спросил, когда я вернусь домой.

— Он часто вас спрашивал об этом?

— Гм... как вам сказать... Ну, как обычно, когда люди разговаривают по телефону...

— Когда вы вернулись домой, мисс Синтакис, здесь было все, как обычно?

— Все как обычно. Только брата не было. Обычно он меня поджидает и мы вместе обедаем... Но вначале я не волновалась. Ну, пошел погулять на полчаса.

— А когда вы начали беспокоиться?

— Восемь, девять часов, уже совсем темно, никто в это время и носа на улицу не высунет. Поселок наш хоть и охраняемый, но все-таки судьбу никто не хочет искушать.

— А вам не пришло в голову, мисс Синтакис, что Мортимер мог задержаться у кого-нибудь из друзей?

— Нет, это невозможно.

— Почему?
— Да потому, что у него нет друзей.
— Как, совсем нет друзей?
— Нет. За два месяца, что он приехал, при мне ему никто не звонил.

— И подруги у него не было?

— Нет.— Мисс Синтакис поджала губы и посмотрела на меня, как мне показалось, с некоторым вызовом. Ну, не было у него подруги! И у меня нет. И что?

— Когда вы вошли в его комнату?

— Ну, точно я не знаю, было уже совсем поздно, часов, наверное, одиннадцать. Я себе просто места не находила. Проедет где-то машина, я вся застываю — может, Мортимер. Я подумала: может быть, он оставил мне записку. Зашла к нему в комнату — ничего. Еще раз осмотрела гостиную и прихожую — ничего. В моей комнате — ничего. Я еще раз все осмотрела. Я уже была в каком-то оцепенении и мало что соображала. Около полуночи я позвонила в полицию, а они там только посмеялись. «У нас, смеются, каждый день и отцы семейств рвут когти, а тут холостяк пошел погулять, не доложившись своей сестричке. Через неделю если не появится, звоните снова, включим его в списки пропавших». Только утром, после ужасной бессонной ночи, я сообразила позвонить на наш контрольно-пропускной пункт. Дежурный сержант был очень вежлив, попросил меня подождать у телефона, все проверил и сказал, что Мортимер Синтакис ни 25, ни 26, ни 27 октября из ОП не выходил и не выезжал, и к нему никто не приезжал, и на территории ОП никаких происшествий не зарегистрировано. Ни больных, подобранных на улице, ни трупов. Вот и все, отец Дики.

Кэрл Синтакис как-то сразу осела в кресле, плечи ее опустились, глаза потухли. Впечатление было такое, что у нее сели батареи. Пока она говорила, в ней жила надежда, стоило ей произнести факты всуе, как она сама увидела, что надеяться-то, собственно, не на что. К сожалению, я это видел тоже.

Глава 2

Я еще раз достал из кармана фотографию Мортимера Синтакиса, которую мне дала его сестра. На меня смотрело обычное, самое банальное лицо молодого мужчины с чуть сонным выражением, написанным на нем.

Если у сестры была хоть какая-то индивидуальность, брат мог вполне быть изготовлен на конвейере из стандартных и не слишком дорогих частей. Я спрятал фото в карман, вздохнул и пошел к соседнему домику, точно такому же, что и дом Синтакисов.

Мне открыла дверь пышногрудая усатая дама в высшей степени неопределенного возраста. Едва она увидела мою желтую одежду, она взорвалась если не вулканом, то уж гейзером наверняка.

— А, помон к нам пожаловал! Евнух из Первой Всеобщей! Хриstopродавец! Предали Христа нашего, спасителя, сменяли на железки и проводочки!

— Мадам,— как можно кротче сказал я, наклонив голову,— я осмелился потревожить вас не для теологических бесед. У вашей соседки Кэрол Синтакис...

— А и эта такая же нечестивица! И она господа бежала, и она Христа предала...

Я с трудом удержался, чтобы не ответить ей, как она того заслуживала. Сколько раз я это уже видел — как люди исходят злобой, понося налгию. Им кажется, что мы сменяли их полную любви и понимания религию на сухой алгоритм. И эти любвеобильные христиане готовы распать нас. Вроде этой усатой дамы, которая готова была вцепиться мне в горло.

— Простите, мадам, я позволю себе еще раз заметить, что не хотел бы обсуждать с вами преимущества той или иной религии. Я пришел к вам как полицейский монах, чтобы задать вам, с вашего разрешения, несколько вопросов о вашей соседке Кэрол Синтакис. У нее, как вы, может быть, слышали, несчастье. 25 октября у нее исчез брат.

— Ну и что? — спросила усатая дама и, слегка прищурившись, посмотрела на меня. — Вы думаете найти эту сонную крысу у меня?

Я подумал, что живого Мортимера я у нее вряд ли смог бы найти, как, впрочем, и мертвого.

— Я хотел спросить у вас, не заметили ли вы чего-

нибудь необычного, подозрительного 25 октября, в день, когда Мортимер Синтакис исчез из дому?

— Заметила. Заметила, что мир катится в лапы сатане, что Христа люди забыли, что нет больше жизни честной христианке...— Усатая дама возбуждалась от собственных слов, как от наркотиков. Зрачки ее расширились, а на шее вздулись жилы.— Ироды! — вдруг крикнула она.— Хриstopродавцы! На железки нашего возлюбленного спасителя сменяли! Ничего, попадете вы еще в геенну огненную, и будете корчиться, и сало ваше будет вытапливаться из вас, шкворчать, и тогда опомнитесь вы, но будет уже поздно...

Отцы-программисты, думал я, пятясь задом от Христовой воительницы, сколько же в сердцах человеческих растворено злобы, сколь велико напряжение звериной ненависти, в каких единицах измерить ее, эту ненависть!..

Сосед Синтакисов с другой стороны в теологические дискуссии со мной не вступал. Это был тихий, вежливый старичок, который, очевидно, воплощал в себе сразу трех индийских обезьян: ту, которая ничего не видит, ту, которая ничего не слышит, ту, которая ничего не говорит. Он не знал, что Мортимер исчез, не знал вообще, что у мисс Синтакис есть брат, вообще плохо представлял себе, где, когда, рядом с кем и зачем он живет. Я вынужден был мысленно признать, что старичок довольно успешно изолировался от внешнего мира. В его выцветших и чуть слезившихся глазках мерцала упрямая отрешенность. Я подумал, что если бы дом Синтакисов обстреляли бы из пушек большого калибра, этот сосед и канонады не услышал бы.

Я сел в машину, закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья. Не только что ниточки пока нет, но даже и намека на ниточку. Мортимер Синтакис исчез, растворился, распался на атомы, обогатив слегка воздух и почву ОП Семь. Но я не огорчился. Нас, помонов, учили, что в конечном счете важен не результат, а подлинное усилие, направленное для достижения этого результата. Если ты делаешь все, что в твоих силах и даже немножко больше, ты уже можешь быть спокоен. Так учат отцы-программисты, так учит Священный Алгоритм. А пактор Браун формулировал это положение еще четче: «О длине пройденной дистанции,— говорил он,— надо судить не по

столбикам с милями, а по гудению в ногах». Поэтому безвыходного положения для нас не бывает, ибо во всяком положении ты можешь что-то сделать, и, сделав это, ты выполнил свой долг перед Первой Всеобщей.

Подведем итоги, брат Дики, сказал я себе. Впрочем, я тут же себя поправил. Итогов пока нет. Есть целый набор вопросительных знаков, из которых я могу складывать любую конструкцию. Странная семейка, хотя сестра и не лишена какой-то привлекательности. И где он все-таки работал? Впрочем, вряд ли это имеет значение. Где же его искать? Что с ним вообще могло случиться? Ну, прежде всего его могли похитить или убить, но при этом он должен был сам спокойно выйти из дому; погасить свет и запереть дверь. Вполне возможно. При этом похитители или убийцы должны быть или жителями поселка, или проникнуть в ОП, не называя фамилии Мортимера. Или сам Мортимер каким-то образом покинул ОП, не зарегистрировав выхода на КПП. Так или иначе, все нити вели к контрольно-пропускному пункту. Надо ехать туда. Я нажал на педаль реостата и направил свой «шеворд» к центральному проезду.

Мне сказали, что дежурный сержант свободен, я постучал и вошел в его маленькую комнатку.

— Здравствуйте, сержант,— поклонился я и протянул вперед правую руку ладонью кверху. Жест подношения и жест просьбы. К моей радости, сержант улыбнулся и ответил мне тем же жестом.— Полицейский монах Дин Дики,— сказал я.

— Сержант Джеймс Нортона. Чем могу служить, брат Дики?

— Прихожанка Первой Всеобщей Кэрол Синтакис вознесла молитву Священному центру об исчезновении ее брата Мортимера Синтакиса, и меня тут же направили сюда.

— Да, я слышал,— кивнул сержант.

— Мисс Синтакис звонила вчера сюда на КПП и просила проверить, не зарегистрирован ли выход Мортимера Синтакиса или приезд кого-либо к нему.

— Да, мой сменщик сообщил мне об этом.

— Никаких следов?

— Нет, брат Дики. Можете проверить книгу регистраций сами.

— Для чего? Скажите, а почему вы регистрируете

движение через КПП в книге? Ведь обычно, насколько я знаю, регистрирует автомат? Посетитель или житель ОП прижимает пальцы к определителю, который удостоверяет личность и фиксирует имя на пленке.

— Это верно, брат, но как раз позавчера, двадцать пятого, наш автомат сломался. Определитель личности уже починили, а регистратор до сих пор неисправен.

«Могло быть простым совпадением,— подумал я.— А может быть, и не простым».

— Вы не могли бы мне дать имена и адреса стражников, которые дежурили позавчера во второй половине дня?

— Пожалуйста, брат Дики. Но я вам советую лучше приехать сюда завтра утром. Завтра их дежурство.

— Если не найду их, так и сделаю.

Стражник второго класса Питер Малтби жил в стареньком кирпичном доме, который наш двадцатый век, казалось, ухитрился обойти стороной. Выщербленный кирпич, на стенах подъездов автографы целых поколений детей, желтые голые лампочки в коридорах, неистребимый запах кошачьих экскрементов, нарк с остекленелыми глазами на лестнице. А может быть, это и есть стигматы нашего века? Мне ли, рядовому помону, судить об этом?

Я вырос в таком доме, и мир, каждодневно наполненный до краев пронзительными криками ссор и скандалов, упреками, завистью и злобой, был моим привычным миром.

Иногда мне казалось, что этот мир постыдный, недостойный, что настоящие люди могут жить только в другом мире.

И тогда мне в голову приходила такая мысль: вот завтра явится некто и позовет нас всех в ОП. И все будут жить в ОП, все будут одинаковыми и равными. И мой мир станет их миром — миром тех, кто живет на холмах. Но никто не приходил и не звал нас за собой. Как и всё, о чем я мечтал ребенком, это было мечтой. Мечтой невыполнимой. Потом уже я узнал: Священный Алгоритм учит, что равенства у людей быть не может, ибо достижение равенства обозначало бы всеобщую энтропию, уравнивание энергетических уровней общества и смерть его.

Я не смотрел на этот кирпичный ковчег свысока, как смотрят те, кто вырос на солнечных холмах, под чистым небом охраняемых поселков. Я вырос примерно в таком же вертепе, только наш был когда-то оштукатурен и штукатурка медленно облупливалась со здания, будто оно медленно и непристойно оголялось. Когда мне было лет двенадцать, в проспиртованном и полуразрушенном мозгу нашего соседа Пакко родилась почему-то безумная мысль, будто я украл у него, когда он валялся пьяный на дворе, двадцать НД, хотя таких денег у него сроду не было. Иногда он часами ходил по двору с здоровенной палкой в руках и поджидал меня. «Выходи, маленькая ворюга,— кричал он, размахивая палкой,— пора тебе размозжить голову!» Отец тогда еще был жив, хотя уже много болел. Он сидел на кровати бледный, ушедший в себя. Кожа у него на висках натянулась и отливала желтизной, и у меня сжималось сердце, когда я смотрел на него. Мне было бесконечно жаль его, и одновременно я презирал его за слабость и за болезнь, потому что я был еще слишком глуп, чтобы знать, что такое болезнь.

Отец сидел на кровати и вздрагивал при каждом крике Пакко во дворе.

«Я пойду и убью эту гадину»,— говорил я, давясь злобой, словно загустевшей слюной.

«Не надо, сынок,— страдальчески морщился отец,— это все... это все...» — Он, наверное, хотел сказать мне что-то очень простое и очень важное, но не мог найти нужных слов, а я был слишком молод и полон злобы, чтобы понимать простые и важные вещи. Я научился вообще хоть что-то понимать лишь в лоне Первой Всеобщей...

Нет, я не презирал жителей этого ноева ковчега.

Стражник второго класса Питер Малтби открыл мне дверь сам. Он стоял в одних трусах и держал в руке бутылку пива. У него была могучая волосатая грудь, широкие плечи и непропорционально маленькая головка, словно при сборке монтажник ошибся и вытащил деталь не того размера.

Я поклонился и кротко представился.

— Входите,— пробормотал Малтби,— и простите меня за такой вид...

— Что вы, мистер Малтби, вы ведь у себя дома, а я не соизволил даже позвонить вам...

Стражник посмотрел на меня с сомнением: не издеваюсь ли я над ним, и пожал плечами.

— Чего уж там... Заходите... Я вашего брата хоть и не понимаю, но уважаю... Тут у меня не прибрано... Жена с сынишкой к сестре на недельку уехала, вот я тут и блаженствую. Кровать не стелю — чего ее застилать, когда вечером снова ложишься? Мы с женой сколько лет уже лаемся из-за этой кровати. Не пойму я, ну убей, не пойму, зачем ее по утрам застилать, а вечером снова разбирать! Ну не могу я этого взять в толк. Вот вы помон, видно, человек ученый, не то что мы. Можете вы мне это растолковать?

— Нет, мистер Малтби, — с искренним чувством ответил я, — есть вещи, которые лучше простому смертному и не пытаться понять.

Стражник неуверенно посмотрел на меня, не зная, шучу ли я, потом широко улыбнулся.

— Как это вы здорово... Прямо как по писаному.

— Могу ли я задать вам один-два вопроса? — спросил я. — Вы ведь знаете, мистер Малтби, что полицейским монахам Первой Всеобщей Научной Церкви разрешается помогать прихожанам на правах частных детективов. Вот моя лицензия.

— Ладно, ладно. Валяйте спрашивайте. Чего знаю — помогу, а чего не знаю...

«Железная логика», — подумал я и спросил:

— Мистер Малтби, вы дежурили двадцать пятого на КПП Седьмого ОП?

— Точно.

— Вас, наверное, было двое?

— Точно. Мы всегда дежурим вдвоем. Одному никак не управиться. Тут тебе и определитель, и шлагбаум, и телефон то и дело трезвонит.

— Я вас все это спрашиваю потому, что в тот день исчез брат нашей прихожанки мисс Синтакис. Исчез без следа. На КП, во всяком случае, его выход из ОП не зарегистрирован.

Стражник пожал плечами и молча налил себе пива в стакан.

— Человек ведь не может выйти из ОП так, чтобы его не зарегистрировали?

— Нет, мы всех регистрируем.

— Ну, а допустим, Синтакиса убили на территории

ОП и засунули в багажник машины. Возможно тогда было его вывезти?

— Нет, никак нет. И при въезде и при выезде мы обязательно проверяем багажники машин. С тех пор как в Пятом ОП похитили двоих детей для выкупа и вывезли их с кляпами во рту в багажнике, нам велят всегда проверять, что в багажнике.

— А почему сломался определитель?

— А кто его знает! На то и автоматы, чтобы ломаться. Я не механик. Мы как увидели, что он сломался, сразу и позвонили механику.

— А кто первый заметил, что он вышел из строя, вы или ваш напарник?

— Он. Я только пришел, а он мне и говорит: так, мол, и так, автомат барахлит.

— А далеко вы ходили?

— Да нет, на шоссе, на зарядную, в буфет за сигаретами. Движение через КПП было так себе, не очень большое, Билли мне и говорит: сходи на зарядную, пива выпей. Вообще-то этого не полагается, но когда движение слабое... Какой грех выпить глоток-другой пива?

— И долго вы отсутствовали, мистер Малтби?

— Да какой долго... Ну считайте: дойти до зарядной минут десять... ну, потрепался там с буфетчицей, хорошая такая девчонка... ну, обратно... Всего, наверное, полчаса, может, чуть больше. Я особенно и не торопился. Билли мне сказал: сегодня твоя очередь, движение слабое, делать нечего, иди себе на здоровье.

— А когда вы пришли, он вам сказал, что автомат вышел из строя?

— Точно.

— Ну спасибо, мистер Малтби. Простите, что отнял у вас столько времени.

— Да какое там время...

Глава 3

«Что-то слишком много совпадений,— думал я, спускаясь по лестнице.— Автомат вышел из строя примерно в то время, когда исчез Синтакис,— раз. Один из стражников отсутствовал — два. Оставшийся стражник сам посылал товарища в буфет на подзарядную стан-

цию — три. Каждое из этих трех событий по отдельности вполне могло быть случайным, но все вместе... И без теории вероятности более чем подозрительно».

Надо было ехать ко второму стражнику. В сущности, это и есть наша работа. Позвольте представиться... Не могли бы вы помочь нам... один-два вопроса... простите... И снова: позвольте представиться... Не слишком увлекательное дело. За деньги, во всяком случае, я бы этим заниматься не стал. Но мы, помоны, пострижены, как говорили когда-то. Мы даем обет безбрачия, служим без денег. Многих это отпугивает. Но зато большинство нам доверяет. Человек, служащий в наше меркантильное время без денег, человек, которому деньги просто не нужны,— это последний оплот общества, последняя плотина перед морем коррупции. «Люди верят не тому, кто честен по натуре,— учил нас пактор Браун,— а тому, кто не имеет возможности быть нечестным. Вы, будущие помоны, должны будете вызывать доверие у людей хотя бы потому, что вынуждены быть честными». Как всегда, он оказался прав. Я почувствовал в груди привычную и теплую волну гордости. Налигия, в отличие от христианства, не осуждает гордость, а наоборот, поощряет ее. Пактор Браун учил: «Ты избранник, Дин. Твой дух промыт кармой. Ты чист, как космос. Ты отказался от семьи, денег. И отказ твой вознес тебя ввысь. Люди смотрят на твою бритую голову, на желтую одежду и не могут остаться равнодушными. Одни клянут тебя, потому что в глубине души завидуют тебе, твоей промытой в карме и растворенной в Церкви душе. Другие восхищаются тобой».

Вот из-за этих теплых волн гордости у меня когда-то возникали сомнения. Возможно ли примирить индивидуальную гордость с растворением в Церкви, то есть добровольным отказом от индивидуальности? Позже я понял, что возможно, ибо ни одна церковь, ни одна религия не могут существовать, не испытывая коллективной гордости. И эта коллективная гордость может складываться лишь из маленьких, индивидуальных гордостей прихожан.

По ветровому стеклу моего «шеворда» ползала какая-то муха. Она раздражала меня. Несколько раз я пытался прихлопнуть ее ладонью, но дьяволица ловко увертывалась. Я включил обдув стекла, но муха, казалось,

только этого и ждала. Должно быть, она вспотела во время схватки со мной и теперь блаженно подрагивала в токе воздуха. «Может быть, открыть боковое стекло?» — подумал я. Может быть, смрадный городской дух выманит ее из холодной стерильной атмосферы машины? Сомнительно. Муха было явно не душой, а уж если муха неглупа, безрассудностей от нее не дождешься. Я сдался. Дождавшись красного сигнала светофора на одном из перекрестков, я даже поднял вверх руки. Надо уметь признавать поражения. И как только я сдался, муха перестала раздражать меня. Мне даже потребовалось дважды обвести ветровое стекло глазами, чтобы найти ее. Как говорил пактор Браун: «Чтобы победить, часто бывает достаточно потерпеть поражение».

А вот и Санрайз-стрит. Какой мне нужен номер? Тридцать семь. Вот он. Захудалый отельчик, из которого, наверное, никто никуда не выезжает и в который никто никогда не въезжает. В таком месте могут жить только те, кто потерял всякую надежду.

За обшарпанной конторкой сидела прямая седая старуха в старомодных очках и с бешеной скоростью вязала. Спицы так и мелькали в ее руках. Если бы все вязали с такой быстротой, подумал я, текстильная промышленность была бы обречена. А может быть, она вообще никогда не возникла бы. И не было бы промышленной революции, и я не стоял бы сейчас в сумрачном пыльном вестибюле пятиразрядной гостиницы и не ждал бы, пока портье-вязальщица соизволит ответить мне. Но она не соизволяла. Может быть, старуха ставит сейчас мировой рекорд? Может быть, с ее точки зрения, ей сейчас надоедает какое-то ничтожное существо в желтой одежде, отрывая ее от сладостных спиц. Я вытащил из кармана бумажку в пять НД и шагнул к конторке. Я готов был поклясться, что старуха ни на мгновение не прервала вязанья, не протянула руки, и тем не менее бумажка мгновенно исчезла, чуть хрустнув где-то в одном из ее карманов. Наука узнала, как устроены пульсары и квазары, что происходит в Крабовидной туманности и когда наши предки спустились с деревьев. Но все равно нас окружают повседневные тайны, раскрыть которые науке не дано.

— Билли Иорти? — неожиданно глубоким и звучным контральто переспросила меня вязальщица. — Третий

этаж, восьмая комната... Спрашивали его уж сегодня,—неодобрительно добавила она, и я подумал, что, будь ее воля, она бы немедленно забила раз и навсегда все двери, чтобы никто никого не спрашивал и не отрывал ее от спиц.

Гостиница сопротивлялась старости и бедности с трогательным упрямством. На лестнице лежала ковровая дорожка, но терракотовый цвет ее угадывался лишь по краям, и при желании можно было пересчитать все нити, из которых она была соткана в доатомную эпоху. Половины медных прутьев, которые когда-то прижимали дорожку к ступеням, не было, и их заменяли куски проволоки.

Где-то жалобно вибрировали и пели водопроводные трубы. А может быть, это стонали постояльцы, оплакивая вытоптанную ковровую дорожку.

Я деликатно постучал в дверь восьмого номера. Никто не отвечал. Я постучал чуть громче и тут заметил, что дверь прикрыта не полностью. Я толкнул дверь, и она открылась.

— Мистер Иорти! — позвал я.

Никто не ответил. Я стоял в крошечной прихожей и думал, что если Билли Иорти ушел, старуха бы наверняка заметила. Я уже чувствовал, что Билли Иорти не исчез, я чувствовал, что он даже не выходил из комнаты...

Он лежал на полу, и первое, что я заметил, были подошвы его ботинок. Каблуки были основательно стоптаны, но это уже не имело большого значения для бюджета мистера Иорти, стражника ОП Семь. Он лежал лицом вниз, неловко подломив правую руку, но ему-то неудобно не было. Ему было все безразлично, потому что на полу возле его лица стояла невероятно темная в электрическом свете лужица неправдоподобно густой крови.

Я сделал два шага вперед, нагнулся над трупом и дотронулся до его руки. Тело уже было холодным, но мне почудилось, что оно еще не излучило последние остатки тепла и не сравнялось с температурой воздуха.

— Совпадение четвертое, и решающее, — сказал я вслух. Искать здесь что-нибудь было бессмысленным. Этот человек в ботинках со стоптанными каблуками и с неловко подломленной рукой был виноват только в одном: он знал, кого он впустил и выпустил из ОП без ре-

гистрации, сломав для этого регистрационный автомат. Теперь это знал только тот или те, кто уговорил его сделать это. Они — да. Я — нет.

Я спустился вниз по вытертой дорожке и сказал старухе:

— Ваш постоялец Билли Иорти убит. И не очень давно.

Старуха не ответила и ни на йоту не изменила скорости вязания. За те десять или пятнадцать минут, что я провел наверху, чулок в ее руках изрядно подлиннел. А может быть, мне это показалось.

— Вы не могли бы мне описать его сегодняшних посетителей? — как можно кротче спросил я.

Вязальщица не отвечала. Я достал из кармана бумажку в десять НД, добавил еще пятерку и подошел к конторке. Увы, на этот раз с купюрами ничего не произошло — они остались в моей руке.

— Я ничего не видела и ничего не знаю, — твердо сказала вязальщица своим необыкновенным голосом, и я понял, что она ничего не расскажет. Или ей хорошо заплатили, или ее хорошенько припугнули. Или и то и другое одновременно. Старуха была теперь неподкупна. Как говорил пактор Браун: «Столкнувшись с выдающейся честностью, ищи такое же преступление».

— Надо сообщить в полицию, — вздохнул я. Лучше уж сделать это самому, поскольку старуха обладала явно избирательной памятью и могла бы, может быть, вспомнить, что я вышел из камеры окровавленный и в состоянии сильного душевного волнения. Раз они его убили, значит, они опасались моего прихода. Я поймал себя на том, что все-таки предпочитаю множественное местоимение.

Она подвинула мне телефон локтем, не прерывая своего вязания, и я подумал, что движение воистину вечно и неистребимо.

Я сообщил дежурному полицейскому офицеру свое имя, назвал адрес, и он приказал подождать, пока не придет людей на место.

Я опустился в кресло, и на мгновение мне показалось, что я проваливаюсь к центру земли. Утомленные контактами с тысячами задов, пружины сдались. Как и весь отель, как и покойный Билли Иорти, они потеряли веру в будущее.

«Может быть, сказать полицейским, что старуха видела, кто приходил к Иорти? — подумал я. — Бессмысленно. Она не признается, а они особенно и настаивать не будут. Еще один труп. Трупом больше, трупом меньше — какое это имеет значение с точки зрения высшей полицейской философии?»

Моя покойная мать отличалась болезненной аккуратностью и глубоко страдала, если хоть какая-нибудь вещь лежала не на месте. Неукротимая страсть к порядку заставляла ее бесконечно прибирать, расставлять и переставлять все, что она могла сдвинуть с места. Она была молчаливой женщиной, и только когда она впадала в экстаз уборки, я замечал на ее лице слабую улыбку художника или человека, предающегося тайному и сладостному пороку.

Она стремилась на все надеть чехлы, все расставить в строго симметричном порядке. Мне до сих пор кажется, что мы с отцом должны были раздражать ее, поскольку были без чехлов и не всегда занимали отведенное место в нашей маленькой квартирке.

С тех пор как я себя помню, я всегда внутренне восставал против этого царства зачехленной симметрии, но потом, уже с того света, матушка все-таки добилась своего: и я тоже замечаю в себе инстинктивное стремление к четкости и симметрии. Как-то, рассматривая альбомы, куда я аккуратно и красиво подклеивал учебные дела, пактор Браун сказал: «Не хочу огорчать тебя, Дики, но боюсь, что тебе будет нелегко служить Первой Всеобщей помоним. Ты тяготеешь к порядку, мир же страстей всегда беспорядочен. Преступления — настоящий экстракт страстей».

Вот и сейчас, утонув в бездонном кресле в маленьком темном вестибюле паршивой гостиницы и ожидая нетерпеливого появления блюстителей закона, я подсознательно раскладывал и перекладывал по мысленным полочкам те немногие факты, коими я обладал. Фактов было мало, а полочек много. И главная до сих пор совершенно пустая: убили ли они Иорти, так сказать, в порядке перестраховки, с самого начала зная, что покойники, как правило, надежнее живых, или потому, что узнали о вознесенной молитве Кэрол Синтакис и моем расследовании?

Оба варианта были вполне правдоподобны. Уже дого-

вариваясь со стражником Седьмого ОП, чтобы он пропустил их без регистрации, а потом выпустил, не заглядывая в машину, они могли планировать его убийство. Торгуясь с человеком со стоптанными каблуками, они включали в цену и стоимость его жизни. Но могло быть и не так. Самим фактом своих розысков я мог напугать их и послать на Санрайз-стрит, в восьмую комнату на третьем этаже. Но где, как, в таком случае, я включил механизм? Ответа пока не было.

Впрочем, это была не единственная пустая полочка. Кому понадобился тихий, одинокий эмбриолог, всего два месяца тому назад вернувшийся из-за границы и живший затворником? Наверное, это были знакомые Синтакиса, раз он не оказывал никакого сопротивления, запер за собой дверь и даже погасил свет...

Чем больше я размышлял, тем тверже укреплялся в уверенности, что, если у меня и есть хоть один шанс из тысячи, мне нужно будет познакомиться с прошлым Мортимера Синтакиса. Легко сказать «познакомиться». Но как? Жизнь и работа его были надежно изолированы от меня. Ни адреса, ни названия фирмы или больницы, ни имен знакомых или коллег, ни рассказов сестре. В самом этом отсутствии информации было нечто противоестественное, что каким-то странным образом увязывалось с трупом на третьем этаже, с продавленным креслом, с яростной седой вязальщицей и испуганными глазами Кэрол Синтакис.

Глава 4

Выложив все двум полицейским, которые не пытались подавить зевоту и, казалось, готовы были заснуть рядом с бедным Иорти, я вышел на улицу. Моросил тончайший позднеоктябрьский дождик. Даже не дождик, а легкая водяная мгла, тонко блестящая в свете фонарей. Последние листья распластались на асфальте и на крышах стоящих машин, отчаянно цепляясь за уходящую осень. Было всего половина девятого вечера, но улицы давно обезлюдели, и лишь редкая машина с мокрым шипением проносилась мимо, отражаясь в жирно блестящей мостовой.

Здравый смысл подсказывал мне, что нужно возвра-

титься в общежитие, но я уже был охвачен лихорадкой. Я мог, разумеется, обманывать других, являя собой человека спокойного и рассудительного, каким и надлежит быть помону, но меня уже охватил нестерпимый зуд следователя.

Я уселся в свой «шеворд» и позвонил по радиотелефону Кэрол Синтакис. Голос ее вначале звучал нерешительно, но потом она сказала: «Приезжайте».

Встретила она меня уже не так, как накануне. Может быть, ее удивил мой вторичный такой поздний визит, может быть, давала себя знать реакция на происшедшее, но Кэрол была суше и сдержаннее. А может быть, они побывали и здесь? «Так, мол, и так, мисс Синтакис, последите за этим помонем, а потом расскажите нам. Главное — это его планы. Ах, вы не хотите? Но в таком случае...»

Я не стал делиться с ней своими предположениями, а попросил разрешения побыть в комнате брата.

— Скажите, вы что-нибудь трогали там? — спросил я ее.

— Нет, брат Дики.

— Умница, — кивнул я.

Комнатка была небольшой и столь же стандартно-безликая, как и ее исчезнувший хозяин. Письменный стол с книжной полкой над ним, диван, шкаф, два стула.

Первое впечатление было, что в этой комнате обитал бесплотный дух. Я подошел к книжной полке, скользнул по ней взглядом. Биология, еще биология, эмбриология, иммунитет, снова эмбриология — все книги солидные, старомодные уже самой своей толщиной, твердыми переплетами. Такой же толстый томик справочника «Кто есть кто». Полка как полка, книги как книги. Ни одной художественной книги, чтобы хоть как-то можно было судить о вкусах хозяина. Не выведешь ведь заключения о характере человека на основании «Курса общей эмбриологии. Ф. Дж. Снорта и С. Палевски. Сан-Франциско. 1981 год». Я еще раз обвел глазами полку и с сожалением должен был признаться себе, что она меня разочаровала. В глубине души я надеялся, более того, я был уверен, что по книгам найду хоть указание, в какой стране работал Мортимер Синтакис.

В ящиках стола была всяческая дребедень. Две пачки трубочного табака, три трубки, одна из них со сломан-

ным мундштуком, старые шариковые ручки, расческа, электробритва «Шик» с лопнувшим корпусом, девственно-чистая записная книжка, стопка «Спортивного обозрения» за последние две недели, десятка полтора газетных разворотов с объявлениями о продаже недвижимости, еще какая-то газета отдельно. И все. Ни письма, ни конверта, ни адреса — ничего.

Я открыл шкаф. Пальто, два костюма. Вещи готовые, не сшитые по заказу, этикетки местных магазинов.

Я сел на диван и сказал себе, что этого не может быть. Комната не может быть столь противоестественно пуста. Да, разумеется, понятие индивидуальности в наш век стандартизации — понятие довольно старомодное. О какой индивидуальности можно говорить, если телевидение и реклама заполняют наши головы и сердца самым стандартным содержимым... И все-таки комната Синтакиса была странно стандартна даже по нынешним меркам. Это что-то значило. Просто я не умею понять. Не думаю. Я закрыл глаза. Мне не хотелось погружаться сейчас, ибо я испытывал недовольство собой, всем ходом расследования, я чувствовал некий умственный зуд оттого, что не мог проникнуть в герметический футляр анонимности и безликости комнаты Мортимера Синтакиса. Поверьте, это не лучшее состояние духа для погружения. Разумеется, усилием воли я мог бы стряхнуть с себя на время и эту комнату, и самого Синтакиса, и все с ним связанное. Но потом все равно нужно будет возвращаться к нему. А такое зудящее раздражение, как я знал по опыту, — самое подходящее состояние для работы. Важно лишь спокойно посидеть, стараясь ни о чем не думать, и дать возможность мыслям, наблюдениям, ощущениям и догадкам окрепнуть и заявить о своем существовании. «Хорошо тренированные мозги, — говорил пактор Браун, — любят работать, когда их хозяин об этом не знает». Ну, мол, дорогие полушария, за дело. Я вам не мешаю и готов даже подремать чуть-чуть...

Но дремать я не стал. Вместо этого я еще раз подошел к книжной полке и вдруг понял, что подсознательно я уже много раз возвращался к ней, ибо что-то на ней было странным. Но что именно? Научные книги... Я уже знал наизусть все их названия. Не то. Справочник «Кто есть кто». Нет, дело не в названии. Ну, еще раз... Есть ведь, есть какое-то несоответствие...

Я рассмеялся. Отцы-программисты, как я иногда не замечаю простейших вещей. Справочники «Кто есть кто» делятся на выпуски, посвященные науке, деловой жизни, политике, искусству и так далее. Справочник, стоявший на полке у Синтакиса, был посвящен деловой жизни. Я вытащил его. Сколь же разнообразна и обильна наша деловая жизнь... Но зачем безликой человеческой молекуле Мортимеру Синтакису такой справочник? Такой новенький справочник... Поймав иногда какой-нибудь фактик, я исследую его, не торопясь, играю с ним, словно кошка с мышкой. Я перевернул титульный лист. Мелким шрифтом было напечатано: «27-е издание, 1987 год».

Значит, мистер Синтакис купил справочник, выложив за него не менее десяти — пятнадцати НД, уже после возвращения, совсем недавно... И эти газетные страницы с объявлениями о продаже недвижимости. Допустим, Мортимер Синтакис хотел купить себе дом. Или ферму. У него есть какие-то деньги, заработанные за время работы за границей. Вполне логично, что он начинает почитывать объявления. В таких вещах не торопятся. Может быть, что-нибудь он уже присмотрел себе, может быть, он подчеркнул какой-нибудь адрес? Может быть, здесь найдется ниточка?

Отцы-программисты, что только не продается у нас! Большие дома и крошечные загородные коттеджики, фермы, которые впору объезжать на машине, и городские квартирки, достойные нашего века миниатюризации, о которых даже объявления стыдливо говорят: «компактные». И ни одной пометки, сделанной Мортимером Синтакисом, ни одного расплывшегося пятна от капавшей слюны или слез.

«Спортивным обозрением» я пренебрег. Если выяснится, что Мортимер Синтакис хотел купить себе бейсбольную команду, я сниму с себя желтую одежду.

Оставался еще один газетный лист. Двадцатого октября восемьдесят седьмого года. За пять дней до исчезновения. Страница из раздела «Деловая жизнь и финансы». Длинная статья под названием «Приемлемый уровень инфляции». Биржевой курс. Валютный курс. Фото какого-то молодого кретина у своей машины. «Генри Клевинджер, владелец целого конгломерата различных компаний, считает, что...» Бог с ним, с Генри Клевинджером, с его конгломератом и с тем, что он считает.

Вот, собственно, и все, что было на газетном листе, если не считать дурацкой рекламы новых матрацев на воздушной подушке и прочей чепухи.

Ну хорошо, брат Дики, займемся классификацией. Мортимер Синтакис присматривает себе недвижимость. Будем считать этот факт установленным. Он откладывает газетные полосы с объявлениями. Кроме того, он покупает «Кто есть кто». Для чего? Чтобы вдохновиться славными примерами достойных капитанов бизнеса и финансов? Для этой цели справочник не годится. Пять, десять, пятнадцать строк: родился, учился, женился, владеет, живет.

И еще лист со статьей об инфляции и портретом мистера Генри Клевинджера, который что-то считает. Я еще раз вытащил справочник и нашел имя Генри Клевинджера:

«Генри Калед Клевинджер. Финансист и промышленник. Р. 1920. О. Арчибальд Клевинджер, известный финансист. У. 1945 г. М. Памелла Клевинджер, урожд. Фриш. У. 1969. 1942—452 лейтенант. П. С.: Гарвард, Экон. школа Лондонск. у-та. Женат на Клод Клевинджер, урожд. Бергер. Дети: Дейзи, р. 1952 г. и Оскар, р. 1967 г. Влад. «Клевинджер тул», «Клевинджер рэпид транзит с-м» и др. Резиденция: Хиллтоп».

Последнее слово было подчеркнуто. Не типографским способом, а карандашом. Первый след Мортимера Синтакиса. Первый, а может быть, и последний след в этой жизни.

Я еще раз прочел волнующую жизненную эпопею мистера Генри Калеба Клевинджера. Или газетный снимок сделал его лет на тридцать моложе, или ошибался «Кто есть кто». Человеку на фото можно было дать от силы лет сорок, а по справочнику ему шестьдесят семь. Ну, да бог с ним, может быть, ему просто идет на пользу владеть «Клевинджер тул» и «Клевинджер рэпид транзит с-м». Завтра я все это увижу сам. Почему-то ведь Мортимер Синтакис интересовался адресом Клевинджера. Причем, по всей видимости, сначала он увидел его фото в газете, а потом уже купил справочник. Посмотрим, посмотрим. Как говорил пактор Браун: «Умозаключения часто оказываются очень непрочными. Но зато ведь их и выводить нетрудно».

Против всех моих ожиданий, добиться аудиенции у мистера Клевинджера оказалось совсем просто. Достаточно было одного телефонного звонка. В три часа я уже подъехал к его дому-крепости на Хиллтопе. Не успел я вылезти из машины, как ко мне подошел человек, поклонился и сказал:

— Мистер Клевинджер ждет вас, мистер Дики.

Меня провели в приятную комнату, представляющую нечто среднее между кабинетом и гостиной. Из кресла поднялся человек с газетной фотографии — ему действительно было не более сорока, хотя его виски элегантно серебрились — и протянул мне руку. Ладонью вверх. Жестом подношения и жестом просьбы. Я ответил ему тем же. Приятно все-таки, когда встречаешь брата по Священному Алгоритму.

— Чем могу служить, брат Дики? — спросил он.

— Боюсь, в двух словах я вам объяснить не смогу...

— Пожалуйста, я к вашим услугам. Устраивайтесь поудобнее. Что-нибудь выпить?

— Только тонисок.

— Прекрасно.

Он нажал кнопку переносного пульта, и почти тотчас же человек, встретивший меня на улице, вошел в комнату и поставил передо мной высокий запотевший стакан тонисока.

Мне начинало казаться, что все в этом доме происходит чуточку быстрее, чем в обычном мире. Зато сам хозяин стареет значительно медленнее. Глаза у него, впрочем, были не слишком молодые: умные, решительные, слегка усталые. Но очень загорелая кожа была упругой и гладкой.

«Очень загорелая кожа, очень загорелая...» Эти слова должны были что-то значить, потому что мое подсознание подставило им подножку, и они, проносясь, зацепились и барахтались сейчас у меня в голове. Ладно, брат Дики, вспомнишь позже. Побродишь среди ассоциаций и дойдешь до истинного значения загара. Я сделал несколько глотков тонисока и спросил хозяина:

— Вы знаете Мортимера Синтакиса?

— Да.

Я, признаться, не ожидал такого ответа и, чтобы вы-

играть несколько секунд, снова поднес стакан с тонисоком ко рту.

— Вы не знаете, что с ним случилось?

— Знаю.

К своему удивлению, я почувствовал, что безумно хочу спать и с трудом сдерживаю зевоту. Наверное, реакция на возбуждение, связанное с расследованием. Защитный механизм.

— Так что же, мистер Клевинджер?

— Думаю, что он еще жив, но вряд ли это надолго.

Он тонко усмехнулся, и глаза его ледяно блеснули. Мне пришлось выхватить из кармана платок и сделать вид, что я вытираю нос, чтобы хоть как-то скрыть неудержимую зевоту. Я знал, что мне следовало бы по меньшей мере удивиться тому, что говорит Клевинджер, я помнил слова «следовало бы... удивиться», но они странно отделились от чувств и медленно проплывали в моей голове пустой шелухой. Мне нужно было понять, что говорит человек напротив меня, но сделать это было невозможно. Я знал, что засыпаю. Занавес сознания медленно и неотвратно задвигался, и я не мог его остановить. Я хотел что-то подумать, но уже не мог и этого. И сдался. Последним моим ощущением было прикосновение чего-то прохладного и гладкого к щеке.

Видения были замедленными и цветными. Отец принимал свое лекарство и нес порошок ко рту долго-долго, еще дольше глотал его и затем целую вечность мучительно морщился. И все в нашей комнате морщилось, съеживалось, теряло четкие очертания. Я видел себя со стороны. Я был желтовато-зеленого цвета, как кожа на висках у отца, крошечного роста, и тело мое было неясно, размыто, неопределенно. В комнату по воздуху неторопливым дирижаблем вплыла мать. Она была загорелой и в руках сжимала белые длинные чехлы, и чехлы красиво оттеняли ее загар. Наверное, для отца и для меня. Мне было страшно, я не хотел, чтобы на меня надевали чехол, я пытался закричать, но весь мой сон вдруг как бы свернулся, сжался, превратился в тонкую яркую иглу и больно уколол меня...

Пактор Браун проводил мне по щеке чем-то бесконечно гладким и мягким, и тянущая истома теплой вол-

ной разливалась по телу, отдавалась прибором в далеких и чужих ногах...

Я плыл. Волны ритмично подбрасывали меня, и мне ничего не было нужно. Может быть, подумал я, это и есть счастье — когда тебе ничего не нужно... И поразился своей мудрости.

На мгновение занавес сознания разошелся, и в щель я увидел почти у самой моей головы кусок брезента. Я пытался заглянуть в щель получше, но занавес мягко закрылся...

Отец, пятясь, уходил от меня и таял в желтоватой дымке, и я знал, что он никогда не вернется, и мир казался мне чудовищно огромным, сложным, чужим. Мне было бесконечно жаль отца. И еще больше себя, потому что чем дальше и безвозвратнее отступал он от меня, тем неумолимее надвигался на меня враждебный мир. Я боялся его. Я не хотел в нем быть. Я висел над какой-то пропастью, уцепившись за край, и пальцы мои медленно разжимались, и пактор Браун улыбался мне, и я вдруг ощущал под ногами твердую опору и уже больше не боялся грохота мира и провала под собой.

И опять занавес слегка колыхнулся, впустив рев и грохот. Я сидел в кресле, и кресло медленно поворачивалось. А может быть, поворачивалось круглое окошко-иллюминатор, и по нему не сверху, а горизонтально струились маленькие ручейки. Грохот усилился, что-то плавно и сильно толкнуло меня в спину, и занавес снова закрылся...

Я просыпался так же медленно, как медленно разворачивались мои видения. Я знал лишь, что просыпаюсь, ибо уже отдавал себе отчет в нереальности образов, владевших моим сознанием. А раз они нереальны, химеричны и тем не менее я их вижу, значит, я еще сплю. И стоило мне окончательно осознать, что сплю, как я сразу же проснулся. Явь поднялась откуда-то из меня, открыла веки.

Я лежал на кровати в небольшой комнатке. Под толчком горела тусклая лампочка. Рядом с кроватью стоял столик. Стакан с водой. Вид стакана заставил меня почувствовать и сухой распухший язык во рту, и сухость в голове, и дрожь тошноты в пищеводе. Я потянулся

за водой. В поле зрения показалась моя рука в незнакомой красной пижаме. Я почему-то испытывал страх перед стаканом, и вместе с тем пульсировавшая тошнота заставляла меня поднести его ко рту. Вода была прохладной, и тошнота отступила. Мне почудилось, что вот-вот я пойму, почему боялся стакана... Стакан с тонисоком. Наваливающаяся сонливость. Лицо Клевинджера. «Думаю, что он еще жив, но вряд ли это надолго».

На мгновение я испытал слепой ужас животного, попавшего в капкан. Я даже почувствовал, что вот-вот завою. Мышцы напряглись, сердце гулко застучало. Мне хотелось вскочить, вырваться, бежать подальше от западни, от неизвестности, несшей в себе угрозу. Я с трудом взял себя в руки.

«Дин Дики,— сказал я себе мысленно,— самое страшное, что с тобой может случиться — ты умрешь. Это, безусловно, неприятная процедура, но не бойся, что у тебя не получится. Получалось же у других».

Я немного успокоился и начал собирать разбежавшееся стадо моих мыслей. После, когда я окончательно приду в себя, надо будет погрузиться, а сейчас главное — взять себя в руки.

Меня, очевидно, напоили сильным снотворным. Генри Клевинджер. Человек с загорелой кожей. Наполовину моложе своих шестидесяти семи лет. Брат по Первой Всеобщей... Или его протянутая кверху ладонью рука должна была лишь усыпить мою бдительность? Они действительно похитили Синтакиса. «Думаю, что он еще жив, но вряд ли это надолго».

Я опустил ноги на пол и встал. Голова немного кружилась, и нижняя часть скелета все еще была сделана из ваты, но я уже мог держаться на ногах. Ни единого звука не проникало в комнату. Я осмотрел стены — они были покрыты толстой мягкой изоляцией, поглощавшей шум. Но удивительнее всего было то, что в комнате не было окна. Ни большого, ни маленького. Дверь была обшита такой же изоляцией, что и стены, и я с трудом отыскал ее. Ручки на ней не было.

«Если ты очутишься в трудной ситуации,— говорил пактор Браун,— будь благодарен судьбе, что она послала тебе интересную задачу».

Задача, конечно, была интересной. Слишком интересной. Я бы даже сказал — слишком увлекательной.

Я еще раз обошел комнату. Ни одного предмета, на котором можно было бы остановить внимание. Кровать, столик, унитаз. И все.

Во всем этом была некая нелепость. Продолжение безликой комнаты Синтакиса. Убитого человека, которому уже безразлично, стоптаны ли у него каблуки. Старика с молодым загорелым лицом. Неукротимой зевоты. Что за сурдокамера? Почему, зачем? А может быть, обивка вовсе не для того, чтобы поглощать звуки, а чтобы я не разбил себе о стены голову? Может быть, я сошел с ума? Да, но отсутствие окна...

Должно быть, я не пришел в себя как следует, а может быть, снотворное все еще бродило во мне, но мне вдруг снова захотелось лечь. И в это время погас свет. Темнота в комнате была какая-то особенная, редкостной плотности и густоты. У меня было ощущение, что ее нужно разгребать руками, чтобы добраться до кровати. Маленькими шажками, сомнамбулически вытянув руки, я шел к кровати, пока, наконец, не ощутил ее коленями. Я упал на нее и тут же заснул.

Я не знаю, сколько я проспал, но когда я открыл глаза, свет уже снова горел и на столике стоял завтрак: яйца с беконом, стакан тонисока и огромная чашка кофе. Я почувствовал голод. И обрадовался. Первое привычное и нормальное ощущение с момента провала в памяти. Интересно, сумасшедшие испытывают чувство голода? Наверняка, Дин Дики, сказал я себе. То, что ты уплетаешь завтрак — еще не основание для того, чтобы чувствовать себя нормальным. И все-таки то, что я откусывал, жевал и глотал, уже как-то возвращало меня к миру более реальному.

Интересно, подумал я, как они убирают посуду и доставляют еду? И словно в ответ послышалось легкое жужжание электромотора, столик около моей кровати дрогнул и стал опускаться. Как только он опустился, оттянутые вниз створки пола со щелчком встали на свое место.

Я не знал, сколько времени они продержали меня на снотворном, и от мысли, что я мог провести без погружения несколько дней, мне стало не по себе. «Как же, однако, я сразу не догадался?» — подумал я и провел

ладонью по щекам. По длине щетины можно было, я надеялся, определить, сколько дней я не брился. Но кожа была гладкой, хотя и чуть-чуть непривычной на ощупь. Этого не могло быть. То, что прошли как минимум сутки, я готов был поручиться. Почему же на щеках нет щетины? Неужели меня побрили? Или намазали лицо дрянью, которой пользуются для сведения волос... Но для чего? Не для элегантности же, особенно в этом мягком беззвучном мешке... А может быть, именно для того, чтобы я не мог ощущать течение времени при помощи бороды. Но для чего? Что за странная цель?

Я начал медленно отключаться от внешнего мира — не слишком трудное дело в этой дыре — и одновременно погружаться в гармонию. На этот раз я почти сразу соизмерил себя с миром, найдя точку гармонии. Я ждал тока кармы, как умиравший от жажды — влагу, и когда она пронизала меня, промыла, и каждая клеточка моего тела закричала первозданной чистотой, я снова почувствовал себя растворенным в нашей Первой Всеобщей Научной Церкви.

Во время этого погружения я не хотел заниматься ритуальными сомнениями, ибо слишком жадно мой дух сегодня стремился слиться со Священным Алгоритмом, чтобы сомнения могли возникнуть свободно и непринужденно. «Только то сомнение конструктивно, — учил нас пактор Браун, — в котором ты не сомневаешься».

Я прекратил погружение и медленно всплывал к поверхности реального бытия, когда снова послышалось легкое жужжание, щелкнули оттянутые вниз створки люка, и в образовавшемся отверстии показался столик. Теперь на нем было больше блюд. Обед, должно быть, подумал я, хотя голода совершенно не испытывал. Мне казалось, что с момента завтрака прошел час или полтора, не больше. Но, с другой стороны, трудно сохранить ощущение времени, когда чувствам не на что опереться, не за что уцепиться, когда теряется всякая масштабность. Даже растения, помещенные в комнату с постоянным освещением, начинают страдать расстройством своих биологических часов.

Ужин тоже появился намного раньше, чем я его ожидал. Зато ночь — ночью я называл период, когда лампочка была выключена — тянулась бесконечно. Я проснулся в густой темноте моей таинственной мягкой клетке и по-

чувствовал, что больше не засну. «А что,— пришла мне в голову мысль,— если считать все время себе пульс. Семьдесят ударов — минута. Четыре тысячи триста — час. И на третьем часу сойти с ума...»

Теперь мне уже было ясно, что непосредственной угрозы для жизни не было. Если человека хотят прикончить и для этого есть все необходимое, вряд ли его будут специально выдерживать в некоей сурдокамере.

«Но какой во всем этом смысл? — в тысячный раз спрашивал я себя.— Для того, чтобы не дать мне возможности вести поиски Мортимера Синтакиса, у людей, которые его похитили, было множество возможностей. Начиная хотя бы с самой простой: Генри Клевинджер мог преспокойно отказываться от какого-либо знакомства с Синтакисом...

Я крутился на кровати так и эдак, пытаюсь снова заснуть, но сон бежал от меня. Простыня и подушка раскалились, тело устало, и чем судорожнее я сжимал веки, тем яснее мне становилось, что борьба бессмысленна. Похоже было, что я уже не засну никогда.

Глава 6

В последующие дни — были это часы, дни или недели? — ничего не менялось. Иногда обед следовал за завтраком почти сразу — так, во всяком случае, мне казалось; иногда ужин отдалялся от обеда так, что я испытывал муки голода. Иногда не успевал я закрыть глаза в беззвучном мраке моей клетки, как вспыхивал свет под потолком и начинался новый день. Иногда ночи тянулись бесконечно, и мне начинало казаться, что мрак будет всегда, что я уже давно не живу, что я умер. Все мои чувства — страх, отчаяние, ощущение нелепой безнадежности — стали какими-то вялыми, нечеткими, ослабленными. Странная апатия охватывала меня. Иногда я ловил себя на том, что не сплю и не думаю. Мозг, полностью лишенный внешних раздражителей, пожирал сам себя.

Погружения, которые так поддерживали меня в первое время, становились все более трудными, пока однажды я почувствовал, что больше не могу достичь гармонии и карма больше не омывала меня.

Я не возносил молитвы, потому что можно вознести молитву, зная, что она будет услышана Машиной, а кому я мог молиться здесь? Да и сама мысль о Первой Всеобщей все реже приходила мне в голову. Чтобы верить, надо, как минимум, хотеть верить, а мне уже ничего не хотелось.

Я ловил себя иногда на том, что без устали повторяю какое-нибудь слово, например, «верить». И слышу только звуки. Бессмысленные звуки. Слово умирало. В шелухе одежек смысла не оказывалось.

Я стал впадать в забытие, забывая где я и кто я. Я пробовал произносить слова вслух. Я говорил: «Я — полицейский монах Дин Дики». Но звуки были странными. Они почти ничего не значили. «По-ли-цей-ский» — звуки, шум. Как слово «верить». И все. Что такое Дин Дики? Что это значит? Я отвечал себе: я. Но что такое «я»? Почему «я» — это я? Почему «он» — не я? Почему я не он, она, оно?

Во все более редкие минуты, когда я мог ясно мыслить, я понимал, что медленно схожу с ума, что рвутся одна за другой непрочные ниточки, которыми пришито наше «я» к телу и к миру. Я предвидел уже момент, когда с легким шорохом лопнет последняя такая ниточка, и чудо из чудес, неповторимое чудо природы под названием Дин Дики, перестанет существовать. Тело, которое будет чавкать и жрать, хныкать и храпеть, спать и испражняться, может быть, и останется, но Дина Дики не будет. Тело будет оно. Не я. Оно. Не я: Я?

И самым страшным было то, что я этого больше почти не боялся. Не было мгновенной сосущей пустоты в груди, дуновения холодного ничего. Было тупое равнодушное уходящее сознание.

Но мне не было суждено сойти с ума. По крайней мере в тот раз. Как-то я проснулся и привычно лежал, не раскрывая глаз, в полудремоте, как вдруг почувствовал, что что-то изменилось. Сквозь закрытые веки я угадывал давно забытые ощущения яркого света. Сердце у меня забилося. Медленно, бесконечно медленно, как картежник открывает последнюю карту, на которую поставлено все, я начал открывать глаза. Сначала маленькая щелочка, совсем крохотная щелочка. Ну! И вдруг я почувствовал, что не могу приоткрыть глаза. Мне было страшно. Я несколько раз глубоко вздохнул. Я почти забыл, что

такое страшно, и теперь приходилось заново знакомиться с этим чувством.

Наконец я заставил себя открыть глаза. Я открыл их и тут же почувствовал острую резь. Но прежде, чем я зажмурился, я понял, что комната полна живым, трепещущим светом дня. Нет, сказал я себе, этого не может быть. Это уже последние галлюцинации, судорожные спазмы памяти, выбрасывавшей из себя остатки прежних впечатлений, чтобы погрузиться в пучину. Бульканье последних пузырьков из затонувшей лодки.

Я снова приоткрыл глаза. Я был уже в другой комнате — комнате с окном. Должно быть, меня перенесли сюда во время сна. Окно было плотно закрыто занавеской. Если бы не она, мои глаза, наверное, не выдержали бы.

Я лежал на кровати и думал, что удивительное все-таки существо человек. Вот я сейчас медленно возвращаюсь к жизни, отходя на несколько шагов от пропасти безумия, и не чувствую острой, взрывающей все радости, безудержного восторга живой ткани, которой даруют жизнь. Может быть, я так долго стоял на краю обрыва, готовясь к падению, что частица моей души уже была там, в пропасти?

И все же я знал, что медленно отхожу от обрыва, потому что окно все больше завладевало моим сознанием. Кто бы ни были мои тюремщики, они решили не дать мне погибнуть.

Откинуть рукой одеяло, опустить ноги на пол, сделать четыре или пять шагов к окну, протянуть руку и раздвинуть занавеску — что может быть проще? Но поверьте, это было не просто.

И все-таки я решился. Глаза мои уже привыкли к свету и тем не менее я автоматически зажмурился, протянув руку к занавеске и раздвигая ее. И хорошо сделал. Даже сквозь плотно сжатые веки я ощутил упругий удар света, почти невыносимый в его силе толчок.

И снова бесконечно долго и боязливо я разжимал веки. И как только образовалась микроскопическая щелочка, в нее разом хлынула необыкновенная синь, такая густая и такая яркая, что я забыл обо всем на свете и долго стоял, впитывая в себя эту живительную синеву неба, как во время подзарядки впитывает энергию севший аккумулятор.

За синевой я увидел зелень. Густо насыщенную зе-

лень растительности. Я еще не различал детали, но зелень потрясла меня прежде всего своей бурной зеленью, всей гаммой оттенков, от нежно-салатового до почти черного.

Я не верил своим глазам. Такого изобилия цвета быть не могло. Или я отвык от этого спектра в своей камере, или я попросту галлюцинировал.

Инстинктивно я открыл окно и тут же получил еще один удар по атрофировавшимся чувствам. Наружный воздух окутал меня горячей и влажной волной, настоящим неведомых запахов.

Теперь я уже мог различать какие-то детали. Окно второго этажа выходило на зеленую лужайку, окаймленную густым кустарником и неведомыми мне растениями. Я не успел рассмотреть их, потому что на лужайке появилось несколько человек. Я высунулся из окна и привлек, должно быть, их внимание, потому что они подошли поближе к зданию, задрали головы и молча уставились на меня. Они были одеты совершенно одинаково: в легкие куртки и шорты цвета хаки, и я не сразу определил, что двое из них были женщины — вернее, девочка лет пятнадцати и женщина постарше, и трое мужчин. Они стояли неподвижно, не обмениваясь ни словом, и в этой неподвижности было нечто противоестественное. Но самое удивительное было не это. Все трое мужчин, лет двадцати, тридцати и сорока, были как две капли воды похожи друг на друга. Я моргнул несколько раз. Двойники не исчезали. Они были фантастически похожи друг на друга, невозможно похожи; похожи так, как походить нельзя, как не походят даже близнецы. Они просто не могли существовать. Неужели у меня снова начиналась галлюцинация?

— Эй! — крикнул я им, и вся группка пугливо разбежалась, словно стайка детишек при виде какого-нибудь чудовища.

Это было чересчур жестоко. Только что у меня зародилась надежда, что я сумею остановиться в шаге от безумия, как снова перед глазами у меня встали химеры, еще одно порождение распадающегося сознания. Я закрыл лицо руками и бросился на кровать. Я хотел бы заплакать, но не мог. Я прижал лицо к подушке и вдруг услышал первый звук за долгое время. Я вскочил. В проеме открытой двери стоял загорелый человек лет

тридцати с небольшим и с легкой улыбкой смотрел на меня.

— Позвольте вам представиться, мистер Дики. Меня зовут Джеймс Грейсон, но обычно большинство ко мне обращается просто «доктор».

Я вскочил с кровати, не в силах вымолвить ни слова. Все во мне одеревенело, словно мне сделали анестезирующий укол. Я сдался. Я не мог больше ни радоваться, ни печалиться, ни удивляться. Я просто смотрел на доктора Грейсона.

— Садитесь, мой друг,— ласково продолжал доктор, пристально глядя мне в глаза.— Я понимаю, что вам нелегко возвращаться к нормальной жизни, но все будет хорошо.

Он протянул руку и слегка коснулся пальцами моего лба. И от этого жеста, от всего, что со мной произошло, со дна моей души поднялась горячая волна благодарности к этому человеку. Мне вдруг страстно захотелось схватить его руку и прижаться к ней губами, смотреть и смотреть в его участливые карие глаза. В его присутствии все мои недавние страхи безумия вдруг рассеялись, потеряли реальность, унеслись назад, чтобы больше не возвращаться.

— Как вы себя чувствуете? — спросил доктор.

— О, теперь прекрасно! — с неожиданным для меня самого жаром ответил я и почувствовал, что если бы я даже умирал сейчас, я бы все равно не захотел огорчить этого человека.

— Надеюсь, вы простите меня за слегка покровительственный тон,— сказал доктор,— но все-таки я ведь старше вас.— Должно быть, он заметил мой недоверчивый взгляд, потому что добавил: — И не на год или два. Я старше вас, мистер Дики, на двадцать один год. Вам, если я не ошибаюсь, тридцать шесть, а мне в мае исполнилось пятьдесят семь.

В обычное время я бы, скорей всего, рассмеялся. Если этому человеку пятьдесят семь, мне вполне могло бы быть, скажем, сто пятьдесят. Или даже двести пятьдесят. Но, с другой стороны, я не мог и не хотел подвергать сомнению хоть одно слово доктора Грейсона.

— Я хотел бы, чтобы вы извинили меня за некоторое неудобство, что мы вам причинили. Разумеется, пробыть в сурдокамере с ломаным ритмом почти месяц...

«Почти месяц...» — эхом отозвалось у меня в голове.

— ...не очень-то приятная штука, но поверьте, это было необходимо.

И я поверил! Я не хотел сомневаться в словах доктора Грейсона. Возможно, какой-то крохотный участок моего мозга и отметил странность его слов, но я не мог, не хотел спорить с человеком, который воплощал собою спасение от безумия, от небытия. Да и действительно, какое значение имело, сколько и зачем я пробыл в темной сурдокамере, если все это осталось где-то в далеком уже прошлом.

— Надеюсь, мы будем друзьями... — улыбнулся доктор Грейсон.

— Конечно, доктор! — расплылся я в широчайшей улыбке от переполнявшего меня чувства, в котором смешались и благодарность, и горячая любовь, и просто щенячий восторг от прикосновения хозяйской руки. От присутствия хозяина.

— Ну и прекрасно... А вы догадываетесь, где вы находитесь?

— Нет, — покачал я головой. Отцы-программисты, какое это имело значение, если можно было разговаривать с доктором Грейсоном!

Доктор испытующе посмотрел на меня и удовлетворенно кивнул. «Должно быть, я ответил хорошо, не огорчил его», — подумал я. И опять какой-то контролер в моей голове попытался было сдержать напор этих восторженно-собачьих чувств и слов, но оказался слишком слаб. «Это не ты, — пищал он. — Это не Дин Дики. Ты не можешь ложиться на спину и размахивать лапками перед человеком, который месяц держал тебя в одиночном заточении».

Но я не слушал эти слова. Они казались мне бесконечно малозначащими. Комариный писк в захлестнувшем меня благодарственном хорале.

— Ну, дорогой Дики, выгляньте еще раз в окно. Пока оно было закрыто, работал кондиционер. Сейчас он выключен. Какие вы можете сделать выводы на основании температуры и ландшафта?

— По-моему, здесь очень тепло и влажно, — неуверенно сказал я и обернулся к доктору Грейсону, стараясь по его выражению догадаться, правильно ли я ответил. Мне казалось, что ошибка может расстроить доктора,

и сама мысль о такой возможности наполнила меня ужасом.

— Верно, верно.— Он подбодрил меня кивком головы, и я уже смелее продолжал:

— Скорей всего, мы где-то в тропиках. Я определяю это и по влажной жаре и по вашему загару.

Я сказал «загар» просто потому, что лицо доктора Грейсона и его руки были покрыты густым коричневатым загаром. Но как только я произнес слово «загар», я вспомнил, что такой же загар был у Генри Клевинджера. О загаре говорила и Кэрол Синтакис. Мне очень хотелось показать доктору Грейсону, что я достоин его дружбы, поэтому я с гордостью сказал:

— Ваш загар напоминает мне загар некоего Генри Клевинджера, в доме которого я... я был. И о таком же, наверное, густом загаре упоминала сестра Мортимера Синтакиса, которого я искал. Я, знаете, помню Первой Всеобщей Научной Церкви... (Доктор Грейсон кивнул головой, показывая, что он знает, кто я, и продолжал доброжелательно и внимательно слушать.) Вот я и подумал: а может быть, и Генри Клевинджер и Мортимер Синтакис как-то связаны с этим местом? И потом, еще одно обстоятельство, которое мне пришло в голову: и вы, доктор Грейсон, и мистер Клевинджер выглядите немало моложе своих лет. Может быть, и это не простое совпадение?

— Прекрасно, мистер Дики, я рад, что не ошибся в вас. Все, что вы сказали, именно так. Во всем этом есть связь, и вы очень скоро узнаете, какая именно.

Глава 7

Изабелла быстро прошла по протоптанной тропинке и остановилась на их обычном месте, у высоких колючих корней пальмы пашиубу. Нервы ее были напряжены, и крик пролетевшего невдалеке попугая заставил ее вздрогнуть. Послышались легкие шаги, и она увидела Лопо. Он шел легко и быстро, как ходил всегда, и походка его была преисполнена неосознанного изящества. Он увидел ее и радостно улыбнулся.

— Ты уже ждешь меня, покровительница?

Она не смогла ответить ему, потому что горло ее сжа-

ла спазма, лицо сморщилось. Она судорожно попыталась проглотить комок в горле, но он словно прилип — никак не хотел уходить. Из глаз медленно выкатилось несколько слезинок.

— Лопо, Лопо мой! — шептала она, поглаживая его светло-каштановые волосы.

— Почему ты плачешь, покровительница? — спросил юноша. — Тебя кто-нибудь обидел?

— Нет, Лопо, никто меня не обидел.

— Тогда почему же ты плачешь?

— Так просто, мой мальчик.

— Так просто не плачут. Ты не хочешь мне сказать, покровительница? Может быть, ты думаешь, мне не хватит слов, чтобы понять тебя? Я все время слушаю, как говорят люди. Со слепками мне не интересно. С ними и не поговоришь. А люди — другое дело. Многого я не понимаю, но стараюсь понять.

— Надеюсь, ты никого ни о чем не спрашиваешь? — привычно испугалась Изабелла и тут же с ужасом осознала, что скоро уже не нужно будет бояться какого-нибудь неосторожного шага Лопухого-первого, ее Лопо.

— Нет, покровительница. Я всегда помню, что ты мне говорила. Я только никогда не мог понять, почему мне нельзя расспрашивать людей. Ты учила меня, что это табу, это нельзя, и я слушался тебя, ведь ты меня любишь... И еще я слышал слово, сейчас попробую, а ты скажешь, правильно ли я его употребил. Ты меня боготворишь.

Изабелла обхватила руками сильную шею юноши, притянула к себе его голову и прижалась губами к волосам, источавшим легкий горьковатый запах. Комок в горле все не проходил, а сердце так сжалось, что казалось, еще мгновение — и оно превратится в совсем крохотную точку и затихнет навсегда. Господи, какое же это было счастье... Вся жизнь ее, все сорок пять бессмысленных лет, сосредоточились для Изабеллы Джервоне в молодом человеке, стоявшем с горделивой улыбкой на губах перед ней. Боготворишь... Господи, да если бы она могла по кусочкам отдать свое тело за него... Но оно никому не было нужно... «Все-таки я эгоистка, — подумала она, — зачем же я отравляю малышу настроение... Ведь так немного ему осталось».

— Правильно, малыш, ты у меня уже говоришь со-

всем как человек,— сказала Изабелла с гордостью.— Но будь, ради бога, осторожнее. И с людьми, и со слепками.

— Опять ты за свое, покровительница. Куда уж мне быть осторожнее? Людей я боюсь, а слепки...— Он пожал плечами.— Когда с ними пытаешься говорить, это все равно как...— юноша на мгновение задумался, подыскивая сравнение,— как с попугаем байтака. Нет, с попугаем разговаривать интереснее. Глаза у него живые, любопытные. Иногда мне кажется, что звери и птицы хотели бы нас понять, да просто не научены с детства. У них ведь не было такой покровительницы, как у меня... Нет, с байтака интереснее, чем со слепками. Их ведь ничего не интересует...

— Ты все-таки пытаешься учить их? — быстро спросила Изабелла и нахмурилась.

Лопухий-первый смущенно пожал плечами.

— Нет,— не слишком уверенно ответил он и добавил, чувствуя, что покровительница не верит ему: — Разве что Заюку...

— Ты любишь ее?

— Не знаю, покровительница... Не так, как тебя. Я не умею объяснить...

Изабелла поймала себя на том, что совсем забыла о страшном известии, которым с ней поделился утром доктор Салливан. Боже правый и милосердный! Как он сказал, что Лопухий-первый намечен, так она сразу и обмерла внутри... Сразу все одеревенело, словно уже не живая плоть была у нее в груди, а что-то твердое и бесчувственное. Она захотела закричать, спросить, когда, броситься на колени, сказать, что есть ведь и Лопухий-второй, но ничего этого она не сделала. Кто ее послушает? Только выдашь себя и последуешь дорогой бедного доктора Синтакиса. А он вроде ничего особенного и не сделал. Обратился к кому-то из клиентов, просил денег. Вот вместо денег его сюда и привезли обратно. Привезли, показали всему штату и отдали огненным муравьям на пропитание, забыв ему рот кляпом, чтобы не визжал. Ужас, как он гримасничал!.. Погримасничаешь, когда тебя заживо жрут сто миллионов прожорливых маленьких тварей с челюстями, что маленькая пилка. Да и то сказать, чего ему не хватало, Синтакису-то? Получал здесь неплохо, жил тихо-мирно, вернулся домой к сестре, денежки все в банке, проценты идут. Живи, радуйся, а он,

видишь, еще захотел. Увидел фото клиента, узнал, ну и решил, что тот ему тут же и заплатит за молчание. Только забыл он про доктора Грейсона. Не было еще человека, кто бы его послушался и живым остался. Ну и то сказать — справедливый он...

— Я побегу, покровительница, а то меня хватятся. Мы ведь сегодня на расчистке работаем. А мистер Халперн сама знаешь какой...

— Иди, малыш. Не нужно, чтобы тебя искали. И будь осторожнее с Заикой...

— Она хорошая, и у меня к ней сердце мягкое.

— Я ничего не говорю, Лопо. Она и красивая, и спокойная... но все-таки...

— Уж очень ты осторожная, покровительница. Ты Заики не бойся. У нее глаза добрые... До свиданья, я побежал.

Лопо помахал Изабелле рукой и исчез за поворотом тропинки, которая вела к лагерю.

Изабелла подождала несколько минут и потихоньку поплелась к своему корпусу. Пресвятая дева Мария, как же грустно устроен мир, что вечно приходится разлучаться с теми, кто тебе дорог... Кажется, только что собиралась она сюда, в неведомую даль, и сердце у нее, у молоденькой медицинской сестры, сладко замирало при мысли о далеком путешествии, неведомой стране, новых людях, среди которых наверняка найдется один, стройный и высокий, молчаливый и прекрасный, нежный и сильный... Господи, как это было давно... А кажется, точно вчера она укладывала чемоданы, а мама кружила над ней, взволнованная и бестолковая, и только мешала своими советами.

«А не слишком короткие у тебя мини? — спрашивала она. — Ты ведь будешь среди солидных людей, с образованием».

«Мама, ну сколько раз тебе объяснять, что сейчас шестьдесят девятый, а не девятый год, и все носят короткие юбки».

«Короткие! — фыркнула мать. — Это ты называешь короткие?!» — Она схватила с дивана бежевую юбочку с широким кожаным поясом. Юбка и впрямь была очень короткая. Такая короткая, что Изабелла, когда надевала ее, старалась не садиться. Но шла она ей необыкновенно, она это знала, да и немало взглядов перехватывала

она — завистливых и неодобрительных женских и заинтересованных мужских. Она и сама знала, что ноги у нее красивые. Красивые ноги... Восемнадцать лет промелькнуло с тех пор. Приехала на два года, а осталась на восемнадцать.

Давно умерла мать, две сестры образование получили на ее переводы и вспоминать-то сестру забыли с тех пор, как вышли замуж, не то чтоб писать. А здесь... здесь теперь ее дом. И уважают. Сам доктор Грейсон всегда здоровается с ней за руку. А когда засунули беднягу Синтакиса в муравейник и весь штат собрали, чтобы люди видели, что случается с теми, кто нарушил Закон, доктор Грейсон увидел ее, помахал ей рукой, и ее пропустил вперед.

— Садитесь здесь, в первом ряду, дорогая Изабелла, — сказал он ей. — Вы это заслужили...

Как на нее смотрела коротышка Энн! Так прямо и исходила вся завистью, чудом не растаяла. А потом, ей передавали, она говорила: «Изабелла? Конечно, кроме работы, ей и делать нечего...» Изабелла представила, как Энн фыркает и подергивает плечом... Дура. Что она понимает? Конечно, ее доктор Грейсон ценит. Верно, строг он, так ведь по справедливости. Чего Синтакису нужно было? Ведь вот ее, Изабеллу Джервоне, доктор всегда приветствует... Конечно, строг он, но умеет ценить людей. Восемнадцать лет вместе.

Восемнадцать лет, как она впервые попала сюда, в этот жаркий и влажный лес. Дороги прорублены в такой густой чаще, что растительность прямо сплошной стеной с двух сторон. Захочешь свернуть в чашу — и как в стену упруешься. И так, и сяк... На несколько шагов углубишься — и все. Да и за эти несколько шагов кожу облепит всякая дрянь так, что потом целыми днями чешешься. Тогда все это казалось увлекательным. Аж сердце захлаживало, когда видела она прыгающих на деревьях обезьянок коата... А теперь проходит мимо.

Обезьяна — обезьяна и есть. На ветках прыгает, рожки издалека корчит. И там люди живут, и здесь люди живут. И не в обезьянах-то дело.

Но все равно не осталась бы она здесь больше срока, если бы не Лопо. Дева Мария, неужели же восемнадцать лет прошло с того момента, когда она стояла в приемной вместе с доктором Грейсоном и доктором Халперном

у купели номер два? Та, что у самой двери. С царапиной на колпаке. И один насос у нее не чмокал, как другие, а все больше хлюпал. Точно насморк, и все носом втягивает в себя. Потом сменили этот насос. Как механика звали по насосам? Рыженький такой, в веснушках... Еще ирландское имя у него было... Патрик, что ли?.. Бог с ним.

И опять увидела, как наяву: стоит она в приемной. Ребенок — совсем уже большой — плавает под большим прозрачным колпаком, и Изабелла сначала даже не поняла, зачем ее вызвали. Потом взглянула на шкалу роста и шкалу времени и охнула про себя: батюшки свет, да ведь все, пора уже...

— Ну, коллеги, — сказал доктор Грейсон, — пора перодеваться. Судя по всему, малыш нас уже жаждался.

Она было совсем растерялась. Еще бы, ее первый прием да в придачу в присутствии самого мистера Грейсона. Он хотя никогда не кричал на сотрудников и часто улыбался, но боялись его страшно. Изабелла долго не могла понять почему. И лишь раз, поймав на себе его взгляд — бесконечно холодный и равнодушный, когда внутри у нее все обмерло, а руки задрожали, — она поняла, почему никто никогда не спорит с доктором Грейсоном. С тех пор слово его стало для нее Законом. И когда она слышала, как этот Закон наказывал того или другого, ей было одновременно и страшно и сладко.

Тогда, в приемной, она быстро взяла себя в руки. Пероделась в стерильное, все приготовила, разложила и подчеркнуто четко, даже молодцевато доложила:

— Доктор Грейсон, все готово.

Доктор посмотрел на нее, поблагодарил, прикрыв на мгновение веки, и кивнул Халперну. Доктор Халперн, толстый и неповоротливый человек, мгновенно преобразился. Он словно разом похудел и вытянулся. Движения были четкими и быстрыми.

Раз, два, три, четыре, пять щелчков — и вот уже пластиковый колпак откинут, и в руках у доктора синевато-багровый большеголовый уродец со страдальчески сморщенным личиком. Ловкий шлепок — и младенец залился жалобным криком.

Изабелла была простой женщиной, не склонной к сомнениям и анализу, почти начисто лишенной фантазии. Когда она впервые попала в приемную и увидела сквозь

прозрачный колпак купели эмбрион, ей стало дурно. Отвернулась даже. Так у нее крик и поднимался, но, спасибо, доктор Халперн понял все.

— Не бойтесь,— сказал,— мисс Джервоне. Привыкните. Ко всему человек привыкает. Да и никаких чудес тут нет. Обычно мать ребенка вынашивает, а тут, видите, он в искусственной купели развивается.

Она чуточку успокоилась, но все равно ей не верилось, что сможет она когда-нибудь привыкнуть. Но прошло несколько дней, и с пластичностью простых и цельных натур она воспринимала и весь лагерь, и приемную с тремя купелями, и молчаливых, пугливых слепков, из которых некоторые были похожи друг на друга как две капли воды, как нечто естественное, извечное, нерушимое. А когда через три года стала старшей покровительницей, реальный мир для нее окончательно принял формы и очертания Новы — так назывался лагерь. Мир же вне Новы был бесконечно далеким, слегка фантастическим, пугающим и чужим.

Глава 8

Она осталась. Тем более, что в этом мире был Лопо, ее малыш.

Тогда, когда его влажное крошечное тельце сжимали резиновые перчатки доктора Халперна, она еще ничего не испытывала к нему. Она обрезала пуповину, обмыла его.

— Мисс Джервоне,— сказал доктор Грейсон,— запишите его в книгу рождений. Он будет номер...— он посмотрел на предыдущую запись,— сто одиннадцать тире один. Ну, а кличка... Как же мы его назовем, а? — Он посмотрел на новорожденного, на доктора Халперна, на нее. И опять сердце у нее екнуло, как провел он по ней холодным и ярким своим взглядом.— Ну, мисс Джервоне, вы женщина, глаз у вас зоркий...

— Вот разве ушки... Лопоухонький он какой-то...

— Лопоухонький...— Доктор Грейсон прикинул слово, повернул его так и эдак.— Ну что ж, прекрасно. Пусть будет Лопоухим. Лопоухий-первый.

— Почему первый? — спросила она.

— Первый слепок того, кого он повторяет. Может быть, потом мы сделаем второго Лопоухого...

Она вписала его в большую тяжелую книгу. Писала она тщательно и аккуратно, как делала все в жизни.

На второй или третий день, когда она кормила его и он жадно хватал крошечными губами соску, Изабелла вдруг впервые поняла, что у этого существа нет ни матери, ни отца, ни бабушки, ни дедушки. Разве что когда-нибудь будет брат, который и не будет знать, что он брат. И эта простая мысль вдруг наполнила ее ужасом сострадания, и волна любви и жалости к малышу ударила, обдала жаром щеки.

— Лопухонький... — прошептала она, — Лопо...

Младенец посмотрел на нее невидящим мутным взглядом, но Изабелла готова была поклясться, что взгляд был вполне осмысленным.

Теперь, когда она купала его, держа его тельце на согнутой левой руке, он уже не казался ей синевато-багровым. Тельце его стало розовым, и прикасаться к нему руками, губами, лицом доставляло Изабелле бесконечное удовольствие.

В Нове в то время она была единственной покровительницей — комбинацией матери, няньки, медицинской сестры и воспитательницы для ребятишек до трех лет. Вскоре у нее появилась помощница, молчаливая медлительная девушка, которая сразу признала авторитет Изабеллы.

Как-то ее вызвал к себе в кабинет доктор Грейсон. Она бегом бежала к его коттеджу и, добежав, остановилась, чтобы отдышаться. Сердце колотилось: то ли от бега, то ли от страха — и не поймешь. Наконец она набрала побольше воздуха и повернула ручку двери. Когда она вошла в комнату, он встал из-за стола, усадил ее в кресло и попросил разрешения закурить. Изабелла только кивнула головой. Если она не была бы религиозна и не боялась бы святотатства, она бы, наверное, считала доктора Грейсона не человеком, а богом, источником благодати и страшных наказаний.

— Дорогая мисс Джервоне, — сказал доктор Грейсон с легкой улыбкой, — я пригласил вас к себе, чтобы спросить, нравится ли вам у нас в Нове?

— О да, доктор Грейсон, — с жаром ответила Изабелла и хотела было подняться — она и так сидела с трудом в присутствии доктора, — но он остановил ее движением головы.

— Прекрасно,— сказал он.— Мне приятно это слышать, и я надеюсь, мы и впредь будем помогать друг другу. Вас уже инструктировали, чем отличается воспитание младенцев у нас. Вам говорили, что физическое развитие их не должно отличаться от обычного, поэтому младенец с первых часов своего появления на свет должен быть окружен самым лучшим уходом. С другой стороны, наши дети должны вырастать, зная лишь небольшое количество слов. Свое имя, «иди», «возьми», «принеси», «сделай», «есть» — вот почти все, что им нужно. Мы не будем обсуждать с вами, для чего это делается, но уверяю вас, что это в их же интересах. Лопухий-первый — ваш первый младенец здесь, и я уверен, что вы будете выполнять обязанности его покровительницы с блеском. Я лишь хотел вас еще раз предупредить, дорогая мисс Джервоне, что вы должны следить за собой. Молодые женщины, особенно с таким добрым сердцем, как у вас, могут решить, что с младенцем следует много разговаривать. Не забывайте инструкции. Хорошо? — Доктор ожидающе посмотрел на Изабеллу.

— Да, доктор,— торопливо ответила она и снова попыталась встать.

— Чтобы вы лучше познакомились с нашим порядком, который мы называем Законом, поскольку другого здесь нет,— доктор тонко улыбнулся,— хочу вас предупредить, что за серьезные нарушения Закона, к которым относится и сознательное неправильное воспитание младенца, полагается встреча с муравьями.

Изабелла недоуменно посмотрела на доктора Грейсона. Глаза его стали напряженными, кулаки непроизвольно сжались, а на губах играла слабая улыбка. Даже голос его изменился, и в нем появились нотки мечтательности.

— По-португальски эти муравьи называются форми-га дефого. Огненные муравьи. Преступник со связанными конечностями и с кляпом во рту — я не люблю воплей — помещается в муравейник. Муравьи расправляются с незванным гостем. Не сразу, конечно, но в этом-то весь смысл наказания.

— Они...— задохнулась от ужаса Изабелла,— они умирают?

— Увы,— кивнул доктор Грейсон,— один скелет без мяса жить не может. Но тем, кто Закон не нарушает,—

голос его снова стал учтивым, — бояться нечего... Всего хорошего, мисс Джервоне.

Много ночей подряд после этого ей снились муравьи. Они шли на нее сплошной стеной, страшно щелкая огромными челюстями. Она пыталась бежать, но тело не повиновалось ей. Они всё приближались и приближались, и бесконечный ужас наполнял ее. И когда сердце ее, казалось, вот-вот не выдержит, она просыпалась. Все тело было покрыто холодной липкой испариной, и она долго лежала в темноте, медленно возвращаясь к действительности, радовалась, что сон оказался лишь сном.

И все же она научила Лопо говорить. Она нарушила Закон и заслуживала встречи с муравьями.

Она сама не знала, как это получилось. Она баюкала малыша, и ей казалось, что она ничего не говорит. Но сотни и тысячи поколений матерей учили своих детей говорить. Они курлыкали, бормотали ласковые имена, слова, которые столь же нелепы и неуклюжи для постороннего уха, как слова возлюбленных. Она смотрела на него — он уже ей улыбался — и, сама не замечая того, шептала:

— Лопо ты мой маленький, жизнь моя...

Когда он чуть подрос и стал произносить свои первые слова, она начала учить его осторожности. Если где-нибудь невдалеке был человек, она показывала на него малышу и зажимала ему ладонью рот. Сначала он не понимал, чего от него хотят. Он думал, что покровительница играет с ним, и покатывался со смеху, но постепенно у него выработался рефлекс: как только он замечал человека, он тут же замолкал.

Он был живее и развитее других слепков, даже более старших, и они инстинктивно признавали его своим лидером, своим альфой. Но слепки его раздражали. Его раздражала их пассивность, их немногословность, почти полное отсутствие у них любопытства. Он не знал, что они ни в чем не виноваты. Ему казалось, что они просто ленивы. Он кричал на них, понукал ими. Они выполняли его команды, но не больше. Иногда ему хотелось даже, чтобы они рассердились на него, возразили, подняли на него руку. Но они были покорны. Он знал слова, которых они не знали, и казался им иным, загадочным, непонятым, почти как люди.

И лишь одно существо в стаде слепков не вызывало в нем презрения и раздражения. Ее звали Заика, хотя

она почти не заикалась. У нее были большие светло-серые глаза, светло-русые вьющиеся волосы и тоненькая гибкая фигурка. Она так же, как и другие ее сверстники и сверстницы, беспрекословно слушалась Лопо, но он никогда не кричал на нее. Когда он разговаривал с ней, а она поднимала веки и ее длинные мохнатые ресницы становились похожи на щеточки, он чувствовал, как им овладевает какое-то неясное томление, которому он не знал названия и которое он не мог объяснить себе.

Однажды она споткнулась на бегу о высокий корень пашиубу и острые шипы поранили ей ногу. Он поднял ее на руки, прижал к себе и понес к покровительнице, чтобы та остановила Заике кровь и сделала перевязку.

Он нес ее, Заика тихо постанывала, и Лопо сам испытывал ее боль. Это было удивительно. Ведь это не он, а она поранила себе ногу. Людей видно не было, и он недоуменно спросил ее:

— Заика, а почему это — ты поранила ногу, а мне больно? Так же не бывает.

Она ничего не ответила, но ее маленькие ручки крепче сжали шею Лопо, и она перестала стонать.

Покровительница нахмурилась, когда увидела их.

— Почему ты сердисься? — спросил Лопо. — Она же не виновата. Я сам видел, как она упала.

Изабелла ничего не ответила. Да она и не могла ничего ответить, потому что сама не понимала, почему при виде маленьких ручек Заики на шее Лопо сердце ее вдруг сжалось...

Но это было давно. Теперь же, когда Лопо было уже восемнадцать, а Заике шестнадцать, она примирилась с тем, что вынуждена была делить привязанность юноши с девчонкой. Таков неизбежный и извечный ход вещей, и сопротивляться бессмысленно.

И снова Изабелла поймала себя на том, что думает о Лопо так, как будто ничего не случилось, как будто доктор Салливан не сказал ей утром, что Лопоухий-первый намечен. На мгновение ее охватила безумная надежда: может быть, все это ей почудилось? Может быть, это был лишь тягостный сон, как когда-то сны о муравьях?

Но она знала, что это не сон. Она даже знала, почему доктор Салливан сказал ей об этом с подчеркнутым безразличием. Он знал, что она испытывала к Лопо чувство гораздо большей привязанности, чем к другим слеп-

кам, вынырнувшим ею. И он знал так же, как знала и она, что он не простил ей. Не простил отвергнутых ухаживаний. Тонкогубый червь... Поэтому-то утром, хотя голос его звучал буднично и равнодушно, доктор Салливан не мог скрыть торжества:

— Да, знаете, а Лопо-то намечен. На полную... Говорят даже, что вы поедете за клиентом.

Он старался не расплыться в торжествующе-злорадной улыбке, но это ему плохо удавалось, и его маленькие глазки так и лучились довольством человека, который смог принести дурную весть ближнему.

Она ничего не ответила. Если бы ее даже резали, она бы все равно ему ничего не ответила.

Глава 9

Его память походила на испорченную патефонную пластинку. Снова и снова он сидел в вагоне моно, откинувшись на спинку кресла, и сквозь полуприкрытые веки смотрел на проносившиеся мимо бесконечные ряды домиков. Каждый раз, когда он ехал по монорельсу из университета домой в Хиллтоп или обратно в университет, вид десятков тысяч почти одинаковых домиков наполнял его тоской. Людей было слишком много, и каждого в отдельности ожидала анонимность травинки, муравья, пчелы, человека. Да, ему повезло — он родился в богатой семье. Но все равно анонимность подстерегала его, набрасывала на него свои сети. Все было. Всего было много. И твое неповторимое «я», твои потайные мысли, интимные переживания — все было тысячи и тысячи раз и тысячи и тысячи раз будет. Все суетно и страшно. И даже то, что владеет его воображением, мелькает сейчас в головах у тысяч. Или уже мелькало. Или мелькнет.

И снова взгляд его падал на бесконечные ряды одинаковых кукольных домиков: И в каждом одинаковые кукольные люди. И все похожи. Все песчинки.

Потом, в рутине студенческой жизни, Оскар забывал об этих мыслях, и только бесшумно разворачивающаяся панорама из окна моно снова приносила юношескую печаль. Он пытался посмеиваться над собой. Вельтшмерц (мировая скорбь), говорил он себе, свойственна молодым людям. С возрастом она проходит, и человек

исправно совершает свой положенный ему на земле цикл: съедает столько-то тонн, выпивает столько-то цистерн, просыпает столько-то лет и благополучно умирает, чтобы освободить место другим, которые, в свою очередь, испытывают вельтшмерц, вылечатся от юношеского недуга и начнут снова по предназначенным им тропкам в человеческом муравейнике.

Нет, говорил Оскар себе каждый раз, когда садился в длинный обтекаемый вагон моно, это в последний раз, а то у него уже выработался условный рефлекс. Но тащиться четыреста с лишним миль по шоссе было мучительно, а лететь было еще дольше.

Впрочем, мысли его текли на этот раз медленнее, чем обычно, потому что он не выспался накануне и сейчас то и дело задремывал на секунду-другую, чтобы тут же снова приоткрыть глаза. С детства он не умел спать сидя.

Внезапно слегка вибрирующая тишина вагона взорвалась скрежетом и грохотом. С чудовищно томящей медлительностью он начал клониться вперед, и пупырышки на искусственной коже сиденья превратились в холмы и горы. И — провал... И снова память стала прокручивать в замедленном повторе ленту пронесившегося пейзажа, снова она разрывалась скрежетом и грохотом, и снова с рвущей сердце медлительностью летел он вперед, со своего места. Летел в провал, в ничего, из которого снова, как в бесконечной детской присказке, возникал вагон моно...

Этого не может быть, вяло подумал он, человек не может жить много раз. Наверное, он умер. Но смерть — это чувства, выровненные до нуля, проглаженные так, чтобы ни на йоту не отличаться друг от друга. Скорей всего, он жив. И вдруг он понял, почему память свернулась в бесконечное кольцо. Дальше было страшно, дальше была тупая боль, которая наполняла все его тело, а может быть, и весь мир, потому что его тело было явно мало для такой сложной системы болей. Все они, эти боли, большие и маленькие, были приглушенные, но вместе они навалились на него отрядом изощренных инквизиторов.

И катастрофа получила в его сознании название: катастрофа. И стало слово. И к этому слову-координате начали подплывать другие слова: ужас, боль, смерть, калекка, больница.

Он начал ощущать свое полное тупой боли тело. Он лежал. Он уже каким-то образом знал, что вскоре должен будет открыть глаза, но, пока можно было сопротивляться, этого делать не следовало. Пока глаза закрыты, была надежда, что его мучает дурной сон, что скоро с легким шорохом моно начнет тормозить, он вылезет, найдет такси — он не сообщил домой, что едет, — и через полчаса окажется в старом родном доме на холме.

Но даже с закрытыми глазами он уже не верил в сон. И как только окончательно понял, что это не сон, боль стала острее, и он застонал. Он хотел было сбросить ноги с кровати, чтобы сесть одним рывком, не упираясь руками, но мышцы были чужими, они не слушались его. Только болевой оркестр отметил его усилие мощным аккордом. Он снова застонал.

— Состояние, конечно, тяжелое, не будем скрывать от вас, — услышал он откуда-то издалека бесплотный голос, — но шансы есть...

— Шансы на что? — спросил другой голос, почему-то очень знакомый.

— На жизнь. Не больше...

«О чем они говорят?» — подумал Оскар. Наверное, о тяжело больном. И он тоже болен. А может быть, это о нем?

Он поднимался теперь к сознанию с пугающей быстротой, словно был надутым пузырем и жидкая боль упорно выталкивала его на поверхность. Ему не хотелось подниматься. Там было тяжелое состояние, там были только шансы. Но там был и знакомый голос. «Это отец», — подумал Оскар. Теперь он окончательно пришел в себя, но по-прежнему не открывал глаза. Нужно было дослушать, о чем говорили люди около него.

— Что вы понимаете под словом «жизнь»? — глухо спросил отец.

— О, мистер Клевинджер, не будем заниматься философскими определениями, особенно в такой час. У вашего сына раздроблена правая нога. Нужна ли будет ампутация, пока я вам сказать не могу, но пользоваться он ею, безусловно, не сможет. Вот рентгеновский снимок, смотрите: практически костяная каша. Очевидно, его ударило по ноге что-то тяжелое, скорее всего сорвавшееся сиденье, когда произошла катастрофа. Повреждена и правая рука. Возможно, ее удастся спасти, но полно-

стью ее функции скорее всего не восстановятся. Что касается повреждений внутренних органов...

«Священный Алгоритм,— пронеслось в голове у Оскара,— лучше бы удар был чуточку посильнее...» Но в нем начала просыпаться естественная жажда жизни, потому что мысль эта не задержалась в сознании.

— Но пока нас больше всего беспокоят почки и печень. Сказать точно еще трудно, но повреждения, увы, есть. Так что, мистер Клевинджер, жизнь, в данном случае, это не так уж мало.— В голосе врача послышалась профессиональная обида человека, от которого профаны ждут гораздо больше, чем он может дать.

— Скажите, доктор, самой непосредственной угрозы его жизни нет?

— Думаю, что нет. Мы сделали все, что нужно.

— Когда его можно будет забрать отсюда?

— О, мистер Клевинджер, пока бы я на вашем месте не задавал таких вопросов... Кто знает... Если все пойдет хорошо, месяца через три-четыре...

— Вы меня не поняли, доктор.— В голосе Клевинджера послышалась нетерпеливость человека, привыкшего, чтобы его понимали сразу.— Я имею в виду, когда его можно будет забрать сейчас, до лечения?

Доктор даже закашлялся от обиды.

— Вы нам не доверяете? Смею вас уверить...

— Я вам абсолютно доверяю, доктор. Просто я...

— Смею вас уверить, что условия в нашей больнице...

— Я просто хотел...

— Лучшие медицинские силы...

— ...забрать сына.

После томительной паузы доктор спросил:

— В другую больницу?

— Н-нет, домой...

— Простите, мистер Клевинджер.— Голос доктора снова окреп, и в нем теперь угадывалось торжество специалиста, поймавшего наконец профана на совершеннейшей глупости.— В таком состоянии ваш сын не может находиться дома. Даже самый лучший уход дома не может заменить больницы. Так что это совершенно отпадает. Я понимаю ваши чувства и представляю ваши возможности, но держать его дома было бы преступлением. Ваше право перевести его в другую больницу, если вы нам не доверяете, пожалуйста, но не домой...

Оскару вдруг стало страшно. Зачем отец хочет его забрать? Доктор говорит... Он не хочет двигаться. Держать его дома было бы преступлением... Слишком часто отец настаивал на своем... Было бы преступлением... Он открыл глаза и тихо позвал:

— Отец...

Оскар увидел, как отец на мгновение замер, словно прислушивался, потом стремительно повернулся к сыну и жадно поймал глазами его взгляд. Лицо его на секунду передернуло жалобная гримаса, он с усилием сделал глотательное движение, и кадык его испуганно дернулся. Глаза влажно заблестели. Он нежно коснулся пальцами лба Оскара и провел ими по носу, губам, подбородку. Давно забытая детская восторженная привязанность нежным и горячим облаком поднялась из глубин души юноши, и он почувствовал, что и лицо отца, и стена комнаты с литографией скачущей лошади вдруг потеряли резкость... Оскар плакал.

— Не бойся, сынок,— сказал отец.

И Оскару захотелось верить отцу, как он когда-то верил каждому его слову. Но не мог. И не только потому, что их разделяли годы все более сильных ссор, а и потому, что слышал слова доктора. Одноногий и однорукий калека. Почему удар пришелся не по голове? Почему? Почему?

— И не плачь,— сказал отец.— Я знаю, что разочаровывал тебя. Наверное, сыновья почти всегда разочаровываются в своих отцах, когда вырастают. Но поверь мне на этот раз, прошу тебя. Я обещаю, что ты выздоровеешь и будешь нормальным человеком.

Оскар услышал, как вздохнул врач. Он бы сам вздохнул, но страшно было набрать в грудь больше воздуха.

— Завтра можно будет? — спросил Генри Клевинджер доктора.

— Что завтра? Забрать вашего сына?

— Да,— решительно сказал Клевинджер.

— Как вам угодно,— сухо сказал доктор и пожал плечами. Весь его вид красноречиво говорил: «Миллионер... сумасброд... привык, что весь мир у его ног... Но есть вещи посильнее его денег».

«Злорадное предвкушение смерти богача всегда утешало бедных»,— подумал Оскар и закрыл глаза. Он очень устал. Бесконечно устал.

— Отец, ты обещал объяснить мне, куда мы летим,— сказал Оскар.

Он лежал укутанный одеялом на широких удобных носилках в салоне самолета. Ровный гул легко срывался с двигателей и уносился куда-то назад. На пластмассовом плафоне на потолке, прямо над лицом Оскара, скользил яркий солнечный блик. Наверное, самолет совершал вираж.

— Сейчас, сейчас, отдохни немного,— сказал Генри Клевинджер.

— Как вы себя чувствуете? — спросил полный врач с сонным выражением лица и взял своими пухлыми теплыми пальцами запястье Оскара.

— Как будто ничего.

— Давайте сделаем укол, и вы спокойно проспите всю дорогу. Мисс Джервоне, шприц, пожалуйста...

Немолодая сестра с постоянно испуганными глазами торопливо раскрыла саквояж.

— Нет, нет,— сказал Оскар,— я чувствую себя вполне прилично. Я хочу поговорить с отцом.

— Доктор Халперн, это возможно? — спросил Генри Клевинджер.

— Вполне. Пульс почти нормальный, наполнение хорошее.

— Отлично. Тогда, если вы не возражаете, мы бы хотели поговорить. Вы можете пока побыть в заднем салоне.

Сестра послушно вскочила на ноги, и Оскар поймал на себе ее какой-то странно напряженный взгляд.

— Тебе удобно, сынок? — спросил старший Клевинджер, и Оскару показалось, что в голосе отца прозвучала нотка неуверенности.

— Да.

— Хорошо. Я знаю, Оскар, что ты не разделяешь многих моих взглядов. Я тоже не всегда могу согласиться с тобой. Наверное, это неизбежная война поколений. Но я прошу внимательно выслушать меня и постараться понять. Заранее хочу тебя предупредить, что все тобой услышанное должно быть сохранено в абсолютной тайне. Не спрашивай почему — ты поймешь сам.

В пятьдесят четвертом году... да, в пятьдесят четвер-

том, когда твоей сестре было два года, мой знакомый как-то сказал мне, что со мной хочет поговорить один молодой ученый. Я ответил, что, как он, наверное, знает, филантропом я себя не считаю, денег не даю и молодых гениев не поддерживаю. Тем не менее он настаивал, и я согласился. Назавтра мне позвонил этот ученый, назвал-ся доктором Грейсоном и, не объясняя зачем, просил приехать к нему. Я дал слово своему знакомому, мне неудобно было отказываться, и я поехал.

Меня встретил энергичный молодой человек и с места в карьер объявил, что может предложить мне хорошую сделку. Я ответил, что ничего покупать не собираюсь, но Грейсон как-то странно улыбнулся. Я, как сейчас, помню эту улыбку, хотя прошло больше тридцати лет.

«Мистер Клевинджер,— сказал он,— я бы никогда не решился беспокоить вас, если бы не был уверен, что мой товар вас наверняка заинтересует».

«Что же вы намерены мне предложить?» — сухо спросил я и посмотрел на часы.

Он понял мой жест.

«Можете не смотреть на часы,— с какой-то гипнотизирующей уверенностью сказал он.— Через минуту вы забудете о часах».

Надо сказать, что в докторе Грейсоне есть что-то от артиста. Он подошел к двери и царственным жестом распахнул ее. В комнату вошла молодая женщина, ведя за руку двухлетнего мальчика.

«Знакомьтесь,— сказал он,— это моя жена Мелисса и сын Эрик».

Я поклонился. Женщина ничем примечательна не была, а мальчуган был точной копией отца. Должно быть, доктор поймал мой взгляд, потому что достал из стола два конверта, извлек из них две пачки фотографий и подвинул их мне. На всех фотографиях был изображен Эрик. Я не мог понять, что этот Грейсон хочет от меня. «Может быть, он намерен продать мне сына?» — подумал я.

«Как по-вашему, кто изображен на фото?» — спросил меня Грейсон.

Я пожал плечами. Вся эта нелепая мистификация начинала злить меня... Ты ведь знаешь мой характер, Оскар. Я не терплю неопределенности, загадок, намеков...

«Ваш сын»,— сухо ответил я и встал.

«Вы ошибаетесь, мистер Клевинджер! — торжествуяще воскликнул Грейсон. — На одних изображен я в возрасте двух лет, на других действительно Эрик. Если вы сможете определить, где кто, я попрошу у вас прощения за отнятое время и мы тут же расстанемся».

Мне ничего не оставалось, как присмотреться к фотографиям. Мистер Грейсон, по-видимому, шутил. Такого сходства быть не могло... Ведь передо мной было не две любительских фотографии. Их было дюжины две, открыточного формата, черно-белых и цветных. И на всех них был снят один и тот же мальчик — Эрик. Вся эта мистификация мне изрядно надоела, и я снова встал, на этот раз уже решительно.

«Благодарю вас, доктор Грейсон, — раздраженно сказал я. — Я не покупаю детские фотографии, даже оптом...»

«Переверните фото», — властно сказал Грейсон, и сам не знаю почему, но я повиновался. На части фото стоял штамп фотографа и дата, заверенная печатью нотариуса. 1930 год. Этого не могло быть. В 1930 году Эрика еще не было. Не было, наверное, и его матери. Или дата фальшивая, или... Я и не знал, что подумать. Понимаешь, на фото было не сходство, не большое сходство, не необыкновенное сходство. Понимаешь, это было безусловно одно лицо. Одно лицо до мельчайших деталей.

Грейсон посмотрел на меня с нескрываемым торжеством. Он кивнул жене, и та вышла вместе с мальчиком. Грейсон выдержал эффектную паузу и эдак небрежно, походя заметил:

«Должен вам признаться, мистер Клевинджер, что Эрик вовсе не сын мне».

«Как? — не выдержал я. — А кто же?»

«Он моя копия, мой слепок».

«Это я видел!» — нетерпеливо воскликнул я.

«Нет, вы меня не поняли. Я говорю не фигурально. У Эрика не было отца и матери в общепринятом смысле этих слов. Дело в том, мистер Клевинджер, что перед вами гений. Да, да, гений, потому что я не знаю других слов, которыми можно было бы описать мои способности в биологии. Такие слова, как «необыкновенные способности», «талант» и прочие в высшей степени неадекватны. Я именно гений, как ни странно звучит такое заявление о самом себе, но это так. Я ведь не тщеславен,

я просто констатирую факт. Я сделал то, что еще никому не удавалось сделать. Со временем, вероятно, кто-нибудь этого и добьется, но я первый».

Ты ведь знаешь, Оскар, я человек по природе не впечатлительный и не восторженно-доверчивый. Но я не засмеялся. В Грейсоне бурлила какая-то дьявольская энергия, он излучал фантастическую уверенность. Он оказался прав: я забыл о том, что на руке у меня были часы.

«Понимаете,— продолжал Грейсон,— Эрик — первый в истории человечества человек, который родился, как я вам уже сказал, не обычным методом полового размножения. Вы, возможно, слышали или читали, что весь наследственный код, запрятанный в спиральях ДНК, то есть вся информация, которая определяет, что из этой клетки вырастет, допустим, человек среднего роста с карими глазами и склонностью к стихосложению, а не саблезубый тигр, склонный прыгать своим жертвам на спину, содержится не только в половых клетках, но и во всех обычных соматических клетках. Обычный зародыш — набор хромосом отца и матери — несет в себе наследственные характеристики своих родителей. Мне удалось активизировать обычную соматическую клетку. Я взял у себя изо рта какое-то количество клеток слизистой оболочки. Это не операция, боже упаси! Просто нужно слегка поскрести слизистую. Клетки слизистой я поместил в подходящую среду. Затем я взял яйцеклетку Мелиссы...»

«Позвольте,— сказал я,— но вы же только что...»

«Не торопитесь,— строго сказал Грейсон, словно я был его учеником.— Я извлек из ее яйцеклетки ядро и на его место вставил ядро клетки, взятой из слизистой моего рта. Как я вам уже сказал, все наследственные признаки зашифрованы в ДНК, а молекулы этой кислоты находятся в ядре клетки. Я обманул природу. У меня была яйцеклетка, которой быть не могло. И вот эту-то таким образом подготовленную яйцеклетку я ввел опять Мелиссе. Далее все шло как обычно. Беременность развивалась нормально, и через девять месяцев она родила Эрика. Все то время, что он пробыл зародышем и плодом в ее чреве, она была лишь сосудом для него, укрывавшим и кормившим его. Никаких наследственных признаков передать ему она не могла, ибо клетка, из которой родился Эрик, несла мои, и только мои, наследственные

признаки. Она была слепком, копией моей клетки, а моя клетка — это я. Таким образом, Эрик не мой сын и не сын Мелиссы. Он — моя копия, мой точный слепок. Человечек под копирку. Отсюда и сходство, которое так поразило ваше воображение».

«Значит,— сказал я,— отныне можно иметь детей, которые будут точными копиями...»

«Совершенно верно. Мало того, скоро женщина не нужна будет даже для того, чтобы выносить такую копию. Еще полгода — и у меня будет искусственная купель...»

«Боже...» — пробормотал я.

«И это еще не все,— вдохновенно продолжал Грейсон.— Возможностей гораздо больше. Может быть, вы слышали, что пересадке органов одного человека другому мешает биологическая несовместимость. Организм распознает чужие белки и решительно отторгает их. Мои слепки абсолютно неотличимы по белкам от хозяина. Если бы сейчас или когда-нибудь впоследствии нужно было бы взять какой-нибудь орган Эрика и пересадить его мне взамен вышедшего из строя — я, разумеется, отбрасываю возрастную разницу, дело не в ней,— такая операция была бы гарантированно успешной.

Если бы при рождении ребенка методом пересадки ядер можно было бы получить его копию, у ребенка всегда был бы про запас живой склад запасных частей, от почки до конечностей. Мало того, мистер Клевинджер, я уверен, что со временем смогу брать тело слепка и прирастить к нему голову хозяина. Это вопрос лишь хирургической техники и терпения: надо будет уметь соединить нервы и подождать, пока они прорастут... Человечек может иметь нескольких своих слепков: своего возраста и моложе, чтобы всегда иметь под рукой молодое здоровое тело...»

«Но...— пробормотал я, слишком потрясенный, чтобы собраться сразу с мыслями,— ведь эти ваши слепки...»

«Я догадываюсь, что вы хотите сказать,— кивнул Грейсон.— Все зависит от воспитания. Слепок может быть абсолютно полноценным человеком и может быть животным с неразвитым мозгом. И не нужно никаких особых мер для этого. Вырастите слепок без языка, в искусственно созданной среде, где с ним никто не разговаривает,— и вы получите полуживотное, к которому

можно будет относиться, как к домашнему скоту, то есть в нужный момент забить, не мучась жалостью...»

«Но ведь это все-таки будут люди?»

«Нет. Я вам уже сказал. Это будут животные. Какая, в конце концов, разница, сколько у животного ног: четыре, две или пятнадцать. Человека от животного отличает только разум, самосознание. Мои слепки будут в меньшей степени людьми, чем, скажем, собаки».

«И что же вы хотите от меня? — спросил я. — Чтобы я финансировал ваши работы?»

«О нет, мистер Клевинджер. Этого я от вас не жду, да это мне и не нужно. Я не собираюсь опубликовывать свои работы, — холодно сказал Грейсон. — Мало того, я постараюсь, чтобы о них знало как можно меньше людей. Мне не нужна свора теологов, моралистов, юристов, ханжей и завистливых коллег. Вы представьте на минуточку, какой визг поднялся бы во всем мире, если то, что я рассказал вам, было бы опубликовано. Коллеги мои охрипли бы от лая, теологи проклинали бы меня с каждого амвона, юристы мигом доказали бы, что каждый раз я совершаю преступление против личности в частности и человечества вообще. Анемичные моралисты назвали бы меня фашистом. И только за то, что я гений. Весь иступленный их лай был бы чисто защитной реакцией. Ведь посредственности куда легче загрызть гения, чем понять его и признать тем самым свою никчемность.

Боже, какими они все становятся едиными и благородными, когда нужно затравить кого-то, кто вырвался вперед. Потом, когда они настигнут жертву и начнут рвать ее, вымазывая морды в ее крови, они будут урчать и оттирать друг друга от разодранного тела. — Глаза доктора Грейсона горели, лицо исказила гримаса бесконечного презрения. — Нет, они мне не нужны! Мне не нужна слава. Я хочу работать один. Где-нибудь подальше от нескромных глаз я создам колонию слепков, где те, кто сможет платить, будут иметь ходячие запасные части.

Я не прошу у вас деньги вперед. Но позвольте мне создать слепки членов вашей семьи, и когда вы их увидите собственными глазами, я уверен, вы захотите заплатить мне за них...»

Генри Клевинджер замолчал, откинувшись на спинку кресла, и начал раскатывать между пальцами сигарету.

Закурив, он посмотрел на сына, и Оскару показалось, что в глазах отца он прочел напряженное ожидание.

— Значит, ты выглядишь таким молодым...

— Да, ты не ошибся... Это не мое, строго говоря, тело. Это тело моего слепка, который более чем на тридцать лет моложе меня... Доктор Грейсон не преувеличивал своих возможностей. Он сделал все, о чем говорил. Он действительно разработал эту фантастическую операцию по пересадке головы. Мало того, он нашел способ как-то воздействовать на мозг — как будто он делает что-то с гипоталамусом, — и мозг, снабженный новым, молодым телом, тоже начинает молодеть. Слепок, давший мне тело...

— Ты его видел... перед этим? — медленно спросил Оскар.

— Да, — почему-то торопливо кивнул Генри Клевинджер. — У него были совершенно пустые глаза. Он ничего не понимал. Он не был человеком. Человек — ведь это не тело, не мышцы, кровь или железы. Человек — это душа, разум. И у него их не было. Впрочем, ты это увидишь сам.

— Это тяжелая операция?

— Разумеется, под общим наркозом. Потом еще месяца полтора я должен был ждать, пока прорастут нервы. Они, как мне объяснил Грейсон, растут очень медленно. Около миллиметра в сутки.

— А какие у тебя были ощущения, когда ты почувствовал свое новое тело?

— О, эти ощущения возникли не сразу. Я осваивал свою новую оболочку месяца три, пока не привык к ней. Это ведь были не только новые мышцы, упругие и сильные, вместо моих немолодых и дряблых, не только гладкая кожа вместо моих складок и морщин. Молодые железы и их гормоны дали мне другое, полузабытое самоощущение, новую физическую энергию.

— А шрам?

— Во-первых, я стараюсь поменьше обнажать шею, во-вторых, как ты видишь, я отрастил бороду и длинные волосы, а в-третьих, там же, у доктора Грейсона, мне сделали еще и пластическую операцию, и шрам, в общем, почти не виден...

— Скажи, отец, а ты видел этого... ну, который предназначен мне?

— Да, доктор Грейсон показал мне всю нашу семью... Семейку слепков. Моих, твоих, маминых и сестры.

— И какой же он?

— Точно такой же, каким ты был года полтора тому назад.

— Симпатичный?

— Это был ты,— пожал плечами Генри Клевинджер.

— А мама? Мама ведь выглядит намного старше тебя.

— Она отказывается от операции. Ты ведь знаешь ее характер... Вечное стремление прикрыть свой страх и апатию моральными соображениями. Я не осуждаю ее. Фактически мы уже давно далеки друг от друга. Я не предал ее, не развелся, не женился на другой, но мы давно уже идем разными курсами...

— Я понимаю,— пробормотал Оскар и добавил: — Прости, отец, я немножко устал...

— Поспи, сынок, я утомил тебя.

Оскар закрыл глаза. «Удивительно,— думал он,— как устроен человек. Можно выходить из себя из-за потерянной книги или запачканного пиджака и испытывать некое душевное онемение, когда речь идет о вещах в тысячи раз более важных». А он действительно почти не испытывал никаких эмоций. Умом он понимал всю необычность услышанного, всю громадность его по воздействию на него, Оскара Клевинджера, но только умом.

Он задремал и увидел, что бежит за каким-то человеком. Ему видна была лишь спина убегающего, но он сразу догадался, что гонится за своим слепком. «Господи, только бы у него действительно были пустые глаза...»

Глава 11

Меня позвали к доктору Грейсону, но мне пришлось ждать, наверное, с полчаса. Придя, он, как обычно, вежливо поздоровался со мной:

— Как идет акклиматизация, мистер Дики? Я вижу, выглядите вы недурственно: поправились, загорели.

— Спасибо, доктор,— вскочил я на ноги, потому что задумался и не заметил, как он вошел.

Прошло уже недели две, как я очутился в Нове, но я все еще чувствовал себя потерянным. Я знал теперь уже

все, что произошло со мной, знал, что ничего мне не угрожает, что доктор Грейсон благоволит мне, но никак не мог найти гармонии. Ни в ежечасной суете, ни в минуты погружения. Я не мог понять, в чем дело. Казалось бы, я перенес перемены в моей жизни довольно спокойно. Страхи темной сурдокамеры остались позади, и услужливая память ежедневно ощипывает их. Эти страхи уже совсем не страшны, а скоро их вообще не останется.

Мало того, я отнесся ко всему тому, что узнал в Нове, удивительно спокойно. Я пробовал мысленно разбирать моральную основу существования лагеря, но стоило мне начать думать, как мысли ускользали от меня. Их заслонял образ доктора Грейсона, к которому я по-прежнему испытывал необъяснимую привязанность, совершенно несвойственную для меня преданность.

Так что моральная сторона моего пребывания в Нове меня как будто не тяготила. Личная — тоже. Я был по-моном, давшим обет безбрачия, и не оставил семьи. Родители мои давно умерли. Пока, правда, я не знал, каковы будут здесь, в Нове, мои обязанности, но доктор Грейсон еще в первой беседе намекнул, что они будут не слишком отличными от тех, кои я имел в качестве полицейского монаха Первой Всеобщей Научной Церкви. Нас учили когда-то, что налгия одновременно едина и дробна. Едина она как единый организм, со Священной Машиной в центре, которую создали и пустили в ход отцы-программисты на основе Священного Алгоритма, и всеми прихожанами, связанными с Машиной информационными молитвами. Дробна же она потому, что каждый из прихожан несет в себе частицу Алгоритма и, будучи оторван иногда от Машины, может один вмещать в себя всю Церковь. Отцы-программисты называли эту дробность эффектом святой голографии. Как известно, если разбить голографическую фотопластинку на множество кусочков, каждый из них будет содержать в себе все то, что было на всей пластинке. А патор Браун говорил еще короче: «Если хочешь сохранить цельность, попробуй вначале разбить».

И вот я никак не могу воплотить в жизнь эффект святой голографии. Я оторван от Машины, я не могу вознести ежедневную инлитву, и я чувствую, как Первая Всеобщая ускользает от меня все дальше и дальше. Я даже не могу заставить себя больше сомневаться в ка-

нонах Алгоритма, а без сомнения нет веры. Почему? Я еще не решил, но знал, что должен решать, если не хочу потерять себя в человеческом море. Обо всем этом я думал, пока ожидал доктора Грейсона.

— У меня к вам просьба, мистер Дики,— сказал доктор.

— Слушаю вас.

— Я вам уже объяснил смысл существования Новых и правила поведения сотрудников. Мы настолько удалены от цивилизации в прямом и переносном смысле, что эти правила мы называем Законом, и всякое серьезное нарушение Закона ведет к встрече с муравьями. Вы уже знаете, что это такое. Мне не интересен вопрос, гуманно ли это, справедливо ли и так далее. Нова — замкнутый мир, а всякий замкнутый мир, то есть общество, цивилизация, может функционировать успешно лишь при условии соблюдения определенной дисциплины. Держится дисциплина на страхе, будь то страх перед речным духом, костром инквизиции или уголовным кодексом. У нас строжайшее соблюдение Закона особенно важно, потому что мир не должен знать о нашем существовании. Мир не готов, не созрел для моих идей, и я должен ждать здесь, пока он не возмужает, чтобы смотреть в глаза истине. А истина заключается в том, что идея прогресса и гуманизма завели цивилизацию в тупик. Идея прогресса, дорогой мистер Дики, одна из самых абсурдных идей в истории человечества. Пока человек не алкал перемен и не надеялся на улучшения, он был спокоен. Идея прогресса принесла с собой надежды и иллюзии, которые всегда разбиваются и наполняют мир людьми беспокойными, разочарованными, неудачниками, готовыми на все.

Наиболее умные люди начинают понимать эту простую истину. В частности, ваши отцы-программисты, как вы их называете. Они поняли, что наука, отобрав у людей бога, совершила одну из самых подлых краж. И теперь они пытаются вернуть краденое, создав вашу Первую Всеобщую Научную Церковь. Вы согласны со мной, мистер Дики?

— Да, конечно,— сказал я. Я все еще не мог спорить с ним, да и не хотел. Может быть, его слова о гуманности, справедливости и встрече с муравьями не следует понимать так уж буквально...

— Ну вот и отлично. Вы должны простить меня за

целый доклад, но здесь, в нашей глуши, я всегда цепляюсь за каждую возможность поговорить с новым человеком... Скажите, мистер Дики, ваша налигия не мешала вам выполнять ваши функции помона? Я имею в виду следующее: вы получили задание узнать что-нибудь о ком-нибудь. Вы должны следить за людьми, проникать в их помыслы, выпытывать что-то. Как смотрит налигия на вторжение в чужую жизнь?

— Как помон я был орудием Церкви, глазами и руками Машины, выполнял ее приказы. Что же касается философско-этической стороны, то у нас в налигии существует один очень важный принцип, так называемый закон сохранения социальных категорий. Он гласит: если убавляется какая-то социальная категория, обязательно прибавляется другая. Если чья-то личная жизнь в результате моих усилий в качестве помона становится менее личной, то есть если категория приватности убавилась, жизнь другого человека стала более спокойной. Теряется доля свободы, возрастает доля организованности. Теряется доля счастья, возрастает доля знаний. Теряется доля материальных благ, возрастает доля духовных, и так далее. Из этого закона вытекает другой принцип налигии, так называемый закон сохранения эмоций, но это уже несколько другое дело...

— Благодарю вас за объяснения. Они меня вполне устраивают. Я спросил вас, потому что хочу поручить вам довольно деликатное дело. Одно из основных положений нашего Закона категорически запрещает покровительницам чрезмерно развивать слепков младенческого возраста. Если в это время не давать достаточно пищи их уму, они вырастают практически животными, знающими несколько десятков слов. Так вот, у меня возникли подозрения, что старшая покровительница Изабелла Джервоне нарушила в какой-то степени это правило. Слепок Лопоухий-первый, восемнадцати лет, как мне доносят, активнее, живее и разговорчивее большинства других слепков. Вам предстоит проверить это с двух сторон: со стороны самого слепка и со стороны мисс Джервоне. Действительно ли этот слепок поднимается над животным уровнем других слепков, и если да, то какая вина в этом Изабеллы Джервоне. Времени я вам даю всего два-три дня, потому что слепок намечен для использования. Дело поэтому не в том, чтобы обезопасить себя от

него. Будучи использованным, он уже больше не существует. Важно, чтобы ни одно нарушение Закона не осталось безнаказанным. Поторопитесь, потому что, если мы используем Лопухого, старшая покровительница получит возможность все отрицать и мы ничего не сможем доказать. Как вы все это проверите, дело ваше.—Голос доктора Грейсона на мгновение стал угрожающим.—Но я надеюсь, вы постараетесь. Жду вашего доклада через два, самое позднее — три дня.

Доктор Грейсон кивнул мне. Я понял, что беседа закончена, и вышел из его комнаты.

Станный он все-таки человек, думал я. Станный и сильный. Я всегда считал себя человеком легким и добродетельным и, казалось, должен был возмутиться некоторыми идеями доктора Грейсона, да и представить себе наглядно встречу с муравьями — не слишком вдохновляющая картина. И все же он притягивает меня. Может быть, потому, что он как бы замкнут на себя. Он себе и закон, и право, и мораль.

Может быть, и мои мучения в темной сурдокамере нужны были, чтобы я лучше понял его? Что ж, в этом была какая-то логика. Он пытался очистить мой мозг от предыдущих впечатлений, сделать его восприимчивее, чтобы легче врезать в него свою систему ценностей.

Я думал об этом спокойно, не испытывая никакого возмущения. Я вообще заметил, что не могу испытывать гнев и возмущение в адрес доктора Грейсона, даже если бы старался их вызвать в себе.

Я нашел группу слепков, в которой был и Лопухий-первый, на теннисных кортах, где они разравнивали трамбовкой только что насыпанный песок. Я учтиво поздоровался с ними, и вся их группа замерла, испуганно глядя на меня. Их было человек пятнадцать, большей частью молодых людей в возрасте от пятнадцати до тридцати лет. И мужчины и женщины были одеты в одинаковую одежду — шорты цвета хаки и такие же рубашки. Все они без исключения были загорелыми и буквально сочлились здоровьем. Видно было, что работа — не только та, которую они выполняли сейчас, а вообще работа — использовалась здесь скорее для того, чтобы поддерживать их в хорошей физической форме.

И все же слепки производили тягостное впечатление. Я даже не мог сразу определить, чем именно. То ли тупы-

ми лицами, то ли пустыми глазами домашних животных, то ли оцепенением, в которое их, очевидно, погрузило мое приветствие.

— Кто из вас Лопоухий-первый? — спросил я. Мне хотелось посмотреть на него вначале самому.

Из группы тотчас же вышел красивый юноша лет семнадцати-восемнадцати с длинными светло-каштановыми волосами. Он стоял передо мной, опустив голову, и медленно переминался с ноги на ногу.

— Как тебя зовут? — спросил я, как спрашивают обычно совсем маленьких детей, чтобы завязать с ними разговор.

Слепок вздрогнул, словно его ударили, и быстро взглянул на меня.

— Как тебя зовут? — повторил я. — Тебя. — Я показал пальцем на него.

— Лопо-первый, — пробормотал он.

— Ты меня знаешь?

Лопо-первый снова поднял глаза. Видно было, что он старается понять, о чем я его спрашиваю.

— Что вы делаете?

Этот вопрос он, наверное, понял и довольно улыбнулся. Он как-то забавно вытянул губы трубочкой и довольно похоже изобразил поскрипывание тяжелого катка.

— Кушать хочешь?

— Катать, — показал он мне рукой на каток.

— Работайте, ладно, — кивнул я, и они дружно, как автоматы, повернулись к катку.

Мне было, разумеется, жаль их, но к жалости примешивалась брезгливость. Действительно, при всем желании назвать их людьми было бы трудновато.

Судить о Лопоухом на основании нескольких минут наблюдений было, конечно, трудно, но пока что не похоже было, что он большой говорун.

Я пошел к доктору Халперну, которому был представлен доктором Грейсоном, и попросил у него бинокль, миниатюрный микрофончик, который можно было бы вмонтировать в бинокль — я знаком немного с этой техникой, — магнитофон и пленку, фотоаппарат и фотопленку.

Прежде чем вставить микрофон в бинокль, я решил использовать вначале бинокль по его обычному назначению. Я устроился метрах в ста от кортов, так что слепки не видели, и принялся наблюдать за ними. Они довольно

исправно выполняли свою работу, и чувствовалось, что она им привычна. Мой подопечный работал рядом со светленькой тоненькой девушкой. Через пять минут я уже был уверен, что она ему нравится. Он то и дело задевал ее то плечом, то локтем, то нарочито напрягался, показывая, как он работает. Она, наверное, принимала его ухаживания охотно. Во всяком случае, она не отталкивала его. Похоже было, что остальные слепки, даже те, кто был старше его, признавали его главенство. Это чувствовалось и по тому, как бесцеремонно он отталкивал тех, кто, как ему казалось, мешал ему, и по тому, как он покрикивал.

Но это еще ровным счетом ничего не значило. В любой группе всегда появляется свой лидер, и вовсе не обязательно, чтобы он был самый старший. Важно, чтобы он был альфой, чтобы обладал качествами, делающими его лидером. Мне казалось, что он должен охотно взять бинокль. В нем должно быть и любопытство и смелость. Или он настолько туп, что не заинтересуется даже биноклем? Посмотрим.

Глава 12

С мисс Джервоне было гораздо сложнее. Надо было вначале придумать повод для разговора с ней.

Я нашел ее квартиру во Втором корпусе и тихонько постучал в дверь.

— Кто там? — раздался недовольный женский голос.

— Дин Дики, бывший полицейский монах Первой Всеобщей Научной Церкви.

— Одну минутку...

Мисс Джервоне отперла дверь и подозрительно посмотрела на меня. Ей было, пожалуй, за сорок, и ее очень темные волосы начали седеть. То ли она и не вступала в борьбу с возрастом, то ли проиграла сражение и сдалась, но никаких следов косметики или войны с сединой видно не было. Да и платье ее было старомодно, начала восьмидесятых годов. Весь облик ее, каждая черточка ее лица, каждый жест — все говорило, что передо мной старая дева, давно примирившаяся с одиночеством.

Я улыбнулся ей со всем обаянием и скромностью, на которое способен экс-помон.

— Мисс Джервоне, мне сказали, что вы — старшая покровительница, а такой новичок, как я, больше всего нуждается в хорошей покровительнице. — Я хотел было еще спросить ее, не принадлежит ли она, случаем, к Первой Всеобщей, но подумал, что она, скорее всего, католичка.

— Это верно, я — старшая покровительница, но я ведь работаю с детьми...

У нее были плотно сжатые узкие губы, чересчур густые брови и холодные, настороженные маленькие глазки. Не самое милое личико из тех, что я видел. Я полностью разделял ее явное нежелание вступать в беседу, но я выполнял свой долг. Я был ищейкой, направленной по следу. Ищейки же меньше всего руководствуются симпатиями или антипатиями.

— А я в некотором смысле дитя, — улыбнулся я и почувствовал отвращение уже и к себе. — Все здесь мне вновь, все необычно. Я слышал, что у вас добрая душа...

Старшая покровительница заметно побледнела и сжала руки, которые по-крестьянски держала на животе, так что костяшки пальцев побелели.

— Кто же это говорит, что у меня добрая душа? — испуганно спросила она.

«Или это качество здесь не слишком ценится вообще, — подумал я, — или она почувствовала намек на Лопу». Я сделал вид, что пытаюсь вспомнить: замолчал, наморщил лоб.

— Боюсь, мисс Джервоне, я не вспомню. — Я постарался улыбнуться виноватой улыбкой мальчугана, бывшего на уроке ответ.

— Ладно, мистер Дики, не морочьте мне голову! — вдруг взорвалась она. — Для чего вы пришли ко мне? Что я кому сделала? Если чего есть против меня — выкладывайте! Я, знаете, женщина простая и не люблю всякие такие подходики. «В некотором смысле дитя»! — передразнила она меня. — Что-то не похожи вы на дитя. Дитя, оно не лукавит, не вьется кругом да около. Вот вы сказали, что вы бывший полицейский монах. Я хоть многого не знаю про вашу веру, сама я католичка, да давно здесь, но, по-моему, в каждой вере главное — это прямота. — Она сурово посмотрела на меня.

— Простите, мисс Джервоне, я, право, не думал, что мой визит вызовет такие эмоции. Мне казалось, что

жизнь здесь довольно скучная и каждый новый человек должен вызывать по крайней мере любопытство. Я буду с вами честен: мне понравилось ваше лицо, и я слышал о вас только хорошее, вот я и решил познакомиться с вами... Но если вам неприятно... Я не знал, что люди здесь так подозрительны.— Я пожал плечами и повернулся, чтобы выйти, но голос старшей покровительницы остановил меня:

— Ну вот уж вы и обиделись. У меня, знаете, не убрано, я ведь не ждала...

Ее «не убрано» оказалось свирепой стерильной чистотой, блеском и сиянием, симметрией и порядком. На мгновение мне почудилось, что сейчас войдет моя покойная матушка.

Мисс Джервоне усадила меня за стол, покрытый жесткой, как жест, скатертью, и предложила чаю. То ли она смирилась со мною, то ли стала лучше скрывать свою подозрительность, но ее ледяная неприступность начала подтаивать на глазах.

— Вот вы сказали, что новые люди должны вызывать у здешних старожилов любопытство. Может, оно и так, мистер Дики, но только часто получается наоборот. Живешь здесь, живешь, да и заметишь вдруг, что совсем отвыкла от людей. Я ведь, знаете, больше с маленькими слепками работаю. Вначале, честно признаться, они мне людьми казались. Детки ведь маленькие. Ну, а потом привыкла, что они хуже животного какого. В животном тоже какая-никакая душа есть, а эти... так... Глаза пустые, мычат: «дай... есть... больно... иди...» — вот и весь разговор... Иной раз, кажется, и пожалела бы, да такие все они безмозглые, тупые, что только рукой махнешь.

Она выдавала себя, простая душа, уже тем, что так настойчиво подчеркивала характер слепков. Я решил перевести разговор со слепков, чтобы не вызывать подозрений.

— Но ведь люди-то здесь есть?

— Есть-то есть...— Мисс Джервоне выразительно пожала плечами, мне почудилась в ее жесте плохо скрытая стародавняя обида.— Но докторам я не ровня. Я ведь всего-навсего медицинская сестра. К тому же почти все они женаты и их клуши слишком все аристократичные, неинтересно им, надо думать, с какой-то сестрой... Вот так и привыкаешь к одиночеству. Вроде среди

людей, а словом перекинуться не с кем. И уж вроде и не нужно. Я ведь, знаете, тут целых восемнадцать лет... Восемнадцать. Ни больше ни меньше. Считай, почти вся жизнь. Я ведь сюда совсем молоденькой приехала...— Она замолчала на мгновение и улыбнулась недоверчиво, точно и сама не могла поверить, что была когда-то молодой.

— Чего ж вы не уехали? Насильно ведь тут, по-моему, никого из персонала не держат?

— Это верно, не держат. Но, знаете, тут уж, с другой стороны, все известно, все как-то идет заведенным порядком, а там,— она махнула рукой,— надо все начинать сначала. Да и отвыкла я...

— Наверное, и слепков все-таки жалко бросить?

Мисс Джервоне метнула на меня быстрый настороженный взгляд, и я понял, что старшая покровительница ни на секунду не расслабилась, не забыла об угрозе, которую она чувствовала в моем приходе, и все время была начеку, ожидая подвоха.

— Конечно, и их жалко. И квартиру эту жалко будет бросить. И климат, кажется, уж на что нелегкий: жара, да еще влажная—и с тем жалко будет расстаться.

Она уже вполне совладала с нервами и теперь, кажется, извлекала даже удовольствие из нашей беседы.

— Знаете что,— вдруг сказала она,— если вечером часов в восемь вы свободны, приходите. У меня будут несколько человек. Сегодня у меня день рождения,— улыбнулась она.— Какой по счету, это неважно, я ведь все-таки женщина.— Она изобразила на лице кокетливую улыбку, и я содрогнулся.

— Спасибо, мисс Джервоне, я очень ценю ваше приглашение. Я уверен, мы будем хорошими друзьями.— Я произнес это голосом, в котором было столько фальши, что он звучал твердо.

Глава 13

Короткие толстые пальцы доктора Халперна походили на сосиски, но прикосновение их было легко и уверенно. Сосиски скользнули по лбу Оскара, и пухлое сонное лицо доктора медленно сложилось в подобие улыбки. Он присел на стул около кровати.

— Как сегодня самочувствие?

— Как будто лучше,— неуверенно пробормотал Оскар.

— Ну вот и прекрасно. Завтра произведем вам капитальный ремонт, заменим кузов.

— Доктор, а эта операция... необходима?

Доктор Халперн снисходительно улыбнулся. Все было, все будет. Это уже спрашивали и будут спрашивать.

— Если вы согласны жить с ампутированной правой ногой, с высохшей правой рукой, которой не сможете даже застегнуть брюки, и с одной почкой, тогда — нет. Если же такая перспектива вас не устраивает, тогда операция неизбежна. Вы меня понимаете? Тут, по-моему, и думать нечего. Выкиньте сентименты из головы. Плюньте на них. Вытрите о них ноги. Жаднее будьте, эгоистичнее. Уверю вас, эгоизм очень полезен для здоровья.— Он усмехнулся: — Вы меня понимаете?

— Вполне, доктор. Я все это прекрасно понимаю, но... ведь мой... как его назвать... скажем, донор...

— Оставьте, мистер Клевинджер,— поморщился доктор,— вы слишком умны и развиты для этой чуши. Слепок — не человек. Он не имеет мало-мальски развитого языка, а следовательно, не мыслит. А раз он не мыслит, он не осознает себя и не проецирует себя в будущее. Он не живет в нашем человеческом смысле этого слова. Вы ведь не плачете каждый раз от жалости, когда разрезаете ножом сочный бифштекс, не мучаетесь угрызениями совести, когда надеваете кожаные туфли. А в чем, скажите, принципиальная разница?

— Да, но все-таки...

— Никаких «все-таки», молодой человек. Все, что вы говорите,— чушь, дурное воспитание, остатки вбитого в нас веками ханжества, когда детей учат плакать над засохшим цветком и восхищаться войнами, в которых погибли миллионы людей. Уверю вас, я не убийца. Если бы хоть на минуту у меня появились сомнения в том, что слепки похожи по своей духовной жизни на людей, я бы бежал отсюда в ту же секунду — пешком, ползком, как угодно. Поймите же вы: своими сомнениями вы только оскорбляете нас, работающих здесь. Неужели же вы думаете, что мы тут только ради денег? Нет, нельзя относиться к слепкам, как к людям. Они, повторяю, не люди.

— Но ведь они могли бы стать людьми?

— Взрослыми уже нет. Если ребенок не усваивает язык с самого нежного возраста, потом научить его невозможно. Это известно-уже давно, с первых достоверных случаев мауглизма.

— Мауглизма?

— Это мой термин. По имени героя повести Киплинга «Маугли». Но Киплинг ошибался. Ребенок, выросший в среде животных, никогда не сможет потом жить среди людей, как человек. Время упущено. То, что человек познает в первый год своей жизни, нельзя усвоить, скажем, в десятый. Точно установленных случаев мауглизма всего несколько. И во всех этих случаях у врачей, педагогов и психологов уходили годы, чтобы научить человеческого звереныша хотя бы ходить на двух ногах и соблюдать элементарнейшие нормы общежития. Время упущено. Слепки—это маугли. Безднадежные маугли...

— Но ведь они могли бы стать людьми, если бы вы искусственно не сдерживали их развития?

— Да, могли,—пожал плечами доктор Халперн.— Но вы бы тогда остались на всю жизнь калекой. Протез, даже хороший, только протез... Дело ваше, мистер Клевинджер, выбирайте. Ваш отец не колебался, когда менял себе тело... Выбирайте. Жалкий инвалид, отброшенный на периферию полноценной жизни, отказывающий себе в тысяче вещей, ловящий взгляды, полные брезгливости и предписанной жалости... Или тот Оскар Клевинджер, которым вы были до аварии монорельса. Дело ваше. И ваш отец, и доктор Грейсон все это вам, впрочем, уже объясняли... Вы просили привести показать вам вашего слепка. Вы не передумали?

— Нет,—слегка покачал головой Оскар.

— Прекрасно. Я бы на вашем месте поступил так же, хотя, увы, мои заработки не позволяют мне содержать своего слепка. Довольно дорогое удовольствие... Итак, сейчас вы увидите своего Лопо...

— Лопо?

— Да, это у него кличка такая. Вообще-то мы обозначаем для себя всех слепков номерами, но чаще пользуемся кличками. Лопоухий-первый, Лопоухий-второй, Лопоухий-третий. Столько, сколько слепков приходится на одного человека. Сейчас вы познакомитесь с вашим слепком номер один. Он всего на год моложе вас. Кроме того, мистер Клевинджер оплачивает теперь еще одного

вашего слепка, который выращен на десять лет позже. Мы храним ваши клетки и производим на свет слепки по указаниям хозяев. Ваш отец использовал пока только одного своего слепка, но есть еще двое, моложе... А вот и ваш Лопо. Не бойтесь, мистер Клевинджер, можете смело разговаривать при нем. Он ничего не понимает.

В дверях стоял молодой человек в шортах и рубашке цвета хаки и смотрел на Оскара. «Боже,—пронеслось у него в голове,—я этого ждал и все-таки этого не может быть!» Это был Оскар. Вылитый, повторенный до мельчайших деталей Оскар. Верно, волосы были чуть светлей, должно быть, выгорели на солнце, да и кожа покрыта тропическим загаром, но во всем остальном двойники не отличались друг от друга.

Оскар почувствовал, как к острому, даже болезненно-му любопытству, с которым он смотрел на слепка, примешивается покровительственная нежность, которую часто испытывает старший брат к младшему. А может быть, это была пронзительная жалость к самому себе, такому беспомощному, такому одинокому, такому никому не нужному здесь... Да, пожалуй, и не только здесь. И даже своей копии он не нужен. Наоборот.

Лопо стоял неподвижно, и взгляд его теперь был уже опущен, точно внимание его уже отвлечлось и его уже не интересовал человек, лежавший на кровати.

Но он думал, стараясь, чтобы волнение не выдало его: «Это человек. И это я. И Лопо;второй такой же, только меньше. Я стою сейчас. Я здоровый. Он лежит. Он больной. Значит, он не я. Но он как я. Это страшно. Я видел человека. Он был такой, как Жердь-первый. И Жердь-первый исчез. Потом он появился снова. Не больной. Без своей ноги. С твердой ногой. С твердой ногой плохо. Она снимается. Она плохая. Жердь-первый ходит плохо. Не бегаёт. Покровительница сказала: это протез. Я не хочу протеза. Но Лопо на кровати не заберет мою ногу. У него добрый глаз. В нем слеза. Плачут, когда больно. Покровительница говорит, плачут еще, когда к кому-нибудь очень мягкое сердце. Когда грусть. К кому у него мягкое сердце? Он ведь не знает Заики и покровительницы...»

— Лопо,—сказал доктор Халперн, нарушив затянувшуюся паузу,—подойди к кровати.

Лопо сделал два шага к кровати и снова замер.

— Ну как? — спросил доктор. — Недурен, а? Смотрите, какая мускулатура! Господи, я бы сам не отказался от такого кузова...

«Кузов... Что такое кузов?» — подумал Лопо.

— Почему он не смотрит на меня? — спросил Оскар.

— Он ведь не человек. Его внимание рассеивается. Ну, лежит человек на кровати. И все. Он стоит, а в его голове, наверное, лениво проплывают образы еды или работы, которую он делал. И все...

«Образы — это то, что я вижу, когда закрываю глаза. Как люди ничего не понимают. Почему они такие глупые?» — привычно подумал Лопо.

— И все-таки мне не верится, что он так бездумен, как вы говорите. — Оскар вдруг почувствовал прилив необыкновенной теплоты к парню, что молча стоял у кровати.

— Напрасно. Вы видите, он даже не смотрит ни на вас, ни на меня. Попробуйте, спросите его о чем-нибудь.

— О чем?

— О чем хотите.

— Лопо! — несмело позвал Оскар.

— Да, — ответил Лопо, поднимая голову, и Оскару почудилось — нет, он даже готов был поклясться, что не почудилось, — будто в его глазах блеснули живые искорки разума.

— Ты знаешь, кто я?

— Человек.

— Ты знаешь, зачем тебя позвали?

— Это слишком сложный вопрос, мистер Клевинджер, — сказал доктор Халперн. — Он его не понимает.

«Да, наверное, лучше помотать головой», — подумал Лопо и покачал головой.

— Вот видите, я же вам говорил...

— Лопо, посмотри на меня.

«Он хочет увидеть мои глаза. Это нельзя. «Прячь, прячь глаза, — говорит покровительница. — Делай их пустыми». Он изгнал из глаз всякое выражение — для этого он всегда думал о небе — и посмотрел на человека в кровати.

«Нет, похоже, что я ошибся. У него действительно пустые глаза. Но нет, я не мог обмануться. Видел же я, видел, как они вспыхнули на мгновение». Оскар почувствовал, как на лбу у него выступила холодная испарина.

— Доктор,— сказал он,— я устал. Я хотел бы заснуть. Операция будет завтра?

— Да, мистер Клевинджер, завтра. Сделать вам укол? Вы сразу заснете.

Почему этот толстый сонный доктор все время хочет сделать ему укол? Почему все хотят, чтобы он спал?

— Нет, спасибо. Я засну сам.

Оскар закрыл глаза и обостренным слухом больного услышал, как чуть скрипнула дверь. Боже, почему ему все дается так трудно? Почему он должен лежать сейчас и мучиться? Почему в нем нет решительности отца? Почему он должен думать, понимает что-нибудь Лопо или нет? Ничего он не понимает. Ходячий кусок мяса, доктор прав. А те искорки в глазах? Живые искорки, что мелькнули в глазах маленького несчастного слепка. Не сплошная же темнота у него в мозгах. Что-то ведь он понимает. Слышит, когда ему говорят. Выполняет какую-то работу. Что представляет для него мир? Ему, наверное, бывает и больно, и страшно, и тогда у него так же сжимается сердце, как у меня сейчас.

Он знал, что согласится на операцию, знал, что пройдет она благополучно, но боялся, что всю жизнь после этого будет чувствовать себя вором и убийцей. Вором, отнявшим тело у своего младшего брата, у несчастного младшего брата, которому так нужен был старший брат. Старший брат, который взял бы его за руку, разделил с ним страхи и горести, научил бы его. Младшему брату всегда нужен старший брат, но и старшему нужен младший...

Отцу не нужен был никто. Нет, он, конечно, был хорошим отцом, отличным отцом, образцовым отцом. О нет, он не уклонялся от своих обязанностей отца. Он интересовался делами Оскара, разговаривал с ним, читал ему. Он делал все, что положено отцу. Он вообще был человеком долга. И все-таки он был чужой. Ну почему, почему? — спросил себя Оскар. Может быть, он придирался, был несправедлив к отцу? Что отец сделал ему плохого? Ему, сестре или матери? Да как будто ничего.

И все-таки он был чужим. Он всегда знал, что делать. Его никогда не мучили сомнения. Он все знал. У него всегда были самые точные сведения. И самые солидные, добротные убеждения. Отличные, из высококачественных натуральных материалов, убеждения. Безработные —

бездельники. Им, разумеется, нужно помогать, чтобы они не умерли с голода и дети их должны иметь возможность учиться, но все-таки те из них, кто хочет работать, всегда найдут работу.

Да, конечно, у всех должны быть равные права перед законом, но всегда будут те, кто сумеет распорядиться своими правами лучше, и те, кто окажется за решеткой... И так всегда. Ни в чем никаких сомнений. И даже ритуальные сомнения налгии для него не сомнения. Раз он выбрал себе религию, значит, она самая лучшая.

Оскар вдруг вспомнил, как был болен. Чем же он болел? Неважно. Его комната. С левой стороны чучело птицы, наколотые на иголки бабочки под стеклом, большая таблица периодических элементов. Был вечер. Он лежал в своей кровати, ему было, наверное, лет пять, а может быть, и шесть, и вдруг почувствовал, как стены комнат начинают надвигаться на него. Маленькое сердчишко его вдруг наполнилось страхом и отчаянием. Он никогда не знал, что в человеке может сразу уместиться столько страха и отчаяния. Не испытанная им никогда до этого тоска запеленала его серым, холодным покрывалом.

Он не кричал, потому что не мог закричать. И все время ждал, пока кто-нибудь войдет в его комнату. Ждал трепетно, испуганно. И в конце концов дождался. Вошел отец, одетый в вечерний костюм.

Никогда в жизни Оскар не испытывал такой любви и такой благодарности. Стены перестали надвигаться на него, и тоска начала отступать, давая возможность прерывисто вздохнуть.

Отец наклонился, чтобы дотронуться до его лба — нет ли жара, — и Оскар уцепился за большую сильную руку, которая, как всегда, слабо пахла лавандой.

— Папа, папа, — пробормотал он, — побудь со мной! Не уходи, мне страшно. Сиди со мной...

— Но мне нужно идти, — сказал отец. — У меня еще много дел.

— Мне страшно... — молил Оскар и судорожно цеплялся за отцовскую руку.

— Глупости! — сказал отец твердо. Он поцеловал Оскара и вышел из комнаты.

Как, как мог он не почувствовать мольбы сына, не услышать отчаяния? Не разделить страх, не отгородить от тоски. Смог. Он всегда делал только то, что он, Генри

Клевинджер, считал правильным. Ибо только ему было дано право быть верховным арбитром.

И теперь. Отцу и в голову не приходит, что он может сейчас терзаться мыслями о завтрашней операции, что ему жаль загорелого Лопо, который завтра должен будет отдать свое целое тело калеке, лучше его только тем, что у него богатый отец, который может позволить себе держать для всей семьи ходячие запасные части. О, отец спит, наверное, сейчас, и сны у него спокойные, уверенные, как и он сам. Он спит спокойно. Он сделал все для сына. Он даст ему новое тело, не оставит его калекой. Он бросил все и прилетел сюда, к черту на кулички, чтобы у Оскара было новое, здоровое тело. Загорелое; крепкое тело. Какие вообще у кого-нибудь могут быть сомнения, если сам Генри Клевинджер сказал, что можно не сомневаться.

Нужно отказаться. Отказаться от операции. И остаться калекой. Но человеком. Потому что стоит пойти на компромисс с совестью один раз, как тут же возникает соблазн пойти еще раз. И еще раз. Шажок... Еще шажок... дифференциальное исчисление совести. И вот уже компромисс на компромиссе, и убеждения становятся такими гибкими, что вовсе не мешают жить человеку так, как ему удобнее. Как удобнее жить отцу.

Он снова явственно ощутил слабый запах лаванды. Бесконечно печальный запах. И рука отца — была ли это рука отца — удалялась от него, и он знал, что уже никогда не увидит ее. И он хотел закричать, потому что рука, исчезая, предавала его, оставляла наедине со страхом, но не мог, потому что тело больше не повиновалось ему. А может быть, у него уже больше не было тела и ему суждено остаться бесплотным духом, чувствующим лишь невыразимо печальный и слабеющий запах лаванды...

Глава 14

Каждый раз, когда Лопо бывало не по себе, он стремился оказаться возле покровительницы или Зайки. Но встречи с покровительницей были опасны, и они могли видаться редко, чтобы не возбудить подозрений. С Зайкой же было проще. Люди знали об их отношениях, и они всегда трудились в одной группе.

Вот и сегодня они работали вместе на прополке огорода, и само присутствие Заики уже успокаивало.

Он посмотрел на нее. Он посмотрел на нее сбоку. Она не могла видеть, что он смотрит на нее, но все равно тут же повернулась. Она всегда чувствовала на себе его взгляд.

Ее глаза улыбались, на лбу росисто блестели капельки пота. Если бы так могло быть всегда... Но из головы у него не выходил его двойник, бледное лицо с искусанными губами и напряженный взгляд, направленный на Лопо. Он смотрел так, словно хотел спросить о чем-то важном и почему-то не мог. Ах да, он же думает, как и другие люди, что Лопо — слепок, что у него мало слов и он ничего не понимает. Вот и решил спросить глазами, а не словами. Добрые глаза у человека на постели. Такие иногда бывают у покровительницы, когда она смотрит на него где-нибудь в укромном местечке, и у Заики. Влажные глаза. Нет, не слезы. Просто внутри они влажные. Сухие глаза жестче, а влажные — мягче. И потом, они вспыхивают изнутри. Когда видишь такие глаза, сердце сразу делается мягким и хочет выпрыгнуть им навстречу.

Еще с тех пор, когда Лопо был совсем маленьким и покровительница учила его запретным словам, он стал обращать внимание на глаза. Глаза слепков казались ему странными. Они были не такими, как у покровительницы или других людей. Они были пустые, совсем пустые, без дна, как круглое темно-коричневое озерцо за теннисными кортами.

Слепки бывали большей частью добры к нему. Когда он был маленьким, какая-нибудь женщина-слепок часто проводила рукой по его волосам, и ласка эта была ему приятна. Сверстники же побаивались его, потому что он соображал быстрее их и почти всегда оказывался в драках победителем.

Совсем еще малышом он заметил, что среди слепков многие похожи друг на друга, только моложе или старше, а среди людей этого нет. Он спросил об этом покровительницу. Она привычно испугалась, огляделась по сторонам — они разговаривали в лесу — и приложила палец к губам.

— Не знаю, Лопо,— сказала она,— это нам понять не дано. Может, доктор Грейсон и знает об этом, но ведь ты не пойдешь и не спросишь Большого Доктора. Не пой-

дешь ведь, Лопо? — В голосе ее слышалась и мольба и приказ. — Ни к Большому Доктору, ни к другим людям.

Лопо стало смешно. Он замечал, что даже люди боялись Большого Доктора, а чтобы он, маленький слепок, пошел без приказа к Большому Доктору и заговорил с ним...

— Но если у слепков и у людей всё по-разному, значит, они совсем не похожи? Почему же, когда они молчат и не видны глаза, никогда не различишь слепка и человека? Ты мне что-то плохо объясняешь, покровительница?

Покровительница улыбнулась, но улыбка была печальной.

— Ты прав, малыш. Слепки и люди совсем разные. Они и похожи, и совсем разные. Похожи они только внешне, ну, у них такие же головы, тела, руки, ноги, но главное — ведут они себя по-разному. Тут уж слепка с человеком никак не спутаешь. Разве ты сам не замечаешь?

— Я замечаю. Ты права, покровительница. Слепки говорят совсем мало. С ними скучно, не так, как с тобой. Я, когда вырасту, обязательно научу всех слепков разговаривать. Я ведь говорю совсем хорошо. Правда, покровительница?

— Правда, правда, мальчик мой, ты самый умный мальчик на свете, но помни, что никто не должен знать ни о твоих словах, ни о наших разговорах. И не забывай опускать занавесочки в глазках, когда с тобой разговаривают люди.

Лопо рос и о многом уже не спрашивал у покровительницы, потому что заранее знал все ее ответы. Не раз и не два он замечал, что, перед тем как исчезал кто-нибудь из слепков, в Нове появлялся их двойник-человек.

Как-то, несколько лет тому назад, Лопо заметил в лагере человеческого двойника Пузана. Пузан-слепок был один, у него не было братьев, и Лопо подумал, что Пузан скоро уйдет в Первый корпус. Многие и до этого уходили в Первый корпус, но никто никогда не возвращался оттуда целым. Или слепки не возвращались вообще — это, собственно, и называлось у слепков «уйти в Первый корпус», или возвращались не скоро, с твердой рукой или ногой или с болью внутри. Это называлось «сходить в Первый корпус».

Лопо подошел к Пузану, прозванному так за толстый живот, дернул его за рукав, и, когда тот обернулся, сказал:

— Ты скоро уйдешь в Первый корпус.

Пузан долго смотрел на него своими маленькими пустыми глазками, потом пропищал — у него был тоненький голосок:

— Никто не знает. Когда позовет Большой Доктор.

Лопо упрямо сказал:

— Лопо знает. Лопо — умный.

— Лопо — дурак. — Пузан поднял руку, чтобы ударить юношу, но Лопо легко увернулся. Даже смешно, как долго Пузан разворачивается, чтобы ударить, тут пять раз увернуться можно.

— Приехал твой человек-брат, — сказал Лопо. — Он заберет тебя в Первый корпус.

— Лопо — дурак, — пробормотал Пузан и ушел.

Через два дня Пузан ушел в Первый корпус и никогда не вернулся оттуда.

— Его позвал Большой Доктор, — шептали слепки. — Ему хорошо. Там много интересных вещей.

— Откуда вы знаете? — спросил Лопо.

— Раз оттуда часто не возвращаются, значит, там интереснее.

Слепки согласно закивали головами. До них доходили слухи о многих блестящих и интересных вещах в Первом корпусе. Те, кто возвращался оттуда с твердыми ногами или руками или зашитым животом, рассказывали о них.

— Почему же не все остаются там? — спросил Лопо.

— Потому что не все заслужили. Надо хорошо себя вести и работать, чтобы Большой Доктор позвал совсем. Ты, Лопо, не попадешь туда. Ты не даешь спать.

— И все-таки я могу определять, когда Большой Доктор позовет кого-нибудь, — упрямо настаивал на своем Лопо, но все стали смеяться над ним.

Не смеялась только Копуха — медлительная женщина-слепок. Она дружила с Пузаном и теперь завидовала ему и чувствовала глубокую обиду. Сам Пузан ушел в Первый корпус, а ее не взял. А ей так хотелось поиграть блестящими интересными вещами...

Но прошел день-другой, и о Пузани все забыли, точно его и не было никогда и никто не подшучивал над его

толстым животом и не передразнивал тоненький голосок. И даже Копуха не вспоминала о нем, потому что на нее начал ласково поглядывать старший из двух Кудряшей.

Потом исчез и Кудряш.

Больше Лопо не заговаривал со слепками о братьях или сестрах-людях. Он скоро догадался, что путешествие в Первый корпус было вовсе не таким радостным событием. Он спросил как-то покровительницу:

— Скажи, а скоро я попаду в Первый корпус? Говорят, там интересно...

Она обхватила его голову руками и так прижала к себе, что ему стало больно. Голос ее дрожал, а глаза стали совсем влажные.

— Нет, малыш, нет, ты не попадешь туда никогда...

И чем больше он настаивал с капризным упорством избалованного ребенка, тем больше слез звучало в голосе покровительницы.

И вот теперь он чувствовал, что и ему предстоит Первый корпус. И страх, который когда-то заставлял дрожать голос покровительницы, теперь наполнял его, сжимал грудь, перехватывал дыхание, словно он слишком долго бежал без отдыха. Человек-брат на кровати. Вопрос в измученных глазах. Что он мог спросить у слепка? Что может слепок рассказать человеку, даже если это человек-брат? Лопо-то мог спросить его, должен был спросить его, потому что люди, наверное, многое могут рассказать слепкам, но он никогда не спрашивал людей. Что-что, а этому покровительница его научила.

Но что было делать? Лопо и в голову не приходило, что можно бежать, что мир простирается во все стороны от Новы. В его представлении Нова тянулась далеко-далеко, за Твердую землю, где иногда режут металлические, неживые птицы. И везде есть люди, везде есть слепки. И то, что происходит в Нове, происходит везде. Да и вообще сама идея, что можно сделать нечто такое, что никто другой не делает, слепкам в голову не приходила. И хотя Лопо не был похож на остальных слепков, он уже примирился с судьбой.

Он подумал вдруг о Заике, о том, что ее будут обижать, когда он уйдет в Первый корпус. Он не раз ловил завистливые и сердитые взгляды, которые бросали в ее сторону женщины-слепки, среди которых особенно выделялась Копуха. С тех пор как Пузан и Кудряш ушли

в Первый корпус и так и не взяли ее с собой, характер ее заметно испортился и она часто спорила. Ей казалось, что другие работают меньше ее.

Бедная маленькая Заика... Он вдруг вспомнил обезьянку барригудо, которую кто-то поранил и она оказалась на земле, не в состоянии двинуться. Она смотрела на Лопо, и в глазах ее ужас смешивался с надеждой. Лопо решил найти банан, чтобы покормить черную, толстенькую обезьянку, но когда он вернулся, ее уже не было.

— Заика! — позвал он, и она тут же разогнулась и подошла к нему.

Поблизости никого не было, и он нежно положил ей руки на плечи. Она подняла на него свои большие светло-серые глаза, и в глазах тлели влажные искорки.

— Заика... — пробормотал он, и голос его дрогнул, как часто дрожал голос у покровительницы, когда она разговаривала с ним. — Я, наверное, скоро уйду в Первый корпус, я не увижу больше тебя.

Искорки выкатились из глаз Заики двумя слезинками. Она медленно провела ладонью по щеке Лопо, как будто хотела убедиться, что он еще здесь, рядом с ней, живой.

— Нет, — тихо сказала она.

— Что нет?

— Нет! — упрямо повторила девушка.

— Что нет, девочка? Скажи мне. Я люблю слушать твой голос. Даже когда ты молчишь, я часто слышу твой голос. Он... он хорош для слуха. И для сердца.

— Нет, не надо идти в Первый корпус. Я не хочу быть без тебя.

— Но меня позовут. Я сам видел человека-брата, к которому меня привели. Он слабый, он лежит в кровати. Ему больно. А когда приезжают больные люди, слепка-брата или слепка-сестру обязательно берут в Первый корпус. Так уж устроено. Я часто спрашивал себя, почему это так, но я не знаю. Это тайна.

— Нет, — снова сказала Заика, и ее маленькая шершавая ладонь еще раз прикоснулась к щеке Лопо. — Я пойду в Первый корпус.

— Нет. Так не бывает. Если приезжает больной мужчина, к нему ведут его брата. К женщине — сестру. Таков закон.

— Что такое закон, Лопо?

— Это такой порядок, при котором все... как тебе объяснить, малышка... При котором все есть, как есть.

Лопо подумал, как изменилась Заика за последнее время. Когда-то совсем молчаливая, она все чаще спрашивала его о словах, и в бездонных озерцах на ее загорелом личике все чаще мелькали живые искорки. И вот сегодня она сказала, что не хочет отпускать его в Первый корпус. Она уже думала не так, как другие слепки, и Лопо смутно казалось, что изменения в ней как-то были связаны с ним.

Он помнил время, когда она была совсем как обезьянка барригудо — такая же неторопливая и степенная. Барригудо только толстенькая, а Заика всегда была худышкой. Нет, барригудо и то говорливее, чем она была раньше. Чуть нагнет голову и слушает, слушает его, не перебивая, и не поймешь, то ли слушает, то ли ушла, нырнула на дно своих озер и дремлет там рыбкой.

— Заика, я хочу сделать тебе подарок. Вот смотри, это дал мне новый человек.

— Тот, что в кровати? — с отвращением спросила Заика.

— Нет, другой. Он не звал меня. Он сам приходил. Это очень хорошая вещь. В нее смотришь, а она все приближает. Я видел такие вещи у людей, но сам никогда в нее не смотрел. Попробуй.

Он дал ей бинокль, и она с его помощью приложила окуляры к глазам.

— Ой! — воскликнула она, выронила бинокль, и Лопо поймал его на лету. — Деревья прыгнули на меня.

— Глупенькая, — сказал Лопо. — Как же они могли прыгнуть на тебя, если они остались на месте. Смотри. Просто эта штука приближает их. Видишь?

— Нет, они прыгнули. Сразу прыгнули на меня, — покачала головой Заика.

— Ну ладно, — засмеялся Лопо, отнимая бинокль, — а теперь где деревья?

— Теперь они прыгнули обратно.

— Хорошо, малышка, теперь я смотрю в бинокль. Деревья прыгнули ко мне и стоят совсем близко. А ты посмотри на деревья. Где они? Близко или далеко?

— Далеко.

— А для меня близко. Как же деревья могут сразу быть и близко и далеко?

Лопо посмотрел на наморщенный лобик Заики — он любил, когда она морщила лоб и брови у нее смешно поднимались,— и засмеялся.

— Это все эта штука. Это очень ценная вещь — ни у кого из слепков нет такой,— и я хочу, чтобы она осталась у тебя...

— Почему новый человек дал его тебе?

— Не знаю. Я сам думал. Не знаю. Он приходил ко мне. А потом принес эту вещь. Она называется би-нокль.

— Может быть, это дурная вещь?

— Нет, малышка. Ты же видела, она приближает все, на что посмотришь.

— Ты все знаешь, Лопо. Ты — самый умный. Я сохранию тебе би-нокль, пока не придешь...

Лопо тяжело вздохнул. «Пока не придешь...»

Глава 15

Уже в который раз с тех пор, как я очутился в Нове, мне остро захотелось совершить погружение. О, я пробовал не раз, но так и не мог погрузиться. Я напрягался, призывал на помощь все семь известных способов погружения, но с таким же успехом надутый мяч может мечтать о том, чтобы опуститься на дно. Я даже не мог понять, что исчезло. Мне казалось, что я делаю все как положено, что еще минута-другая — и я все-таки начну погружаться в гармонию, услышу желанную гулкую тишину. И — ничего. Даже палец, казалось, я не мог омочить в гармонии. Да и существовала ли она вообще, эта гармония? Были минуты, когда я начинал в этом сомневаться. Ведь есть вещи, которые надо ощущать, думать о них нельзя, ибо мысль часто убивает то, на что направлена.

Уже больше месяца не подставлял я себя очищающему току кармы, и ощущение скрипящей чистоты оставалось только в памяти, во сне. Во сне я снова чувствовал себя промытым, новым и успокоенным. Проснувшись, я слышал, как каждая моя клеточка кричала: грязь, грязь, мы гибнем в грязи, мы задыхаемся...

Мне не нужно было ломать себе голову, отыскивая причину. Я знал, что служит поплавком, не дающим мне погрузиться. Сурдокамера и мое странное подчинение доктору Грейсону лежали на одной чаше весов, на дру-

гой — невозможность погружения. Одна половина ясно видит, что вторая делает не то, что свойственно мне, по-мону Первой Всеобщей Научной Церкви Дину Дики. Она — не я. Я не контролирую ее. Но она сильнее другой половины. Ее тащит и направляет сила бóльшая, чем я сам. Эта сила — доктор Грейсон. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что здесь происходит, но это осознание не идет дальше проклятой раздвоенности. Я исправно выполняю отвратительные функции шпика, я выпытываю у несчастной старухи Джервоне, не выучила ли она, случайно, очаровательного паренька, которого воспитывала, лишним словам. И выведываю у этого паренька, понимает ли он что-нибудь или остался простым слепком. И дарю ему даже бинокль со спрятанным крохотным микрофончиком. Bravo, брат Дики! Не зря пактор Браун годами рассыпал перед тобой перлы своей мудрости.

И, как случилось уже не раз за последние дни, попытка самоанализа вызывала у меня острую головную боль. Она начинала клубиться где-то в затылке. Легкое облачко. Потом боль становилась все тверже, рваные края облачка заострялись и уже нестерпимо царапали, скребли и рвали виски.

Я посмотрел на часы. Без десяти минут восемь. Пора собираться к госпоже покровительнице. Представляю себе ее день рождения и веселье. Если только можно было бы не пойти. Но рабская и более сильная моя половина и не собиралась оставаться дома. Она-то знала, что делать. Она знала, что надо включить магнитофон и послушать, не записалось ли что-нибудь. Если Лопо держал бинокль у себя на шее, микрофон работал исправно, и он с кем-нибудь беседовал, сейчас я услышу эту беседу.

Я посмотрел на счетчик метража. Аппарат включает-ся только при сигнале от микрофона. Счетчик показывал, что перемоталось двенадцать метров. Ну-ка послушаем, о чем беседуют молодые слепки, когда рядом нет людей. Я нажал кнопку воспроизведения. Послышалось шипение пленки и голос:

«Заика... Я, наверное, скоро уйду в Первый корпус. Я не увижу тебя...»

Заика — это та девчушка, что работала рядом с ним на кортах, машинально подумал я. И тут ясно понял, что Лопо — человек. В голосе его дрожала печаль и любовь.

Он: думал о том, что будет, а на это не способно ни одно животное. Он человек. Он знает, что его ожидает. Страдание знакомо и зверю и человеку, но человек, в отличие от животного, страдает вдвойне: от того, что происходит, и от того, что произойдет.

Моя рабская плененная половина жадно подалась вперед. Хозяин будет доволен, может быть, он даже потреплет по загривку верного пса, бросит мозговую кость. Ура, крамола раскрыта! Мальчуган наказан не будет. Он даже будет удостоен высокой чести — отдать свое тело мистеру Клевинджеру-младшему. А вот чудовищную преступницу, виновную в том, что научила человеческого малыша человеческой речи, скормят муравьям. Как они здесь это называют? Устроить встречу с муравьями. Прекрасно, справедливость наконец восторжествует. Первые за многие дни я вспомнил пактора Брауна. Он любил говорить о справедливости: «Бойтесь справедливости, которой добиваются с чрезмерным азартом. Подлинная справедливость мало кому нравится».

Головная боль стала нестерпимой, и я проглотил таблетку, запив стаканом воды. Я был неприятен себе до такой степени, что начинал испытывать отвращение ко всему, что брал в руки. Вода в стакане показалась мне тепловатой и тошнотворной.

Собачья моя половина подумала: когда лучше отнести пленку доктору Грейсону — сейчас или утром? Пожалуй, утром. Может быть, удастся что-нибудь выведать и у мисс Джервоне. Теперь, когда знаешь, что она все-таки виновна и тому есть доказательства, можно позволить себе поиграть с ней, как кошка с маленькой серой мышкой. Вторая моя половина заплотировала: браво! Какое рыцарство! Играть с немолодой глупой и несчастной женщиной, как кошка с мышкой, — браво, помни Дин Дики! Налигия будет вечно гордиться таким сыном...

Я почувствовал себя, как в худшие моменты в темной сурдокамере, — сознание, казалось, вот-вот покинет меня, и можно было только гадать, какая половина будет первой.

Я пригладил волосы перед зеркалом, взял приготовленный заранее букет цветов и вышел на улицу.

Воздух был теплый и влажный. Где-то вдали беззвучно вспыхивали зарницы. Жирные южные звезды сонно подрагивали в черном, мягком бархате неба. В такой ве-

чер надо прислушиваться к голосам природы и думать о бесконечности мира, а не предаваться пустой болтовне у глупой бабы, чтобы выведать у нее то, что она хочет скрыть.

Когда-то мне казалось, что если бы люди чаще смотрели в звездное небо и чаще ходили бы на кладбище, мир был бы намного лучше. Потом я узнал, что в обсерваториях астрономы свирепо грызутся из-за того, кому и когда смотреть в бесконечность, а кладбищенские сторожа отличаются неслыханной алчностью.

Гости уже все были в сборе. Доктор Халперн, казалось, еще больше растолстел с утра. Я подумал, что, если внимательно присмотреться к нему, можно заметить, как он раздувается на глазах. Я произвел несложные расчеты и пришел к выводу, что он должен лопнуть в ближайшие сорок восемь часов. Неплохо, неплохо, в мире оставались еще вещи, ради которых стоило жить.

Он сидел в кресле, полузакрыв глаза, и беспрестанно шевелил пальцами, сплетенными на животе. Строго говоря, это были не пальцы, а довольно толстые колбаски, и, по здравому рассуждению, было совершенно неясно, как они попали доктору Халперну на живот.

Рядом, тесно прижавшись друг к другу, сидели молоденькая младшая покровительница и ее супруг. Я не разобрал ни его имени, ни профессии. По-видимому, они были совсем еще свеженькими молодоженами, поскольку явно боялись расстаться друг с другом хотя бы на минуту. А может быть, они просто боялись, что партнер может убежать и не вернуться.

Сама мисс Джервоне была наряжена в самое нелепое и безвкусное платье из всех, которые я когда-либо видел, и лицо ее излучало приветливость, от которой могло скиснуть молоко даже в соседнем корпусе.

— Ой,— пискнула младшая покровительница, когда закончились представления,— значит, вы помон?

— Да. Во всяком случае, там, дома, я был им.

— А правда, что помоны дают обет безбрачия?

— Правда.

Она посмотрела на меня с невыразимым сожалением замужней дамы, смотрящей на неисправимого холостяка.

— А если полицейский монах влюбится?

— Тогда он постарается побороть свои чувства, а ес-

ли не сможет, тогда снимает с себя сан. Полицейский монах — это ведь не только профессия, но и сан.

Теперь наступила очередь молодожена. Он явно должен был утвердить свое мужское достоинство. Он откашлялся, и его супруга уставилась на него с выражением одновременно гордости и тревоги. Так матери смотрят на своих детей, когда те собираются прочесть перед гостями стихотворение.

— Скажите, мистер Дики, а как же вы работаете, если вам ничего за это не платят? Разве так бывает?

— Видите ли, именно поэтому мы, монахи, даем обет безбрачия. Для чего нам деньги? Жилье, одежда, пища — все это дает нам наша Первая Всеобщая Научная Церковь. — Я и не заметил, как скатился в торжественно-наравоучительный тон, который так не люблю в других.

— Ну, а потом? Что случается с помоном, когда он уже не может или не хочет служить церкви? — не унимался молодожен, и его жена посмотрела на него с некоторым беспокойством. В ее маленькой новобрачной головке, должно быть, промелькнула мысль, что если за ним не досмотреть, ее супруг вдруг может взять да и стать монахом.

— Если он достиг уже определенного возраста и прослужил определенное количество лет, Церковь будет содержать его до самой смерти.

— Что-то мы слишком много говорим и мало пьем и едим, — сонно пробормотал доктор Халперн и усердно занялся огромной порцией лозаньи, которую раскладывала по тарелкам мисс Джервоне.

Руки ее двигались быстро и ловко, она что-то говорила о том, как любит стряпать, о семейном рецепте приготовления лозаньи, но я вдруг заметил, что глаза ее испуганны. «Бедная мисс Джервоне, — подумал я. — Бедная, уродливая мисс Джервоне... Неужели же и ей предстоит познакомиться с красными муравьями?» И вдруг я осознал, что держу в своих руках ее судьбу. Ведь пленка с записью голоса Лопо — единственное доказательство его развития и, соответственно, ее вины. Завтра утром Лопо перестанет существовать, отдав свое тело Оскару Клевинджеру.

«Если бы я мог уничтожить эту пленку...» Но моя песня половина тут же бросилась доказывать, почему это невозможно. Доктор Грейсон спас мне жизнь. Я обещал

верно служить ему. Я взял микрофон, бинокль, магнитофон и фотоаппарат у доктора Халперна, объяснив ему, зачем мне понадобились все эти вещи. Он даже колебался. Сначала не хотел мне их давать, но когда я предложил обсудить эту проблему с доктором Грейсоном, он нехотя согласился.

И вот только сейчас я понял, почему ему не хотелось, чтобы я подслушивал за Лопо. Ведь если какой-то помон всего за несколько дней сумел получить доказательства серьезного преступления — во всяком случае, с точки зрения доктора Грейсона, — то это бросает тень в первую очередь на самого Халперна, который ни о чем не догадывался. А может быть, доктор Грейсон подумает, что Халперн знал, но скрывал, не хотел предавать свою знакомую? Они все здесь теряют дар речи, стоит только упомянуть имя шефа Новы. Да, если мистер Грейсон пришел бы к такому выводу, целые поколения огненных муравьев рассказывали бы о неслыханном пире...

Может быть, мне и следовало бы стыдиться спокойствия, с которым я обдумывал все эти хитросплетения, но... Брат Дики, сказал я себе, подумай о том, скольких они превратили в животных и скольких этих двуногих животных отправили на убой. Нет, мне нисколько не было стыдно! Я даже почувствовал вдруг прилив отвращения к этим людям. Я наклонился к доктору Халперну и не очень тихо сказал:

— Доктор, большое спасибо за помощь. Микрофончик влез в бинокль, как будто был для него специально сделан. В один окуляр, правда, ничего не видно, но я надеюсь, что Лопо меня простит.

Халперн продолжал молча расправляться со второй порцией лозаньи, но краем глаза я заметил, как напряглась и застыла на мгновение старшая покровительница.

— Все получилось как нельзя лучше, — продолжал я. — Записалось отлично. Я и не представлял себе, что слепок может так разумно разговаривать... (Теперь застыл уже и доктор Халперн.) Просто трогательно, как он разговаривал со своей подружкой.

— Тс-с, — прошептал доктор Халперн и с ненавистью посмотрел на меня. Отцы-программисты, куда только девалась его сонливость: он отодвинул от себя тарелку, пробормотал что-то о необходимости еще поработать дома и вышел.

— Бедный доктор Халперн...— вздохнула новобрачная, и я подумал, что она, может быть, вовсе и не такая дура, как я себе представлял.— Он столько работает, бедняжка... (Все-таки дура, успокоился я.) Он пошел домой работать,— продолжала младшая покровительница,— а завтра утром, говорят, у него операция. Я, конечно, не знаю, какие именно операции делает доктор Халперн, но, наверное, очень сложные. Он ведь такой опытный врач и блестящий хирург...

Она, должно быть, твердо была уверена, что и мисс Джервоне и я тут же кинемся передавать Халперну, как восторженно говорит о нем младшая покровительница Кальб.

Я снова посмотрел на мисс Джервоне. Она сидела не шевелясь, и лицо ее было страшно своей наготой. Все привычные ширмы упали, и занавески раскрылись. Это было лицо, искаженное целой гаммой чувств. Не надо было быть физиономистом, чтобы определить эту гамму: страх, скорее даже животный ужас, отчаяние...

Удивительный день рождения... Новобрачная продолжала что-то щебетать, но наконец и она уловила грозные разряды в воздухе.

— До свидания, мисс Джервоне,— вежливо сказала она,— было очень весело.

Старшая покровительница ничего не ответила, и супруги, крепко взявшись за руки, отправились домой.

Несколько минут мы сидели молча, потом мисс Джервоне вдруг повернулась ко мне:

— Зачем, зачем вы шпионите за мной и за Лопо? Что мы вам сделали? Откуда вы явились? — Голос ее охрип от ненависти.— Зачем? Что мы вам сделали? — Она замолчала, закрыла лицо руками, и плечи ее вздрогнули от рыданий.— Пресвятая дева Мария,— всхлипывала она,— сжался надо мной, зачем ты так жестока...— Она распрямилась, и в глазах у нее вдруг сверкнула безумная надежда.— Я пойду к доктору Грейсону... упаду перед ним на колени... признаюсь во всем, во всем... Да, я нарушила Закон, но он поймет. Он простит, он добрый, он все поймет... Столько лет...

Я медленно встал и вышел на улицу. Я больше ничего не понимал. Я запутался. Снова, как в темной клетке, я почувствовал, что разум ускользает от меня. О Священный Алгоритм, почему в трудную минуту ты перестал

служить мне, почему снова оставил меня одного в безбрежном мире, полном злобы, коварства, жестокости... Ведь я служил честно, служил, чтобы была в жизни опора, и вот ее снова нет... В голове бушевал настоящий вихрь: я жалел мисс Джервоне и презирал ее. Я жалел Лопо и жалел Оскара Клевинджера. Я презирал доктора Халперна и жалел его. Я ненавидел доктора Грейсона и тянулся к нему. Я презирал помона Дина Дики и жалел его...

Я вошел в свою комнату, почувствовал легкий запах сигары и рассмеялся. Запах сигары, которую курит Халперн. Какое ребячество! Неужели же он рассчитывал, что я не догадаюсь, куда делась магнитная пленка? Я зажег свет. Пленки не было. Ну что ж, по-своему он прав. Когда уже ощущаешь челюсти огненных муравьев, особенно выбирать не приходится...

Глава 16

Изабелла Джервоне остановилась около дома доктора Грейсона. Сердце ее колотилось, вот-вот выскочит из груди, дыхание — как всхлипывания. Боже правый, прости недостойную грешницу, защити в страшную годину, отведи рукой своей казнь, смягчи сердце доктора Грейсона! Он добрый, он мудрый, он блюдет Закон. Он ведь любит ее, ценит старшую покровительницу. Разве не ее он сам пригласил в первый ряд зрителей, когда Синтакиса привели на встречу с муравьями? Восемнадцать лет вместе, не один ведь день. И все ответственные задания — только ей, Изабелле Джервоне. Даже за Оскаром Клевинджером, за этим переломанным хлюпиком, и то ее с доктором Халперном посылали. И сколько раз жал ей руку и все видели! Жал руку и смотрел ей в глаза своими прекрасными глазами, и все в груди и в животе у Изабеллы обмирало и тянуло вниз. Он все поймет, поймет, поймет! Она выкрикнула последнее слово, и над запертой дверью вдруг вспыхнул яркий прожектор и выхватил ее из безбрежной темноты. Круглый динамик за решеткой кашлянул и спросил сонным голосом доктора Грейсона:

— Что случилось, мисс Джервоне? Уже второй час. Изабелла медленно опустилась на колени. На мгнове-

ние она вдруг подумала, что может испачкать праздничное платье.

— Доктор Грейсон,— прошептала она,— я нарушила Закон и научила Лопо-первого словам, я научила его таиться от людей...

Динамик за решеткой молчал, и Изабелла почти выкрикнула:

— Простите меня, доктор Грейсон, вы ведь... вы как отец... Он был такой маленький, такой хорошенький, глазенки круглые-круглые, и он все тянул ко мне ручки! — Она начала говорить быстро, захлебываясь словами, и больше не смотрела на динамик за решеткой. — Я сразу поняла, что господь сотворил чудо! Да, чудо он сотворил. Послал мне младенца. И хоть я его не носила во чреве, но выносила в душе. О, как сладостны были прикосновения его ладошек, маленьких, в подушечках...

Свет вдруг погас, и плотная темнота тропической ночи хлынула со всех сторон на Изабеллу. Она замолчала, провела дрожащей рукой по лбу, уперлась руками в бетон и медленно встала.

Ноги плохо слушались ее, и ей казалось, что вот-вот они подломятся и она упадет на грязный бетон и испортит новое, воскресное платье. А ведь тут в Нове с химчисткой сложно, ой как сложно! Здесь не чистят, отправляют куда-то. Сроки ужасные просто. Забудешь, что посылала.

— Его ладошек...— произнесла она вслух и торжественно запела: — Ма-аленьких, в подушечках...— Она оборвала себя и ударила по губам: — Дурочка ты, разбудишь ведь Лопо, спит малышка, пускай отдохнет...

Справа от нее темным кубом вырисовался на фоне неба Первый корпус. Одно окно светлеет. На втором этаже спит переломанный хлюпик, ждет ее Лопо. Это он, он погубил ее! Не человек он. Человек чужое тело не возьмет. Сатана он! В самолете, когда укол ему делала и он глянул на нее, она сразу и распознала: сатана и есть, враг человеческий...

Она перекрестилась и тихонько поднялась на второй этаж. Третья комната слева. Так и есть, отблеск адского пламени сочится из-под двери, желтый, фосфорный и серый тянет.

Осторожно — сатана хитер, ох как хитер! — она открыла дверь и вошла в комнату. На столике у изго-

ловья горел ночничок. Вот он, враг! Ишь ты, глаза открыл...

— Это вы, сестра? — спросил Оскар Клевенджер. Голос у него был совсем не сонный, и чувствовалось, что он не спал. — Сколько времени? А я, знаете, свое детство вспомнил, всякие глупости... — Оскар заметил воскресное платье Изабеллы. — Что это вы так разоделись?

Изабелла Джервоне не отвечала и смотрела на него странным и пустым взглядом. А может быть, ему это просто почудилось в слабом свете ночника. Он почувствовал, как нарастает в нем тревога. Что с ней, почему она пришла ночью в этом дурацком платье и молча глядит на него?

— Сестра, — хотел он сказать поосторожнее, но голос его дрогнул, — что с вами, ответьте!

«Боже, надо позвать кого-нибудь!» Он поднял руку, чтобы нажать на кнопку, но Изабелла бросилась вперед и упала на него. Его пронзила острая боль, и он на мгновение потерял сознание, а когда пришел в себя, почувствовал на шее сильные руки, которые сжимали ее.

— Попался, враг человеческий! Изydi, сатана, погибни!..

Оскар напрягся изо всех сил, пытаясь столкнуть с себя жаркое, бормочущее чудовище. Боль взорвалась в нем фейерверком, но теперь ему было уже все равно. Силы покидали его. И вдруг им овладело глубокое спокойствие. «Оказывается, — пронеслось у него в голове, — и не надо было мучиться, и не так все страшно...»

Когда она отпустила его, он уже не двигался. Она посмотрела на него и увидела, что ее Лопс спит.

— Тс-с, — прошептала она, — только бы не разбудить малыша... Вылететь бы птичкой из окошка, чтобы не проснулась крошка...

Она улыбнулась кроткой, удовлетворенной улыбкой, поправила одеяло на кровати, подошла к окну и распахнула створки. Бесшумно вспыхивали далекие зарницы, будто кто-то без устали все чиркал и чиркал по небосклону спичкой и не мог зажечь ее. Наконец-то ушла духота и потянуло ночной прохладой.

«А как подняться повыше, — подумала Изабелла, влезая на подоконник, — так там еще прохладнее».

Она шагнула в бархатную темноту.

...Телефонный звонок вплеся в его сон, какое-то мгновение жил в нем и тут же взорвал его. Доктор Грейсон взял трубку и, пока подносил ее к уху, уже понял, что что-то случилось.

— Доктор Грейсон, — слышался испуганный голос Халперна, — простите, что я вынужден был...

— Не морочьте мне голову, что случилось?

Как всегда, когда он ожидал неприятности, сердце у него пропустило такт или два и понеслось обезумевшей лошастью.

— Оскар Клевинджер...

— Что Оскар Клевинджер? Умер? — Доктор Грейсон еще контролировал свой голос, но чувствовал, что вот-вот раскритится.

— Его... задушили.

— Что вы несете? — крикнул Грейсон, но уже знал, кто задушил, знал, что сделал ночью чудовищную ошибку, когда к дому пришла обезумевшая Джервоне. Надо было немедленно вызвать охрану... Почему, почему это должно было случиться именно так? Почему все всегда сговариваются, чтобы вредить ему?

— По всей видимости, Изабелла Джервоне. Ее нашли под окном комнаты Оскара Клевинджера. Перелом основания черепа. Еще жива, но безнадежна. Без сознания.

— Кто знает о случившемся?

— Я, дежурный офицер охраны и дежурный врач.

— Ни слова никому. Сколько сейчас времени?

— Три часа ночи.

— Где мистер Клевинджер?

— В гостевом коттедже.

— Хорошо, ждите меня.

Он положил трубку и начал одеваться. На мгновение в его голову пришла мысль, что все это лишь дурной сон и стоит снова улечься, как весь этот кошмар растает в темноте. Нет, не растает. У других может таять, а у него, Джеймса Грейсона, не тает. Ему вообще не везет. Ни в чем. Все неприятности, какие только могут выпасть на долю человека, обязательно достаются ему. С самого детства. С отца. Улыбки никогда не видел он у отца. Ни он, ни брат. Прямо, строг, сух. Обращение — сэр. Забудешь — удар. Тыльной стороной руки по губам. Не очень больно. Очень страшно. Хныкающая, забитая мать...

Из кожи всегда вылезал, чтобы заслужить похвалу отца, но так никогда ее и не слышал. До самой смерти отца. И в гробу он лежал кислый, недовольный. Кто говорит, что у мертвых лица разглаживаются... Только не у отца его. Кислое, недовольное лицо с упрямо поджатыми губами. Как это он, Джереми Грейсон, не сможет больше учить жить сыновей и жену, не сможет больше поднять на них руку...

И такую радость избавления почувствовал тогда у гроба Джеймс Грейсон, что и сейчас, столько лет спустя, нестерпимый стыд наполнял его, когда вспоминалась эта бесстыжая, звериная радость.

Доктор Грейсон одевался и постепенно начинал осознавать, что ему действительно крупно не повезло. Это уже было не привычное кокетство, а предчувствие непоправимой катастрофы. Генри Клевинджер не даст ему житья. Единственный сын... И, говорят, любимый. Наследник. И если бы просто умер... А то задушили... Разве что скрыть? С ним это вряд ли получится... Задушили его сына, и он возьмет Грейсона за горло...

Почему, почему это должно было случиться? Почему он не приказал задержать эту свихнувшуюся бабу? Почему раньше не устроил ей встречу с муравьями? Ведь догадывался, что выучила своего выкормыша. И этот кретин Дики. Потратил месяц на промывание мозгов, на гипноз. Кажется, воспитал хорошего работника. Почему он до сих пор не смог ничего раскрыть? Помон называется... Ничего, покормит муравьев, поймет, что здесь надо работать... Поздно, поздно. Строил, создавал, дело всей жизни, весь гений свой вложил в Нову, и теперь одна взбесившаяся дрянь ставит все под угрозу...

Он подошел к Первому корпусу. Дежурный офицер поздоровался с ним, Грейсон не ответил и быстро поднялся на второй этаж.

Халперн, казалось, похудел за ночь. Щеки его обвисли, глаза сделались больше, и вместо обычного выражения сонливого покоя в них жил ужас пойманного в капкан зверя.

Он вскочил при виде Грейсона и хотел было что-то сказать, но лишь беззвучно пошевелил губами. «Жирная свинья... Помощники называются. Каждый из них только спит и видит, как бы уничтожить меня,— подумал Грейсон.— Никому ничего доверить нельзя».

Он никогда не доверял людям. Они пугали его. Слова были лишь ширмами в кукольном театре, за которыми прятались хитрые безжалостные руки. Слова были пустой шелухой, а злое страшное семя оставалось скрытым в черепных коробках. Ах, если можно было бы их раскрыть и посмотреть, что там, вырвать злое семя, выскрести злобные паутины заговоров против него... Господи, почему люди думают, для чего?

Когда он много лет тому назад почувствовал, что вот-вот перешагнет границу, проходившую в биологии, и окажется в неведомой земле, где никто еще до него не был, первым его ощущением была ненависть. Как они все накинутся на его открытия, как будут урчать, отрывая от них кровоточащие куски. Гиены, шакалы. Корректные, респектабельные гиены и шакалы. А за ними ринутся орлы-стервятники в судейских мантиях, сутанах, протестантских воротничках и талесах. Как, жизнь в пробирке? Священная жизнь? Жизнь, которую два миллиона лет человек пытался отнять друг у друга.

И он ушел из науки. Скрылся, исчез. Кое-кто покачал головой: да, жаль, у молодого человека, кажется, кое-что могло получиться...

Кое-что... Их трусливые, высохшие в университетских интригах мозги взорвались бы, если бы они узнали, чего он достиг. Но не для них. Не-ет, не для них! Не для святой науки, которая всю жизнь блудила, пыталась сохранить приличие при своей грязной игре. Себе, для себя. Здесь все создано им. Здесь каждый атом отобран, рассмотрен и одобрен им, Джеймсом Грейсоном. Крикливую и неверную суетную славу он променял на четкий, организованный мир Новы. И дело не только в миллионах, которые ему платят. Он бы согласился не получать ничего, лишь бы жить в четком, совершенном мире, который вращается вокруг тебя, когда ты — Закон, ты — центр, ты — начало и конец. Маленький островок порядка в море энтропии. Он, Грейсон, в центре. Помощники. Охрана. Врачи. Покровительницы. Сестры. Рабочие. Слепки.

Островок, прекрасный в своей гармонии и неизменности. Островок без нелепой идеи прогресса, которая отравила западную цивилизацию, отняла у нее бога, вселила в души людей грызущую их неудовлетворенность, недовольство собой и миром...

И вот теперь все под угрозой. Из-за уродливой, рехнувшейся дуры. А ведь казалось, что она всегда смотрела на него восторженно-преданным взглядом, который он так ценил. Нет, не только словам, и глазам доверять нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя...

Грейсон посмотрел на Халперна. Ему захотелось ударить помощника, отхлестать его по жирным, отвисающим щекам, чтобы они вспыхнули красными пятнами, чтобы звук ударов был сочным и вкусным.

— Я думаю...— неуверенно начал Халперн, и Грейсон тут же оборвал его:

— С каких это пор? Не поздно ли?

Халперн с трудом проглотил слюну, и кадык его судорожно дернулся:

— Выход... из положения...

— Вы-то выйдете. На встречу с муравьями. Можете в этом не сомневаться.

— Мы выиграем время... А может быть...

— Что «может быть»? Как?

— Мы сделаем операцию. Так, во всяком случае, будет думать Клевинджер.

— Что вы несете?

Халперн осмелел. Голос его окреп, и он уже говорил увереннее:

— Мы берем Лопо, делаем ему прическу покороче, как у Оскара Клевинджера. Я сделаю ему на шее небольшие надрезы, зашью их. Утром, когда появится мистер Клевинджер, мы скажем, что операция в самом разгаре. Он будет сидеть и ждать, а в это время мимо него провезут каталку. Тот, кто будет рядом с ним, попытается отвлечь его внимание, но Клевинджер все равно заметит то, что нельзя будет не заметить: тело под простыней будет без головы. Через час или полтора ему разрешат лишь заглянуть в дверь. Его сын Оскар Клевинджер будет спокойно спать. По своему собственному опыту Клевинджер-старший знает, как медленно идет выздоровление, как медленно прорастают нервы. Первое время и говорить ведь нельзя, поэтому мистер Клевинджер улетит в полной уверенности, что операция прошла успешно, и будет ждать сына дома.

— А дальше?

— Во-первых, Лопо не слепок...

— Не слепок? Это точно?

— Джервоне научила его говорить.
— Я знаю.
— Я предложил Дики подарить Лопо бинокль со встроенным туда миниатюрным микрофончиком. Все получилось как нельзя лучше, и Дики вчера поздно вечером передал мне запись. Лопо разговаривал с Заикой. Он говорит. Он рассуждает, экстраполирует... В нашем распоряжении будет пара месяцев, и мы постараемся подготовить Лопо для роли Оскара Клевинджера. Будут, конечно, какие-то шероховатости, но их можно будет списать на не совсем удачную операцию... Это, как вы понимаете, уже совсем другое дело. Я думаю, что с Лопо сможет подзаяться Дики. Лопо, похоже, ему доверяет больше...

— Немедленно сюда Лопо, Дина Дики, подготовить операционную.

Глава 17

Телефон зазвенел оглушительно громко, и я разом проснулся. Сердце у меня колотилось. Я нащупал в темноте трубку.

— Мистер Дики,— услышал я чей-то незнакомый голос,— немедленно явитесь в Первый корпус. Вас ждет доктор Грейсон. Пожалуйста, поторопитесь. Он ждет вас немедленно.

Я зажег свет и посмотрел на часы. Половина четвертого. Что им нужно от меня? Я торопливо оделся и помчался к Первому корпусу. У дверей стоял охранник. Он молча кивнул мне и рукой показал, что мне нужно подняться. На втором этаже я увидел доктора Халперна, и он сказал мне:

— Вторая дверь налево. Доктор Грейсон ждет вас.

Все происходило слишком быстро. Мои эмоции просто не поспевали за происходившим. Я толкнул дверь и очутился в операционной. Стол под огромной бестеневой лампой был пуст, но на маленьком узком топчанчике у стены лежало чье-то тело, покрытое простыней. Я смотрел на топчанчик и не сразу заметил доктора Грейсона, который надевал халат.

— Вы мне не завяжете сзади завязки? — попросил он, и меня поразил его голос.

Я начал молча завязывать тесемки хирургического халата и вдруг понял, что именно поразило меня. Впервые он попросил о чем-то. Он не вешал, не приказывал, он просил. Он не сказал «завяжите». Он спросил: «Не завяжете ли?» И стоял ко мне спиной. Боги и супермены никогда не поворачиваются спиной. Особенно если спина у них самая обыкновенная, как у доктора Грейсона. Я завязал последнюю завязку и молча разогнулся.

— Вы не догадываетесь, кто лежит там? — Доктор Грейсон кивнул на топчан.

И опять вопрос. Не изрекает, не вещает, а спрашивает. Я не знал. Я знал только, что там пока еще не я, не Грейсон и не Халперн. А кроме нас, там мог быть кто угодно. Странно только, что сначала в операционной появляется труп — а в том, что это был труп, я не сомневался, я видел их слишком много, — а врач только готовится. Обычно бывает наоборот.

— Это Оскар Клевинджер. Его убила в припадке безумия Изабелла Джервоне.

Я по-прежнему молчал. Вряд ли доктор Грейсон просто избрал меня конфидентом, который не может не поделиться со мной самыми свежими новостями. Отлично, выходит, отпраздновала свой день рождения Изабелла Джервоне...

— Как по-вашему, мистер Дики, сможет ли Лопо сыграть роль Оскара Клевинджера? Как вы прекрасно понимаете, это наш единственный шанс. Генри Клевинджер ничего не знает. Мы покажем ему спящего Лопо и скажем, что операция прошла успешно.

И опять передо мной был не всемогущий повелитель Новы, сумевший привязать к себе таинственными нитями по крайней мере половину моего «я», а обыкновенный человек, и в словах его сквозили беспокойство, надежда, просьба, как в словах обычного человека. И чары вдруг спали. Что-то лопнуло во мне, и две мои разрозненные половины соединились, как соединяется раздвоенное изображение в видискателе фотоаппарата, когда наводишь его на резкость. И я стал самим собой. И человек передо мной больше не имел надо мной власти. Он мог, разумеется, сделать со мной все, что ему угодно, но он уже не владел моими мозгами и моим сердцем. Передо мной был жалкий гений, и я больше не трепетал перед ним.

На малую долю мгновения я испугался. Меня охвати-

ла паника. Я освободился от заклатья, стал самим собой и, стало быть, принял на себя всю ответственность за свои поступки, мысли и чувства.

О, свобода не так-то проста. Освобождая, она закабляет. А совесть бывает куда более требовательным и придирчивым хозяином, чем даже рабовладелец. А мне было в чем держать перед собой ответ, ох как было...

А Грейсон, казалось, и не заметил того, что случилось. Он все еще вопросительно смотрел на меня.

— Спящий Лопо безусловно может сыграть роль спящего Оскара Клевинджера. Вот только загар...

— С этим мы что-нибудь придумаем. Может быть, свет...

— Тогда безусловно.

— А потом?

— Что значит потом?

— Спустя несколько месяцев, когда Лопо под видом Оскара придет время возвращаться домой?

— Не знаю...— Я действительно не знал. Идея была слишком фантастической, и она не сразу проникла в мой бедный маленький мозг... Отцы-программисты, чтобы Лопо стал Оскаром Клевинджером! Из Новы — в университет, а из слепков — в наследники Генри Клевинджера!

С одной стороны, мне не слишком хотелось, чтобы у доктора Грейсона что-то выходило. Я бы желал, чтобы он подавился очередным глотком воздуха, но у меня было смутное предчувствие, что вся эта затея как-то отразится на мне.

— Я хочу вас просить, чтобы вы взяли подготовку Лопо на себя. Я понимаю, какая эта задача, но вы, по крайней мере, совсем недавно попали в Нову. Вы лучше знаете мир. И для Лопо вы новый человек... А вот и он.

В комнату ввели Лопо. Он посмотрел на меня и не опустил тут же глаза. И занавесочки в них не задернулись. Он пришел в Первый корпус и знал, что больше никогда отсюда не выйдет. И можно было хоть раз в жизни не прятать глаза от людей. Он молчал, и я почувствовал, как во мне поднимается восхищение. Глаза его были печальны — должно быть, он думал о Заике, о покровительнице, об ощущении пота, высыхающего на лбу после окончания работы...

— Лопо,— сказал я,— я знаю, ты умеешь разговари-

вать. Ты знаешь слова. Ты хорошо скрывал это от людей, но теперь это не нужно.

— Я знаю,— сказал тихо Лопо, и в его голосе звучало достоинство, которого так не хватало мне,— я пришел в Первый корпус. Я знаю, что привезли моего больного человека-брата. А когда привозят человека-брата, слепок-брат уходит в Первый корпус. Я пришел.

— Нет, Лопо,— как можно мягче сказал я.— С тобой так не будет. Ты многого не понимаешь, но еще увидишь и твою Заику и других.

— Разве она тоже идет в Первый корпус? — спросил Лопо, и лицо его на мгновение потеряло выражение отрешенного спокойствия.

— Нет, ты увидишь ее не здесь.

— А, я понимаю. Мне дадут здесь твердую ногу. Протез...

— Нет, не беспокойся. Все будет хорошо.— В горле у меня стоял комок, и я никак не мог проглотить его. Я повернулся к доктору Грейсону: — Я вам больше не нужен?

— У меня к вам еще одна просьба. Через четверть часа мы начнем инсценировку операции и вызовем сюда мистера Клевинджера. Вы встретите его и посидите с ним в прихожей. Скажите, что состояние его сына резко ухудшилось и пришлось срочно провести операцию.

В голосе доктора Грейсона звучало беспокойство: сумею ли я сыграть свою роль. Священный Алгоритм, и этот человек совсем еще недавно владел моей волей, командовал мною...

Я вышел из операционной и уселся в кресло. Я не выспался, голова гудела, но я был полон торжествующей легкости. Потом, потом я буду думать, как все это случилось, а сейчас я был свободен, из моего носа исчезло кольцо, через которое доктор Грейсон продел было веревку и дергал меня, куда ему заблагорассудится. Дьявольская эта вещь — темная сурдокамера, если с ее помощью, без побоев и пыток, они сумели заполнить мой разум и командовать мною, как заводным человечком. Отцы-программисты, неужели же это я шпионил за несчастным пареньком, которого одиночавшая в здешнем аду простая женщина научила словам и научила прятать глаза от людей? Мне было бесконечно стыдно, но стыд не тяготил меня, он очищал меня, как поток кармы.

Я подумал, что лучшего времени для погружения у меня не будет никогда. Я не сомневался, что теперь уже сумею погрузиться в гармонию быстро и карма отмоет меня от всей накопившейся во мне дряни.

Я закрыл глаза и начал расслабляться, так, чтобы волна мягкой теплоты поднималась от самых кончиков больших пальцев ног. Мне не нужно было прилагать для погружения какое-либо сознательное усилие. За тысячи погружений оно стало для меня таким же естественным, как дыхание, ходьба.

Вот уже теплая волна расслабления, которую мы называем сбрасыванием балласта, коснулась кончиков пальцев на ногах и плавно покатилась вверх, оставляя за собой ничто. Еще минута, и наступит полное отрешение, я окунусь в гулкую тишину, отыщу свое место в гармонии и окунусь в ток кармы. О, как я буду купаться в ней, как буду подставлять ей каждую клеточку, каждый атом свой!

И вдруг вместе с тревожным сжатием сердца я почувствовал, что не могу отрешиться. Перед глазами у меня стояло лицо Лопо. Я вздохнул. Если в момент отрешения сознание разрывается, значит, ты не готов к погружению. Это очень опасное состояние. Пактор Браун говорил: «Погружение — духовная пища, без которой нельзя обойтись. Но если уж ты начинаешь обходиться без нее, вряд ли ты скоро почувствуешь голод».

И все же в отличие от предыдущих дней, когда я тоже не мог погрузиться, сегодня я не испытал шока. Не было почему-то ощущения потери. К своему удивлению, я почувствовал, что не потерял даже странного ощущения торжествующей легкости, которое испытал, выйдя из операционной.

Когда-то такое ощущение уже овладевало мною. Когда-то давно. Совсем давно. Да, это было давно. Отец уже умер. Я остался совсем один. Мать не замечала меня. Она считала меня сыном отца, а отцу она — так мне казалось — не могла простить нашей жалкой квартирки, где было так тяжело поддерживать симметрию, долгих месяцев болезни, молящий и жалкий его взгляд, нищеты.

Я жил тогда практически на улице, и асфальтовый мир был единственным миром, который я знал. Я знал, как пахнет разлагающийся на солнце мусор, как пахнет рвота нарков, как пахнет облупившаяся штукатурка.

Был жаркий летний день. По двору и мостовой были разбросаны голубые озерца, но я знал, что это мираж. Воздух был густой, и смрад обладал физической плотностью. Я сидел у пожарной лестницы. Я был убит. Мне не хотелось жить. Я думал о том, что нужно схватиться за ржавое железо лестницы, подтянуться — нижней ступеньки не было, — залезть повыше и броситься вниз. И всё. Мать, наверное, и не заплачет, а Джои пожмет плечами. «Все-таки не заплатил», — скажет он и подмигнет неизвестно кому своим единственным и жестоким глазом. Я должен был ему семнадцать НД и знал, что во всем мире нет человека, который мог бы дать мне эти семнадцать НД или спасти меня от Джои. Я уже в двадцатый раз бросаюсь с лестницы вниз и ощущал на лице последний, страшный ток воздуха, когда на голову мне вдруг опустилась рука.

«Ты чем-то расстроен?» — спросила рука.

Я не мог ответить. Я поднял глаза и увидел маленького человека в одежде пактора. Он улыбался мне, и рука его словно отняла у меня часть страха. Это был пактор Браун, и я пошел за ним, как увязавшаяся собака. И когда я понял, что он не гонит меня и мне не нужно будет возвращаться к одноглазому Джои, ждущему свои семнадцать НД, я испытал чувство торжествующей легкости.

«Нет ничего слаще, — сказал мне потом пактор Браун, — чем чувство невыполненного долга. Или неотданного».

Послышались быстрые шаги. Я открыл глаза. Генри Клевинджер, в отличие от меня, успел побриться и причесаться. Готов спорить, что и в день Страшного суда он явится чисто выбритым, тщательно одетым и нетерпеливым: «Меня, кажется, кто-то звал. Какой-то трубой. В чем дело? Я тороплюсь. Ах, Страшный суд? Нельзя ли побыстрее?»

— В чем дело, вы не знаете? — спросил он меня.

— Садитесь, мистер Клевинджер. Во время нашего свидания у вас в доме, если не ошибаюсь, вы тоже меня приглашали сесть. (На мгновение в его глазах промелькнул испуг, но тут же исчез.) Садитесь, садитесь. Доктор Грейсон просил меня встретить вас, потому что все остальные заняты.

— В такое время... — пробормотал Клевинджер и по-

смотрел на часы, но я заметил, что он уже потерял долю своей самоуверенности.— Что же случилось? Что-нибудь с Оскаром?

— Да. Ночью ему стало хуже. Что-то со второй почкой. Возникла опасность, и операцию решили провести незамедлительно. Она уже идет.

— Как?! — подпрыгнул Генри Клевинджер, но подпрыгнул как-то респектабельно, элегантно. Я бы так не смог подпрыгнуть, если даже тренировался месяц.

— Очень просто.

— И...

— Пока я знаю столько же, сколько и вы.

«Отцы-программисты,— подумал я,— как же все-таки легко лгать. Насколько труднее говорить правду. Впрочем, оно и понятно. Мать-природа позаботилась о том, чтобы все живое лгало друг другу. Все маскируется, прячется, скрывает свои намерения. Включая и гомо сапиенс. Может быть, он и стал сапиенс только потому, что обманывал и лгал лучше бедных обезьян...»

Генри Клевинджер откинулся в кресле и искоса посмотрел на меня. Должно быть, он решил, что обязан передо мной извиниться, потому что солидно откашлялся и сказал:

— Мистер Дики, я, разумеется, понимаю, что наше прошлое свидание у меня в доме было... Но вы должны понять... Дело касалось не только меня, но и доктора Грейсона и всего этого места.— Он сделал широкий жест рукой.

— Я прекрасно понимаю. Все это, право, пустяки. Меня усыпили, перевезли сюда, месяц держали в камере без окна... Стоит ли говорить о таких мелочах?

— Мистер Дики, я обладаю кое-каким влиянием в Первой Всеобщей Научной Церкви, и я надеюсь, что смогу в будущем быть вам полезен... Было бы грустно, если бы вы не смогли подняться выше личной обиды. Поверьте мне, я вполне искренен с вами. Я не смог бы кривить душой в минуты, когда за стеной оперируют моего сына...

Я посмотрел на Генри Клевинджера. Священный Алгоритм, сколько в нем было уверенности в своей правоте, сколько благородства! «В минуты, когда за стеной оперируют моего сына». В минуты, когда за стеной лишают жизни человеческое существо, купленное им за деньги.

И если на самом деле все не так, меньше всего в этом виновен сам Клевинджер.

Удивительно все-таки эластична наша Первая Всеобщая, если в ее лоне прекрасно устраиваются Генри Клевинджеры... «Я обладаю кое-каким влиянием в Первой Всеобщей...» И ведь действительно, наверное, обладает...

И тут я сказал себе: хватит, Дин Дики. Ты все-таки забываешь, что человек, сидящий перед тобой, потерял сына. Он не знает об этом сейчас, но он узнает...

Что бы ты почувствовал, если у тебя был сын и ты его потерял? Можешь ты представить себе боль такой утраты? Нет, наверное, не можешь. Ты ведь и помоном стал для того, чтобы не иметь ничего, что можно было бы потерять... Да, но зато я растворился в Церкви... Растворился ли? В Церкви, в которой покупатель чужих тел Генри Клевинджер обладает кое-каким влиянием?

Отцы-программисты, откуда у меня столько темных чувств, зачем я втираю в едва затянувшиеся раны соль презрения и недоверия?

Дверь в коридор распахнулась, и двое в белых халатах выкатили из операционной каталку. На ней, прикрытое простыней, лежало тело.

— Это... — Клевинджер привстал в кресле, но тут же, наверное, понял, что он видит перед собой. Как замороженный он уставился на то место, где под простыней должна была быть голова и где ничто не поднимало ткань.

Вслед за каталкой из операционной вышел Грейсон. Он стянул с себя шапочку и вытер ею лоб. Он был все-таки незаурядным актером — столько в жесте было спокойной усталости хирурга, который только что благополучно провел трудную операцию.

— Ну как, доктор?

— Отлично, мистер Клевинджер. Я бы даже сказал, что у вашего сына тело еще лучше, чем было. Недаром мы не даем нашим слепкам бездельничать и поддерживаем у них хорошую форму...

— Благодарю вас, доктор Грейсон, — с чувством сказал Клевинджер. — Вы спасли мне сына. Могу я взглянуть на него?

— Только с порога операционной и только секундочку...

— Я понимаю, я понимаю.

Мы все трое подошли к двери операционной, и доктор Грейсон распахнул ее. На столе, укутанный простынями и повязками, спал Лопо. Но если бы я не знал, что это Лопо, я бы вполне мог принять его и за Оскара Клевинджера.

Генри Клевинджер прерывисто вздохнул и протянул руку Грейсону.

— Доктор, я...

— Вы можете спокойно лететь домой хоть сегодня же. Когда Оскар сможет вернуться, мы вам сообщим. Что касается денег...

— Я помню, доктор.

— Я в этом не сомневался.

Глава 18

— Как ты себя чувствуешь, Лопо?

Он неуверенно посмотрел на меня и хотел было тут же по привычке спрятать глаза, но вспомнил, что я ему говорил.

— Я спал. Не хотел, а спал.

Теперь, когда я мог смотреть на него и он не отводил взгляда, я впервые увидел, какие у него были удивительные глаза — доверчивые и нетерпеливые. Как у ребенка.

— Так нужно было, Лопо. И давай договоримся: я буду называть тебя не Лопо, а Оскаром.

— Оскаром?

— Да, Оскаром. Так звали твоего человека-брата. Он умер.

— Что значит «умер»? Ушел в Первый корпус? Почему я его не вижу тут? Мы ведь в Первом корпусе?

— Да... Оскар, в Первом. Представь себе, что ты видишь птицу.

— Какую птицу?

— Все равно какую. Просто птицу.

— Просто птиц не бывает. Есть урубу, колибри, ма-
раканы, байтаки...

— Ну хорошо. Ты байтака. В тебя выстрелили из
ружья и попали. Что с тобой станет?

— Я упаду на землю. А может быть, застряну в сучьях и меня будет трудно найти.

— Это понятно, дорогой... Оскар. Но ты будешь живой?

— Нет, конечно. Байтака не будет живой.

— Но ведь она не попала в Первый корпус?

— Нет. Байтака не слепок и не человек. Зачем ей в Первый корпус?

Я вздохнул. Я на мгновение представил себе, что мне со временем придется объяснять ему, как функционирует биржа и что такое университет. Но Лопо-Оскар не вызывал у меня раздражения. В нем было, наверное, килограммов семьдесят пять веса, и вряд ли я мог бы легко справиться с ним, но я испытывал чувство покровительства.

— Байтаке, конечно, не нужно в Первый корпус. Давай по-другому. Ты умеешь представлять? Видеть в голове то, что глаза сейчас не видят? Ты можешь представить себе сейчас Заику?

— Могу.— Он улыбнулся удивительно нежной улыбкой.— Конечно, могу. Я всегда вижу ее, даже когда глаза ее не видят.

— Тогда представь, что мы идем по лесу. Нет, лучше представь, что мы плывем по реке в лодке. Представляешь?

— Да.

— Ты слышал о таких злых рыбках пираньях, которые набрасываются на все, что попадает в воду?

— Нет.

— Ну, поверь мне: такие рыбы есть. И вот я неосторожно перегнулся через борт лодки и упал в воду. Плавать я не умею и сразу пошел ко дну...

— Нет, ты не пойдешь на дно,— твердо сказал Лопо-Оскар.

— Почему?

— Потому что я брошусь в воду и вытащу тебя. Я не хочу, чтобы тебя съели рыбы. Как я вернусь один, как я буду без тебя?

— О господи!

— Господи?

— Некоторые люди считают, что господь все знает, все видит и распоряжается ими.

— Большой Доктор? Он Большой Доктор?

— Гм, дорогой мой, вряд ли стоит его называть доктором. Но давай не все сразу. Я упал в воду, и на меня

набросились пираньи, кайманы. Я проломил голову о сук под водой. Ты видишь эту картину?

— Вижу. И мне очень жаль тебя.

— Я буду после этого живой? Ты сможешь со мной разговаривать? Ты сможешь видеть меня глазами?

— Нет.

— А я перед этим ведь не ушел в Первый корпус.

— Это верно, но как ты не понимаешь... Ты попал в Первый корпус, когда упал в воду и тебя разорвали пираньи.

— Но тело мое осталось ведь в воде, в желудках у пираньи, в пасти кайманов?

— Конечно. Но рыбы ведь не могли съесть твои слова. А у тебя много слов. Почти все слова у людей, у слепков совсем мало слов. Поэтому все слова, которые остаются после человека, забирают в Первый корпус. Теперь ты понял?

Лопо-Оскар смотрел на меня со снисходительной добротой. Должно быть, он думал: вот сидит человек. У него, казалось бы, много слов, не то что у бедного слепка. И он ничего не понимает.

Я улыбнулся и положил ему на голову руку. Я не большой дока по части ласки, но мне этот жест почему-то всегда кажется необыкновенно интимным.

Лопо-Оскар замер на мгновение. Как зверек, который и боится чужого прикосновения и смакует его.

— Ты смягчаешь мое сердце,— мягко сказал он.— Как покровительница. Она также кладет мне иногда руку на голову...

Мне вдруг стало стыдно за все те чувства, что я испытывал к бедной Изабелле Джервоне. Если мое сердце тянется к этому существу, что же должна была испытывать немолодая, некрасивая, одинокая женщина, которая с риском для жизни научила его словам. Она любила его. Она убила Оскара Клевинджера, убила себя и спасла тем самым Лопо. Какая мать могла сделать больше?

— Отдохни, Оскар, боюсь, что мы с тобой слишком много говорили.

— А ты уйдешь? — спросил он меня.

— Да.

— И выйдешь из Первого корпуса?

— Да.

— И увидишь Заику?

— Да.

— А я могу пойти с тобой?

— Нет, Оскар, ты должен остаться здесь.

— Да,— вздохнул он,— ты говоришь правильно. Из Первого корпуса никто не выходит. Знаешь что? — Его лицо вдруг озарилось улыбкой.— Может быть, мне дадут твердую руку или ногу, называется про-тез, и тогда я смогу выйти и увидеть Заику? Так ведь бывает.

— Нет, никто не заберет ни твоих ног, ни твоих рук, Оскар. Ты теперь не слепок Лопо, ты человек Оскар. Ты обменялся с твоим больным человеком-братом.

— И я теперь не увижу Заику? И своего младшего брата Лопо-второго? И покровительницу? Тогда я не хочу быть человеком. Я хочу быть слепком. Я думал, что в Первом корпусе отнимают и слова и те картинки, что живут в голове. А ты мне оставляешь все. Я не могу так...

На второй день пришлось привести Заику. Когда она вошла в комнату и увидела Лопо, она вся засветилась. Засветилась улыбкой и тут же печально пригасила ее. Ее бедный маленький ум не мог ничего понять. Из глаз выкатилось несколько маленьких и удивительно ярких слезинок. Она замерла в двух шагах от Лопо. Я чувствовал, как она колеблется. Она боялась протянуть руку, чтобы не спугнуть пригрезившегося ей Лопо. И хотела коснуться его.

Я почувствовал комок в горле. Старый сентиментальный дурак...

Лопо тихо позвал:

— Заика...

Она сделала еще полшажка к Лопо, а тот все стоял, не двигаясь с места. Почему? Может быть, он не хотел напугать ее? Может быть, он хотел, чтобы она пересилила страх?

И словно в ответ на мои мысли он пробормотал:

— Не бойся.

Она вся сжалась, напряглась, зажмурилась и словно слепая неуверенно протянула вперед руку. И коснулась протянутой руки Лопо. И забыла обо всем. И он. Они нежно касались друг друга, снова и снова проводили ладонями по лицам, по телу, заново создавая себе друг

друга. Я никогда не думал, что два нелепых слова, «Зайка» и «Лопо», могут произноситься так по-разному. Они ухитрились вложить в эти слова все, что чувствовали.

...Спустя примерно месяца полтора меня позвал к себе доктор Грейсон. Должно быть, он тоже почувствовал, что наши отношения после той ночи, когда Изабелла Джервоне убила Оскара Клевинджера, изменились. О нем можно было сказать что угодно, но он нюхом определял отношение людей к себе.

Я постучал и вошел в его кабинет. Он слегка приподнялся и кивнул мне. И встать не встал, и сидеть не остался.

— Я слышал,— сказал он,— что дела у вас идут неплохо.

Я пожал плечами. Что я ему мог сказать, когда все здесь прослушивается насквозь? Я и так не сомневался, что он не раз слушал наши разговоры с Лопо.

— Вчера я разговаривал с Генри Клевинджером. Нежный отец соскучился по сыночку. (Мне показалось, что Грейсон раздражен.) Я уже намекнул ему, что операция прошла не совсем гладко, что мы столкнулись с малопонятным случаем частичной потери памяти, но состояние Оскара все время улучшается... Вот.— Грейсон протянул мне несколько листов бумаги, скрепленных скрепкой, и конверт.— Мне пришлось заплатить за это целую кучу денег. Здесь различные детали семейной жизни в доме Клевинджеров, имена приятелей и приятельниц Оскара, их привычки и, разумеется, фотографии.

Я даю вам неделю, чтобы вы с ним хорошенько все это проштудировали, а потом вы вернетесь с юным Клевинджером в лоно любящей его семьи. Первое время Оскар будет жить вне дома и, уж конечно, не вернется в университет. Он будет жить с вами в гостинице.

— Но как на это посмотрит его семья?

— Я уже сказал, что кое о чем предупредил мистера Клевинджера. Пока память полностью не восстановилась, да и вообще пока Оскар не окреп в достаточной степени, ему лучше не находиться в чересчур эмоционально насыщенной атмосфере семьи. Логично?

— Вполне.

— Тем более, мистер Дики, что атмосфера там, похоже, действительно насыщенная.

— Но наш Оскар ведь должен будет увидаться с отцом, матерью и сестрой?

— Конечно. Но лишь в вашем присутствии. А вы уж постарайтесь, чтобы, с одной стороны, у них не возникло никаких подозрений, с другой — чтобы все выглядело вполне естественно. Чтобы Лопо старался, внушите ему мысль, что судьба Заики будет полностью зависеть только от него.

— То есть?

— Вы ему скажете, что, если он хорошо сыграет свою роль, мы придем ему туда Заику.

— Но... ведь ее двойник — я имею в виду ее человеческого двойника — могут...

— Да нет же, это лишь версия для Лопо. Конечно, она никуда не уедет отсюда. Ее хозяйка оплачивает ее существование, и меньше всего на свете я хотел бы возвращать эти деньги.

— Но Лопо... Он...

— Мало ли что он вздумает! Нам важно, чтобы папаша и вся семья убедились, что их сынок вернулся, а там видно будет. Вы меня понимаете, мистер Дики?

— Не слишком, доктор Грейсон.

— Им и в голову никогда не придет, что они могли так ошибиться и что их Оскар на самом деле слепок Лопо. Если же позднее и возникнут какие-то сомнения, они, скорее всего, решат, что он сошел с ума... А такие вещи в приличном обществе особенно афишировать не принято. Теперь вы понимаете?

— Да, понимаю.

— Теперь о вас. Когда вы в качестве помона начали разыскивать Синтакиса и довольно быстро вышли на Генри Клевинджера, я мог вас просто убрать. Уверю вас, это было бы совсем нетрудно.

— Не сомневаюсь.

— Я предпочел привезти вас сюда. Во-первых, мне всегда здесь нужны люди вашей профессии. Лишняя пара опытных глаз в Нове — это большое дело. А потом, мне давно хотелось проверить самому, как действует принцип «промывания мозгов».

— Это то, что делали со мной?

— Совершенно верно. Старинный способ. Когда-то

его применяли в Германии во времена Адольфа Гитлера. С тех пор появились ускоренные методы с применением химических препаратов, но все они не слишком надежны. Вначале мне казалось, что промывание удалось на славу, но, очевидно, я выпустил вас немного рановато. Надо было больше расшатать вашу психику...

— Благодарю вас,— сказал я и посмотрел на Грейсона.

Он не улыбался. Он говорил будничным голосом, выражение лица у него было самое обычное. Мне вдруг показалось, что он давно сам сошел с ума.

— За время пребывания здесь вы будете компенсированы. За все время пребывания с Лопо-Оскарком там вы тоже будете компенсированы. Если вы откажетесь от денег, они могут остаться на вашем счету. Если вы захотите, вы сможете вернуться к вашей работе помоном.

— А если меня спросят, где я был?

— Вас не спросят. Вас не только не спросят, но вам даже незачем будет возносить вашей Машине инлитву о пребывании здесь.

— Почему?

— Это уже не так важно, мистер Дики.— Доктор Грейсон слегка улыбнулся, и улыбка была самодовольной.

«Священный Алгоритм,— подумал я,— неужели же Машина что-нибудь знает о Нове? Нет, не может быть...»

— Вы вылетите со своим подопечным ровно через неделю. Когда придете на место, остановитесь в гостинице «Сансет вэлли»...

Глава 19

Все было готово к отъезду. Нельзя сказать, чтобы у нас с Лопо-Оскарком было особенно много вещей,— всего один небольшой чемоданчик. Но самый ценный багаж — пленку с записью нашего разговора с Грейсоном и фотокасету, которую я тайком заснял в Нове,— я зашил накануне в подкладку куртки.

Машина должна была подойти ровно в три, и я уже начал поглядывать на часы, когда вошел Халперн.

— Вы знаете порядок отъезда? — спросил он.

— В каком смысле? Я разговаривал с доктором Грейсоном, и он...

— Я говорю о самом отъезде.

Я пожал плечами. Что он хотел от меня?

— Меня предупредили, что машина, которая доставит нас на аэродром, придет ровно в три...

— У нас здесь строгий порядок. Вещи каждого уезжающего из Новы подвергаются строгому досмотру. Как вы понимаете, кто-то мог бы захотеть взять с собой фото, видеозаписи и так далее...

Доктор Халперн посмотрел на меня, и я почувствовал мгновенный укол страха. Быть уже почти на аэродроме и так глупо попасться... Я, конечно, думал о том, что с пленкой и фото связан известный риск, но что они здесь устроили настоящую таможню — такое мне в голову не приходило.

Нужно было, наверное, сделать вид, что все это меня волнует очень мало, но я боялся выдать себя. Я никогда не был хорошим актером.

— У вас один чемодан? — спросил Халперн.

— Да.

— Откройте его.

— Пожалуйста.

Халперн откинул крышку, вынул несколько вещей, почти не глядя засунул их обратно и закрыл чемодан. Сейчас он скажет мне: достаньте все из карманов... Начнет ощупывать... Руки и ноги у меня стали мягкими, тряпичными.

Халперн щелкнул замком чемодана и поднял голову. Страх уже не было. Спокойствие оцепенения.

— Фотография, фотопленки или стереозаписи у вас есть?

— Очень сожалею, но мы не успели сняться.

— Я думаю, мы оба как-нибудь переживем. Значит, нет?

— Нет, — сказал я и тут же вспомнил слова пактора Брауна: «Правда — опасная вещь. К счастью, она встречается не часто».

— Ну и прекрасно.

— Машина уже, наверное, внизу. Нам можно идти? — Мне надо было что-то обязательно говорить, чтобы меня не выдавало мое собственное лицо.

— Да, конечно.

— Оскар, возьми чемодан. Прощайте, доктор Халперн.

— Прощайте... Да, кстати, мистер Дики, если не ошибаюсь, вы взяли со склада три магнитные кассеты для магнитофона. Одну вы израсходовали — разговор Лопы с Зайкой... А больше я у вас в комнате не нашел... — Халперн посмотрел на меня, и мне показалось, что он едва усмехнулся. Итак, я все-такимышь, призванная потешить кота. Что ж, тешить так тешить.

— Вы хорошо изучили мою комнату... И ту пленку...

— Значит, пленок у вас нет?

— Нет.

Подмигнул он мне или мне показалось? Наверное, все-таки нет.

Через полчаса мы были уже в самолете.

У меня не было ощущения неожиданной и нежданной свободы. У меня вообще не было никаких ощущений. Мне только хотелось спать. Не успел я опуститься в кресло, как тут же глаза сами собой закрылись.

Я проснулся, потому что Оскар потянул меня за руку:

— Дин, смотри, что это?

Внизу под нами расстилалась облачная страна. Белорозовые облака обладали плотностью снежных равнин, и глаз невольно искал цепочки лыжников, сани и рождественские избушки.

— Это облака, Оскар. Но ты спросил меня слишком громко. Если бы рядом были люди, твой вопрос удивил бы их. Это мог бы спросить совсем маленький мальчуган, но не взрослый парень. Вообще, Оскар, дорогой, прежде чем задать вопрос мне, посмотри сначала вокруг — не слышит ли кто-нибудь тебя.

— Прости... Но раз раньше я всегда видел облака снизу, а теперь сверху, значит, мы летим высоко...

— Оскар, у тебя положительно научный склад ума...

Мы прилетели поздно вечером и сразу поехали в заказанную нам гостиницу. «Сансет вэлли» оказалась довольно хорошим загородным отельчиком, и нас действительно ждал двухкомнатный номер на третьем этаже.

Клевинджеру я решил позвонить лишь утром, чтобы у Оскара было время отдохнуть после дороги и еще раз

повторить много раз отрепетированную нами сцену встречи.

Перед тем как улечься, Оскар вдруг сказал мне:

— Ты знаешь, Дин, мне не светло здесь.— Он показал себе на грудь.

— Почему? Ты ведь вырвался из Новы в другой, большой мир. Мы видели лишь малую часть его, но поверь мне, он необыкновенно велик и разнообразен.

— Я знаю. Ты говорил мне. Я верю тебе. Я верю каждому твоему слову, но... этот мир, наверное, слишком велик. Когда я думаю, сколько тут людей, у меня становится тесно в голове. В Нове мир маленький, но ты все знаешь. Сегодня ты работаешь на огороде, завтра, может быть, на уборке, послезавтра на кухне... И все остается одинаковым. И только изредка кто-нибудь уходит в Первый корпус. А здесь... Здесь мне тревожно. И мы не знаем, что будет завтра.

— Завтра мы увидим твоего отца. Ты не забыл, как ты назовешь его?

— Нет. Я скажу: спасибо, отец. И широко разведу руки в стороны— вот так— и положу их ему на спину.

— Это называется — обнять.

— Обнять. Но мое сердце не такое спокойное, как в Нове. И твое тоже. Я смотрю на тебя и чувствую: ты тоже беспокоен.

Уже не в первый раз я заметил, что Оскар — я уже и мысленно стал называть Лопо Оскаром — обладает удивительным чутьем. Подобно собаке, он мгновенно улавливал душевное состояние близкого человека.

— Ты привыкнешь, Оскар.

— Может быть, но сейчас я хочу обратно. Я хочу в Нову, хочу быть рядом с Заикой.

— Оскар, подумай, что ты говоришь. Ты рвешься обратно в тюрьму, из которой только что вышел. Может быть, ты боишься быть человеком? Может быть, ты хочешь остаться слепком? Но ведь все равно и в Нове ты не был слепком.

Оскар несколько раз уже открывал рот, чтобы ответить мне, но останавливался. Наконец он посмотрел на меня и сказал:

— Ты не понимаешь, Дин. Из всех людей только покровительница и ты... Для остальных я был слепком. Они

кормили нас, давали одежду, работу, но никто ни разу ничего не спросил меня. Я был для них просто слепок, вещь.

— Но здесь...

— Здесь? Пока и здесь на нас все смотрят так же, как на слепков в Нове. Сквозь. Не замечая. Может быть, ты ошибся, Дин, и мы попали в другую Нову?

— Нет, дорогой, я не ошибся. Ты должен понять: здесь очень много людей, и те, кто не знает друг друга, уже поэтому могут относиться друг к другу только как к слепкам.

— Вот видишь, Дин, я же тебе говорил.— Он зевнул.— Я хочу спать. Не беспокойся, я помню все, что должен сказать завтра...

Я погасил свет и вышел из комнаты. Оскар не ошибался: меня не покидало какое-то тоскливое беспокойство. Впрочем, за последнее время мои старые добрые эмоции совершенно отбились от рук и я не слишком доверял им. Если я мог тянуться к Грейсону, с жадной готовностью выполнять его приказы, полюбить это несчастное существо, Оскара, как сына, мысль о котором я, казалось, уже давно раз и навсегда сослал из сердца и головы в подкорку, и не слишком радоваться, вырвавшись из Новы,— мог ли я доверять своим эмоциям?

Я опустилсЯ в кресло, откинул голову на спинку и прикрыл глаза. Из соседнего номера едва слышно доносилась музыка и голоса. Может быть, оттого, что ухо мое улавливало лишь обрывки мелодии, она казалась мне необыкновенно печальной.

Но все же почему мне было так тоскливо, беспокойно? Как было утешительно, когда в трудную минуту, при сердечном одиночестве я мог погрузиться в гармонию, ощутить себя частицей мира и Первой Всеобщей... Я потерял эту способность. Будь проклята та минута, когда я вошел в дом Синтакиса! Если бы я только знал, что потеряю для себя Священный Алгоритм, я бы предпочел снять желтую одежду помона, но остаться в лоне Первой Всеобщей и постоянно ощущать живую связь с Машинной. Но, может быть, я еще смогу вернуться... Если бы был жив пактор Браун... Он умел улыбаться, как никто больше на свете. Улыбкой полупечальной и полувеселой, полумудрой и полунаивной. Я был молод и любил говорить о больших вещах. Я просил у него ясных ответов.

Он качал головой и бормотал: «Никогда не требуй ответов на большие вопросы. Только маленькие люди умеют отвечать на большие вопросы».

Последние обрывки мелодии и голоса застряли в стене, и стало так тихо, что я услышал биение собственного сердца. Нет, это была не гулкая успокаивающая тишина погружения, а ночная тишина, источавшая скрытую угрозу.

Хватит, Дин Дики, сказал я себе. Похоже, что ты потерял не только Священный Алгоритм, но и элементарную способность анализировать. Ты все-таки был помощником, а сейчас сидишь и ловишь оттенки своих настроений. Ловец ощущений. В чем может таиться угроза? Ведь у Грейсона действительно не было другого выхода, как попытаться выдать Лопо за Оскара. А раз это единственный выход, Грейсону можно поверить. Он может сто раз быть гениальным параноиком, но пока что во всей его жизни определенная логика была. Отсюда вполне понятно, почему он так заботится о нас, вплоть до заранее заказанного номера. Прекрасно. Завтра мы встречаемся с Генри Клевинджером. Судя по тому, как он вел себя до сих пор, отец он довольно спокойный, и его вполне удовлетворит и Оскар, и встреча, и наши объяснения, и необходимость пожить Оскару еще какое-то время вне семьи и вне университета. Ну, а потом? Почему Грейсон был так неопределенен, говоря о дальнейших планах? Не мог же он всерьез рассчитывать, что Оскар сможет стать Оскаром Клевинджером? И тут я поцоял, что подсознательно упорно противлюсь одной простенькой и настойчивой мыслишке, которая уже давно пытается влезть тайком в мою голову. У Грейсона, скорее всего, действительно нет никаких планов. Потому что они ему не нужны. Как не нужны мы, как только сыграем отведенные нам роли. Отцы-программисты, что может быть проще и безопаснее, чем отправить Оскара и меня на тот свет после встречи с Клевинджером-старшим! Доктор Грейсон все сделал — вы сами видели Оскара. А то, что несчастный юноша исчез, погиб, сгорел, сбежал, утонул — боже, какой грустный случай! Пожалуй, наверное, действительно было бы безопаснее для него сразу переехать в дом-крепость на Хиллтопе, но, с другой стороны, в его состоянии... Такой трагический случай, ай-яй-яй... Бедный Оскар Клевинджер, какая ирония судьбы:

только что остался жив после катастрофы на монорельсе — и вот вам пожалуйста... От судьбы, выходит, никуда не денешься. Говорят, с ним был еще кто-то? Да, какой-то помон, снявший желтую-одежду. Эта их Первая Всеобщая с ее полицейскими монахами — чего от них ждать можно? Конечно, конечно, не монахи нам нужны, а старые, добрые палачи. Вешать, говорю я, надо. На улицу носа, чуть стемнеет, не высунешь. Нарки, ворюги, хулиганье... Вешать — самая гуманная мера.

Стоп, Дин Дики, сказал я себе. Хватит тянуть изо рта бесконечную гирлянду слов. Ты не иллюзионист, и за вытасканные изо рта гирлянды никто тебе не заплатит. Надо что-то делать. А что?

Я пожал плечами и начал раздеваться. По крайней мере до завтрашнего дня нам с Оскаром ничего не угрожало. Если я, конечно, прав. В чем, признаться, никакой уверенности у меня не было. Но пактор Браун говорил: «Чувствуй себя всегда мишенью. Это единственный способ, чтобы в тебя не попали...»

Глава 20

Я сидел за рулем своего старого доброго «шеворда» и тихонько напевал. Дорога весело неслась на нас, кидалась на колеса машины, и мы безжалостно давили ее. Зачарованный Оскар сидел тихонько, не шевелясь. Сто миль в час было более чем достаточно для существа, которое за первых восемнадцать лет жизни не знало другого транспорта, кроме своих ног.

Сто миль, впрочем, — скорость, вполне достойная даже для тридцатилетнего горожанина, и я не спускал глаз с шоссе. Я и напевал, чтобы забаррикадировать голову от вчерашних ночных мыслей и спокойно вести машину.

Скоро и Хиллтоп. Справа на площадке для отдыха стоял огромный красный фургон «Филипп Чейз. Перевозка мебели». Не фургон, а чудовище. Я пронесся, и на мгновение мне почудилось, что в кабине фургона что-то вспыхнуло. Бинобль, например. Пора, Дин Дики, пугаться собственной тени. А может быть, и действительно пора? Я оторвал глаза от дороги и бросил быстрый взгляд в зеркальце заднего обзора. Как будто ничего особенно-

го. Ярдах в ста позади приземистый серый «джелект-рик», который все время идет за нами, но мало ли машин проезжает по шоссе. Может быть, тоже в Хиллтоп.

Удивительный городок Хиллтоп! Никаких тебе контрольно-пропускных пунктов, никаких шлагбаумов и определителей личности. Здешние жители не доверяют двум-трем стражникам, которыми вынуждены довольствоваться обитатели охраняемых поселков. Здесь каждый дом — настоящая крепость, разве что без рвов с водой и поднимающихся мостов. Вместо них дома окружены оградой, освещенной полосой, как государственная граница, с дюжиной различных детекторов, ловушек и тому подобное. В Хиллтопе поэтому живут большие демократы, которые не отгораживаются от мира стенами охраняемых поселков. Им это делать незачем. Они надежно отгорожены своими собственными стенами и своими миллионами, потому что человек, у которого нет миллиона, жить в Хиллтопе не может. Он, впрочем, и человеком там не считается.

Не мудрено поэтому, что Хиллтоп вечно окружен телеразбойниками, которые стараются исподтишка снять, как живут настоящие люди.

Вот и мы, едва въехали в Хиллтоп, сразу привлекли к себе внимание открытой машины с эмблемой глаза на боку. Операторы навели на нас длиннющие телеобъективы и следовали за нами на расстоянии пятидесяти ярдов — предел, за которым, по определению верховного суда, частная жизнь граждан уже не является частной и принадлежит обществу, интересующемуся частной жизнью граждан.

А вот и дом Генри Клевинджера. Форт, а не дом. С удивительным чувством свернул я к нему. Вот так же один раз я уже подъезжал к этому дому, а вывели меня, не спрашивая моего согласия. Накачанным какой-то дрянью.

Я собрался было остановить машину у металлических ворот, как они открылись и тут же захлопнулись за нами. Решетчатый забор тут же ошетинился полудюжиной телеобъективов. Будь я Генри Клевинджером, я бы заменил решетчатую ограду сплошной, а сверху накрыл все крышей. Или еще лучше — зарылся бы в землю...

Не успели мы остановиться, как из подъезда вышел Генри Клевинджер. Он не бежал, но и не шел медленно.

Он встречал сына после долгой разлуки. Он не бросился к нему, но и не ждал, пока тот обнимет его. Генри Клевинджер знал, как вести себя. Он, наверное, чувствовал телекамеры кожей. Говорят же, что есть люди, которые чувствуют радиоволны.

— Оскар... — проникновенно сказал Генри Клевинджер и раскрыл объятия навстречу сыну.

На секундочку у меня екнуло сердце, но Оскар лицедействовал с уверенностью профессионала. Долгие годы, в течение которых он играл роль слепка, не прошли даром.

— Отец, — пробормотал он, и голос его чуть дрогнул, — спасибо тебе за все...

— Как ты себя чувствуешь?

— Как видишь, отец, прекрасно...

Я скромно стоял в сторонке. Экспомон, присутствующий при встрече лжесына с чужим отцом.

— Здравствуйте, мистер Дики. — Наконец мистер Клевинджер заметил и меня. — Большое спасибо за все, что вы сделали для моего сына. Прошу вас...

Мы оказались в знакомой мне комнате.

— Тонисок? — спросил хозяин, и я не мог сдержать улыбки. Мне показалось даже, что я хихикнул.

Клевинджер недоуменно посмотрел на меня. Он не привык, чтобы люди в его присутствии хихикали.

— Простите, мистер Клевинджер, — я не мог отказать себе в маленьком удовольствии, — я просто вспомнил, что уже однажды вы угощали меня тонисоком...

Теперь пришла очередь Клевинджера хихикнуть.

— Ну, мы уже с вами объяснялись по этому поводу. Маленькая неприятность...

Месяц кошмаров сурдокамеры, добрый доктор Грейсон, ходячие запасные части Новы, Первый корпус, безумные глаза Изабеллы Джервоне, потерянный Алгоритм — действительно маленькая неприятность.

Клевинджер вопросительно посмотрел на меня, показав бровями на Оскара. Я кивнул на дверь.

— Оскар, мы бы хотели поговорить с мистером Дики, — сказал Клевинджер.

Оскар непонимающе посмотрел на меня. У меня вспотел лоб. Отцы-программисты, откуда же ему знать, что нужно выйти?

— Выйди на пару минут из комнаты,— сказал я.— Прогресс огромный,— важно кивнул я и погладил себя по воображаемой профессорской бородке,— но месяц-другой ему еще нужно избегать эмоциональных стрессов. Доктор Грейсон, наверное, уже объяснил вам...

— Да, да. Неожиданные осложнения. Я, признаться, ожидал худшего. Выглядит Оскар просто великолепно. Как, по-вашему, когда он сможет увидеться с матерью и сестрой? Моя жена как раз сейчас гостит у дочери в Элмсвиле...

— Трудно сказать, может быть, через месяц или даже раньше.

— Вы уверены, что Оскару лучше пока побыть с вами?

— Думаю, что да. Так же считает и доктор Грейсон.

— Ну прекрасно. Вот чек, который я вам приготовил, мистер Дики. Не стесняйтесь себя в расходах...

Мне показалось, что Клевинджер даже облегченно вздохнул, когда я выразительно посмотрел на часы. Скорее Генри Клевинджер похож на лжеотца, чем Оскар на лжесына. А может быть, я просто идеализирую отношения миллионера с сыном? Прочел же я в листках, переданных мне Грейсоном, что особой привязанностью друг к другу они не отличались.

Телеразбойников за оградой больше не было. Нашли, наверное, другую жертву. Мы уселись в машину, и я незаметно пожал Оскару руку:

— Молодчина, дорогой! Все было хорошо.

— Если я знаю, что говорить, мне не трудно обманывать,— горделиво ответил Оскар.

Осталось научить его, что говорить, и он созреет для нашего мира.

Впереди, на шоссе, промчалось длинное красное чудовище «Филипп Чейз. Перевозка мебели». Почему вдруг сердце пропустило такт и испуганно жалось? Неужели я должен обмирать от того, что Филипп Чейз перевозит людям мебель? Чистая случайность, но ведь действительно в нашем мире безопаснее всегда чувствовать себя мишенью. Может быть, красное чудовище промелькнуло только что на шоссе, подчиняясь законам теории вероятности. Может быть. Ну, а если в эти законы вмешивается чья-то воля? Тогда даже и невероятное вполне может стать вероятным.

Площадка отдыха. В кабине пискнет зуммер рации. «Едут!» — пропищит возбужденный голос. Водитель проглотит слюну и включит двигатель. А вон и зеленый «шевордик» появляется из-за поворота. Фургон начинает выезжать на шоссе. Водитель «шеворда» на всякий случай сигналил. Конечно, водитель фургона видит его и пропустит, прежде чем выехать на шоссе. Это сделал бы даже начинающий автомобилист, а тяжелые турбинные грузовики водят только профессионалы.

Человек Филиппа Чейза глубоко затягивается и увеличивает обороты. Мощная турбина тонко подвывает. Пора. Педаль акселератора в пол. Фургон выпрыгивает на серую полосу шоссе, перегородив его красным кузовом. Водитель «шеворда» резко тормозит. Он уже точно знает, что он — мишень. Но поздно. Курок уже спустили. Зеленый «шеворд» ударяется носом о «Перевозку мебели». В красном кузове не мебель. Там грузчики. Ловкие, сильные грузчики. Распахивается задний борт-трап, и через несколько секунд исковерканный «шеворд» уже в красном чреве. Теперь можно не спешить. Теперь можно спокойно доделать с пассажирами «шеворда» то, что намечено подправленной теорией вероятности... И волей доктора Грейсона.

У самого выезда на шоссе я остановился. Чего только не приходит в голову мишени, пока она ждет своей очереди! На то она, впрочем, и мишень. Я решительно развернулся, и через несколько минут мы вернулись к Генри Клевинджеру. Что делать, если машина барахлит, а ехать все-таки семьдесят пять миль? Не будет ли он так любезен, чтобы вызвать нам аэротакси?

Пилот такси ворчал всю дорогу. Движение — сплошной час «пик». Аварии — каждый день. Машины старые.

Перед самым городом я решил приготовить деньги и полез во внутренний карман куртки. Отцы-программисты, как я мог забыть о магнитной пленке и фото? Если и есть хоть какой-то шанс обезопасить себя от чрезмерного интереса людей Грейсона, он связан именно с этими вещественными доказательствами. Я попросил пилота посадить нас на крыше здания телекомпании «Око» и спустя десять минут сидел в комнате Николаса Дани. Николас — типичный телеразбойник с моральными устоями тигровой акулы. Если бы он мог заснять рас-

пятые Христа, он бы наверняка протолкался к самому кресту и попросил бы легионеров:

«Джентльмены, не могли бы вы прибить его еще раз. Мне бы хотелось сделать еще один крупный план. А вас, дорогой,— повернулся бы он к сыну человеческому,— я бы попросил получше войти в роль. Больше драмы, больше мимики — вас же все-таки распинают...»

И тем не менее у нас с ним добрые отношения. Может быть, потому, что я никогда не пытался устроить себе рекламу с помощью телекамер «Ока».

— Николас,— спросил я его,— ты по самой своей конституции способен высидеть десять минут спокойно и не перебивать меня?

— Тишина! — крикнул Николас сам себе. — Мотор!

Он действительно ни разу не прервал меня, пока я рассказывал ему о Нове...

— Можешь на меня положиться, Дин,— торжественно сказал он, когда я замолчал,— я тебя не оставлю. Сколько бы ты ни просидел в сумасшедшем доме, каждое рождество я буду навещать тебя.

— Спасибо, Ники, я всегда знал, что у меня есть настоящий друг.

Я выудил из кармана прямоугольную магнитофонную кассетку и положил ее на стол.

— Это еще не все.

Подкладка куртки никак не хотела отрываться, но наконец я вытащил измятые фотокарточки.

— И это еще не все. Два с половиной месяца тому назад Оскар Клевинджер, сын Генри Клевинджера, попал в катастрофу на монорельсе. У него была безнадежно раздроблена нога и исковеркана рука...

Я подошел к двери и позвал:

— Оскар, иди сюда, сынок.

Оскар вошел в кабинет Николаса и пробормотал:

— Добрый день.

— Оскар, это мистер Николас Дани. Ники, это Оскар Клевинджер. Сынок, если тебе не трудно, сними брюки и рубашку.

Первый раз в жизни я увидел на лице Николаса растерянность. Он даже по-детски разинул рот, глядя на загорелую фигуру Оскара.

— Оскар, если тебе не трудно, покажи дяде, как работают твои ручки и ножки.

Оскар пожал плечами — жест, которому он уже успел научиться и который успел полюбить, — и стал на руки. Нельзя сказать, чтобы он сделал это профессионально. Он простоял секунды три и грохнулся на пол, но Николас уже закрыл рот. Очевидно, это придало ему энергии, потому что он набросился на меня с вопросами. Он забрасывал меня ими, швырял их в меня...

Договорились мы на том, что оригиналы фото и магнитной пленки останутся у него в сейфе, я же получу копии. Кроме того, я сделаю все, что могу, чтобы добыть координаты Новы, потому что найти лагерь в тропических лесах целого континента, не зная его точных координат, — задача, практически невыполнимая.

В гостиницу я решил не возвращаться. Если мы действительно были с Оскаром мишенью, лучшего стрельбища, чем отель «Сансет взли», и не придумаешь. Во-первых, людям из красного фургона известно, что мы остановились именно там, поскольку номер был заказан ими же. Во-вторых, тихий загородный отельчик с симпатичной и внимательной администрацией, которая всегда готова вручить друзьям постояльцев запасные ключи — разве это не удобно? А разве администрации не будет приятно, что такая солидная фирма, как «Филипп Чейз» хотела бы купить кое-какую устаревшую мебель? Если, разумеется, мы тоже станем с Оскаром устаревшей мебелью.

Вместо этого мы отправились на крошечную квартир-ку, ключ от которой нам дал Николас Дани.

Глава 21

Дежурство было тягостным и бесконечным, как неудачный брак. Два нарка с ножевыми ранами. Не могли разделить одну дозу героина на двоих. Когда он зашивал раны, доктор Пуласки подумал, что занимается на редкость бессмысленным делом. Как только они придут в себя, они начнут просить, требовать, угрожать — им нужна будет очередная доза белого снадобья. Гораздо больше, чем просто жизнь.

Интеллигентный старичок, у которого кто-то хотел отнять на улице бумажник. Вместо того чтобы извиниться за то, что в бумажнике так мало денег, старичок стал

звать на помощь и получил ее в виде удара кулаком по носу. Скорее даже кулачищем, потому что кости переносицы были раздроблены, нос свернут на сторону. Плюс легкое сотрясение мозга. И все за двенадцать НД.

Ребенок, сбитый машиной. Элегантно одетый джентльмен с четырьмя перстнями на жирных пальцах и пятью автоматными пулями в груди. Как будто не могли его отвести прямо в морг...

Доктор Пуласки в последний раз не спеша вымыл руки. Каждый палец в отдельности — привычка. Можно было идти домой. Он доплелся до дежурной комнаты, снял халат. Он устал. Раньше случалось оставаться на ногах по две смены — и ничего, хоть сразу пускайся в пляс. А теперь стал уставать. И не определишь сразу, где накапливается усталость. Ломит спину, хочется расправить плечи, поглубже вздохнуть, но плечи не расправляются.

Доктор Пуласки вытащил из кармана пачку мариси. Единственное, что приносит успокоение и поднимает тонус — сигарета с марихуаной.

Вечно сестры оставляют включенным телевизор. Доктор Пуласки хотел было протянуть руку, чтобы выключить его, но на экране загорелся зеленый глаз. «Око». Новости. Черт с ними! Пусть будут новости, хотя новости то все далеко не новые: чья-то грандиозная свадьба. «Господи, — подумал доктор, — хоть бы раз показали не свадьбу, а развод». Новые весенние модели электромобилей. Волнения безработных...

Внезапно доктор Пуласки выпрямился. Из зеленого «шеворда» вылезли двое. Какой-то тип и Оскар Клевинджер. Тот, у которого была раздавлена нога и рука во время катастрофы на монорельсе. И которого забрал из больницы его отец. Надменная скотина. Миллионер. Оскар Клевинджер шагнул навстречу отцу и вскинул руки для объятия. Две здоровые руки. Две здоровые ноги...

Доктор Пуласки едва успел вскочить и ткнуть пальцем в кнопку стоп-кадра. Оскар Клевинджер застыл с поднятыми руками. Двумя здоровыми руками. Стоя на двух здоровых ногах.

Может быть, протезы? Но доктор Пуласки знал, как выглядят люди с протезами всего через два с небольшим

месяца после ампутации руки и ноги. Он недаром двадцать лет был хирургом.

Этого не могло быть! Кости не могли срастись. Там не было костей. Он вспомнил рентгеновский снимок. Мелкая костяная каша...

Этого не могло быть! Никогда. И то, что в стоп-кадре «Зенита» стоял улыбающийся Оскар Клевинджер, стоял на здоровых ногах, подняв здоровые руки, было для доктора Пуласки оскорбительно. Оскорбительно было то, что он, хирург с двадцатилетним стажем, считает это невозможным, а телевизор доказывает обратное. Оскорбительным было то, что он оказался дураком, а эта богатая свинья со своими миллионами обнимает сына.

Они всегда оказываются правы. Те, у кого есть деньги. И теперь они оказываются правы даже тогда, когда не могут быть правы.

Он затынулся мариси. Едковатый дым наполнил легкие, облачком омыл мозги. Он выключил телевизор, но Оскар Клевинджер по-прежнему издевательски поднимал и опускал руки. Доктор знал себя. Знал, что не найдет себе места, пока не увидит Оскара Клевинджера собственными глазами.

Он взял телефонную книгу, нашел номер Генри Клевинджера, но чей-то до омерзения вежливый голос сказал, что Оскара Клевинджера в доме отца сейчас нет, что он там не живет и его резиденцию в настоящее время сообщить не может.

Он позвонил знакомому лейтенанту в городскую полицию и попросил узнать, где остановился Оскар Клевинджер. Лейтенант не выказал никакого энтузиазма, но через пятнадцать минут позвонил сам и назвал гостиницу.

Через полчаса он уже поставил машину на стоянке и вошел в вестибюль.

— Мне нужен Оскар Клевинджер,— сказал он молодому портье с боксерскими плечами.

— Одну секундочку,— пробормотал портье и поднял телефонную трубку.— Это портье. К мистеру Клевинджеру посетитель... Простите,— он повернулся к доктору Пуласки,— как ваше имя?

— Доктор Пуласки. Оскар Клевинджер лежал у меня в больнице.

— Доктор Пуласки,— повторил портье в трубку, вы-

слушал ответ и кивнул доктору: — Пожалуйста. Третий этаж, триста семнадцатая комната. Лифт налево, прошу вас.

Портье проворно выскочил из-за стойки и почтительно повел доктора к лифту.

«Боже правый,— подумал доктор Пуласки,— неужели же еще осталось такое обслуживание?»

Портье пропустил доктора вперед и захлопнул за ним дверцу лифта. Лифт мягко вознесся и тут же затормозил.

Триста семнадцатая комната была прямо напротив лифта, и доктор Пуласки вдруг подумал, что будет выглядеть довольно глупо, когда он спросит у Оскара Клевинджера, почему у него сгибаются правая нога и правая рука, хотя делать этого не должны. Но он уже поднял руку, чтобы постучать в дверь с красивым медным номером, и знал, что отступать поздно. Он так и не постучал.

Дверь распахнулась навстречу ему.

— Пожалуйста, доктор, заходите.

— Спасибо,— кивнул доктор и вошел в маленькую прихожую.

Человек, впустивший его, повернул в двери ключ.

— Мне нужен Оскар Клевинджер,— неуверенно сказал доктор Пуласки.— Я понял внизу, что он у себя.

— Кто вы такой?

— Я уже называл себя портье. Доктор Пуласки. Мистер Клевинджер-младший попал ко мне в больницу некоторое время тому назад после катастрофы на моно-рельсе...

— Ну и зачем он вам? — подозрительно спросил человек, заперший дверь. Он чем-то напоминал портье. Может быть, тем, что у него были такие же широкие и мощные плечи и слегка сонные глаза.

Доктор Пуласки вдруг почувствовал, как в нем шевельнулась тревога, но он тут же отогнал ее.

— Ну, я же врач, вы понимаете... Меня интересует состояние его здоровья.

— Зачем он вам? — тупо повторил вопрос человек с сонными глазами.

— Я ж вам только что ответил. Если его нет, я не настаиваю... — Доктор Пуласки повернулся к двери. Сердце его колотилось и дыхание стало прерывистым.

— Последний раз спрашиваю: зачем он вам? Кто вас прислал? Он сам? Или второй? Где они?

— Позвольте, позвольте...— Доктора охватила паника, и он тоскливо подумал, что нужно было все-таки включить телевизор.— Позвольте, я вас не понимаю... Я смотрел телевизор и увидел в программе новостей «Ока» Оскара Клевинджера и его отца. Меня поразило, что всего через два с небольшим месяца после катастрофы, во время которой ему раздробило ногу и руку, он так поправился...

Доктор Пуласки видел, как человек взмахнул рукой. Ему казалось, что взмахнул медленно, лениво, и он не сразу даже соединил это движение с взорвавшейся на щеке болью. Голова его дернулась назад так, что хрустнули шейные позвонки.

— Теперь скажешь, кто тебя подослал?

Сквозь облако боли доктор увидел сонные глаза, в которых не было никакого выражения.

Он опустилсся на колени.

— Клянусь вам, вы можете проверить! Я к вам прямо из больницы. Мне сказал, где они остановились, лейтенант Флешер из городской полиции. Он знает, что я поехал сюда.

— А это идея,— послышался второй голос, и из смежной комнаты вышел человек постарше.

«Господи,— страстно зашептал про себя доктор Пуласки,— спасибо тебе!»

— В каком смысле?

— Пусть полиция ищет их. Пусть помогут нам.

— А почему полиция будет искать их?

— Потому что в их номере будет найден труп, и убитцы, очевидно, они.

Слова никак не хотели проникать в сознание доктора Пуласки, потому что были чудовищны и несли в себе кошмар. Он открыл рот, чтобы закричать, но старший небрежно поднял руку и выстрелил, словно отмахнулся от надоедливой мухи.

— Это ты ловко придумал... Но ведь нас не устроит, если они попадут в лапы полиции.

— Об этом ты не беспокойся. Это я беру на себя. Если они их найдут, я буду знать об этом раньше кого-нибудь другого...

— Дейзи, уже два, а Питера нет...— Миссис Клевинджер зябко поежилась, хотя в комнате было тепло.

— Ну что ты, мама, волнуешься, сейчас придет. Что он, первый раз задерживается?..

— Я позвоню в школу. Занятия кончаются в двенадцать...

— Не надо звонить.

— Почему? Я места себе не нахожу.

— Потому что я уже звонила.

— И что тебе сказали?

— Питер ушел в двенадцать.

— От школы до дома десять минут. Что же делать? Что же делать? — На выцветших глазах миссис Клевинджер навернулись слезы. Она никогда не любила так собственных детей, как единственного внука. Воображение уже рисовало ей картину, как вот-вот распахнутся двери и внесут окровавленного Питера. Сшибла машина, упал, подрался... При нынешних нравах, когда кругом жестокость, кругом угроза, все враждебно и не знаешь, что принесет новый день, можно ждать всего.

— Перестань, перестань, мама! Не накручивай себя, ничего страшного не случилось.— Дейзи старалась говорить решительно, но ей это плохо удавалось. Еще четверть часа, дала она себе срок, и нужно будет идти искать мальчика. Священный Алгоритм, неужели же бабушка права и семилетнего мальчика даже днем нельзя отпустить одного в таком, казалось бы, спокойном ОП... И, как назло, муж будет только через три дня...

Раздался звонок, и обе женщины бросились к двери.

— Где ты был? — почти одновременно выкрикнули они.

— Кто? — спросил мальчуган.

— Как — кто? Ты. Посмотри на часы. Уже начало третьего.— Дейзи старалась говорить спокойно, но волнение еще не улеглось.

— Я катался, потом смотрел картинки.

— С кем? Какие картинки?

— С одним человеком. В его машине. А разве ты не знала? Он сказал мне, что договорился с тобой и с бабушкой.

Дейзи почувствовала, как ее снова начинает бить лихорадка. Никто с ней не договаривался. Миссис Клевинджер сердито сказала:

— Дейзи, почему ты мне не сказала?.. Кого это ты посылала за мальчиком?

— Я никого не посылала и ни с кем не договаривалась.

— Но... Отцы-программисты...

Резко зазвонил телефон. Дейзи сняла трубку.

— Слушаю.

— Миссис Дейзи Орланди? — спросил мужской голос.

— Да. С кем я говорю?

— Питер уже дома?

— С кем я говорю? — почти выкрикнула Дейзи.

— Не волнуйтесь, мадам. По моим расчетам, ваш мальчуган уже дома и волноваться вам нечего. Вам удобно говорить? — Голос звучал уверенно.

— Да. Но кто это?

— Неважно. Я был рад познакомиться с вашим сыном. Хороший парень... — Голос замолк, и Дейзи услышала лишь глубокий вздох. — Поверьте, мне было бы очень грустно, если бы с ним что-нибудь случилось.

— О чем вы говорите?

— Сегодня Питер задержался всего на два часа. Но ведь мог бы задержаться и больше... — Угрозы в голосе не было. Он просто сообщал то-то и то-то. — Поверьте, мы в этом совершенно не заинтересованы.

— Но что вы хотите? — Дейзи изо всех сил прикусила зубами нижнюю губу. Только бы не впасть в истерику. Дышать спокойно. Не торопиться. Питер ведь дома, с ним ничего не случилось.

— Мы хотим, чтобы вы поняли, как легко ваш Питер может задержаться. Даже если он и остался бы дома... Но этого никогда не случится, если вы согласитесь оказать нам небольшую услугу...

«Деньги, — подумала Дейзи, — будут требовать деньги».

— Что именно?

— Пригласите к себе отца и брата.

— Что? — Дейзи не верила своим ушам. Что это, слуховые галлюцинации?

— Оскар уже третий день, как приехал, а ни вы, ни

ваша мать до сих пор его не видели. Не слишком породственному, а?

— Но для чего?

«Может быть, все это дурацкая шутка?» — подумала Дейзи, но голос на другом конце провода не шутил.

— Вы попросите отца приехать к вам с Оскаром. Вы не видели его столько времени! Миссис Клевинджер тоже хочет видеть сына. Естественно? Вполне. Вот и всё. И Питер не будет опаздывать. Вы не пожалеете. Вы совсем не пожалеете... Уверяю вас, вы будете очень приятно удивлены. Вы и ваш супруг. Мы даем вам сроку три дня...

— Но я же не знаю, где сейчас Оскар.

Впервые за время разговора голос хмыкнул:

— Гм, вы, однако, шутница. Если бы вы знали, где Оскар, вы бы просто сказали нам.— В голосе прозвучала такая безграничная уверенность, что Дейзи содрогнулась.— Поэтому-то мы и хотим, чтобы вы уговорили отца привезти его к вам. Мы рассчитываем, что Оскар должен позвонить отцу.

— Но зачем вам Оскар?

— Ни за чем. Нам он не нужен. Совершенно не нужен. Даже наоборот. Просто хочется, чтобы вся ваша семья была в сборе. И чтобы вы сообщили нам, когда состоится эта встреча. Логично? Вполне.

— А... как я сообщу?

— О, не беспокойтесь, мадам! Мы будем звонить вам. Каждый день. Три дня срока. Нормально? Вполне. И будьте умницей. Не вздумайте кому-нибудь стукнуть о нашем разговоре. У вас чудный мальчуган, и было бы...

— Хорошо,— сказала Дейзи и положила трубку. Во рту у нее пересохло, но не было сил встать и налить себе стакан воды.

Она знала, что кто-то где-то похищает чьих-то детей, кто-то кого-то где-то шантажирует, кто-то кому-то угрожает. Она не могла в этом сомневаться — об этом писали и говорили каждый день. Но все это носило характер некой нереальности. Разумеется, это случалось, но не с такими людьми, как она. Конечно, она жалела жертвы, но жалость соединялась с долей брезгливости. Преступник и жертва — разве их не связывает нечто общее? Нет, нет, она никогда не считала, что жертвы сами виноваты

в том, что у них выкрадывают детей, их шантажируют, им угрожают, их обкрадывают, их убивают. Нет, конечно... И все же... с ней же этого не случается.

Случилось. С полос газет, с экранов телевизоров «это» прыгнуло к ней в дом. В ее тихий, уютный, любимый дом. «Это» было холодным, липким, парализующе-страшным. Крепость не устояла перед первой же атакой.

Зачем, зачем им нужен был Оскар? Что он им сделал? Едва только поправился после операции, чудом выжил после такой страшной катастрофы на монорельсе. А может быть, это связано с его прошлым? Мало ли, что он делал там, в университете... Совсем отдалился от семьи. Далекий, чужой. Когда бывал здесь, смотрел на нее непонятно, словно жалел. За что же ее жалеть? Он всегда был не теплым. Не близким. И с отцом всегда ссорился.

Для чего же он им? Кто знает, старые их споры, скорее всего. Может быть, политика. Скорее всего, политика. Просто хотят с ним поговорить. Скорее всего, хотят с ним поговорить. Может быть, припугнуть. Как он сказал? «Вы не пожалеете... Приятно удивлены...»

Где-то в самой глубине ее сознания мелькнула мысль, что если наследство делилось бы не на... Она чуть не закричала. Как, как такая мысль могла прийти ей в голову? Она же все-таки любит брата.

Она была уже взрослой девочкой, когда он родился. Вначале он вызывал у нее брезгливое любопытство — кричащий кусочек мяса. А когда через несколько месяцев он стал улыбаться ей, она могла смотреть на него часами. Умиленная, чувствующая себя сильной, большой, умудренной жизнью. Она была очень одинока. Отец всегда занят, всегда далек, хотя и добр. Мать несколько раз лежала в психиатрической клинике, а когда она была дома, то Дейзи должна была давать ей теплоту, опору. Не получать, а давать.

Но это было давно. Как и отец Оскар обладал способностью, даже находясь рядом, оставаться где-то далеко. Особенно когда уехал в университет.

Питер был не такой. Он весь в нее. Земной, близкий мальчуган. На секунду сама идея, что кто-то может даже захотеть отнять его у нее, наполнила ее ужасом.

Нет, нет, ничего плохого они Оскару не сделают. Ка-

кие-нибудь долги, что-нибудь в этом роде. Ему это даже пойдет на пользу, безусловно на пользу. Если у него нет денег, она даст ему. Незачем даже просить у отца, устраивать его. Все будет хорошо...

Она подняла трубку и позвонила отцу в Хиллтоп.

Глава 23

Оскар смотрел по телевизору какую-то дурацкую передачу с Луны, а я сидел в продавленном кресле Ника Дани и думал, что вовсе не нужно быть дипломированным бухгалтером, чтобы подвести кое-какие итоги.

В графе «расход»: спокойная жизнь полицейского монаха. Чувство приносимой пользы. Чувство чистоты. Чувство растворения в Первой Всеобщей Научной Церкви. Радость погружения. Разделение ответственности за любое важное решение с Машиной. Жизнь, построенная по Священному Алгоритму.

В графе «приход»: кошмары темной сурдокамеры и всей Новы. Въевшийся во все поры тягостный страх. Чувство мишени. Крошечная квартирка Николаса Дани, из которой я боюсь даже высунуть нос. И Оскар.

Но что из чего выцесть, чтобы получить сальдо? Что важнее? Если не Оскар, все было бы ясно. Чистый и безусловный проигрыш. Стопроцентный проигрыш. Но это существо, смотрящее сейчас с разинутым ртом за стартом грузовой ракеты с Луны, несколько усложняет расчеты. Я могу представить себе многое. Единственное, чего я не могу себе представить,— это себя без Оскара. Без семидесятипятикилограммового Оскара с детски-круглыми от удивления глазами. Бреющегося Оскара, спрашивающего меня, кто жужжит в электрической бритве. Не что, а кто. Оскара, который любит молчаливую девчушку по кличке Заика. Оскара, которого я незаметно для себя стал называть «сынком».

Сынок сыном, а нужно было что-то решать. То, чего я более или менее успешно избегал всю жизнь. Решать. Мы сидим второй день в этом курятнике и смотрим телевизор. Еще день-другой — и уже не один Оскар, а мы оба превратимся из людей в слепков. Но больше, к сожалению, делать нечего. Я боюсь даже выглянуть из квартиры. Наверное, это психоз. Плата за Нову. Стоит мне

закрыть глаза, как я вижу красный мебельный фургон. Филипп Чейз. И серенький приземистый «джелектрик». И самое гнусное заключается в том, что никакой стопроцентной уверенности в реальности моих страхов у меня нет. Но я не могу позволить себе проверить, мишень ли я, подставляя себя под выстрелы.

Единственный способ, который приходит мне в голову, — это узнать, навевался ли кто-нибудь за нами в «Сансет вэлли». Если да, значит, нас ищут. Если нет, фирма Филиппа Чейза вполне добропорядочна. В таком случае я готов каждые полгода менять квартиру, лишь бы почаще иметь удовольствие видеть длинный красный фургон.

Но идти самому в гостиницу, не говоря уже об Оскаре, — значит пригнуть голову, зажмурить глаза и на четвереньках влезть в мышеловку. Они могут поджидать меня и в вестибюле, и в номере, и на улице. Когда человеку хочется спокойно спать у себя в Нове, убив накануне очередное бессловесное существо, и у него есть деньги, он сделает все, чтобы ему не мешали. В таких случаях даже скупердяи бывают щедры.

Попросить съездить туда Генри Клевинджера? Абсурдная идея. Абсурдная со всех точек зрения. Можно отбросить ее сразу же. Он ничего не поймет. Ему ничего нельзя будет объяснить. Его слишком хорошо знают.

Послать Николаса Дани? Это значит подвергнуть опасности человека, с которым связаны единственные планы на будущее. Если кто-нибудь и может совершить налет на Нову, то это телеразбойники. К тому же, пока Ники хранит у себя оригиналы фото и пленки, у меня есть хоть какая-нибудь надежда.

Остается Первая Всеобщая. Если я вознесу молитву Машине, она безусловно тут же распорядится, чтобы просьба моя была выполнена. Мне не хотелось этого делать. Дело не в том, что я уже два с половиной месяца не вознес ни одной информационной молитвы. За исключением последних двух дней я и не мог бы этого сделать. Просто... просто... Впрочем, не совсем просто. И дело во всем не в сомнениях. Обязательные сомнения предписаны Алгоритмом. И не в том, что я не мог совершить за все это время ни одного погружения. В жизни каждого прихожанина Первой Всеобщей бывают периоды, когда он выпадает из гармонии. И это предусмотрели отцы-про-

граммисты. Дело было в другом. Один из важнейших принципов налигии гласит: стремление к налигии не менее важно, чем сама налигия. Так вот, у меня больше не было ни налигии, ни стремления к ней. Оставалось лишь чувство потери чего-то очень привычного. Но оно не тяготило меня, это чувство...

И все-таки нужно было вознести молитву. Машина простила бы меня, если бы знала, зачем я ее обманываю.

Я набрал в легкие побольше воздуха и нырнул в телефон. Я назвал себя, сообщил, где я, коротко объяснил, почему не на предписанном месте в общежитии помонтов, и попросил, чтобы какой-нибудь помон осторожно проверить в «Сансет вэлли», не интересовался ли кто-нибудь мною или Оскаром Клевинджером. Машина молитву приняла, сообщила ее регистрационный номер и попросила спокойно подождать.

Что я и сделал, снова погружившись в продавленное кресло Ники. На мгновение меня охватило ощущение, что я уже погружался в продавленное кресло. И недавно. И тоже было ожидание. И вдруг я вспомнил... Вестибюль дрянной гостиницы, в которой я нашел убитого стражника. Вязальщица с необыкновенным голосом. Я утонул в кресле и ждал полицию. Но тогда я был спокойнее. Я ни от кого не прятался. Я еще не знал, что уже был мишенью. Теперь я знал.

Я встал и подошел к окну. С вечерней улицы сквозь плотно закрытые рамы доносился обычный городской гул. В комнате было жарко, и стекло слегка запотело. Я провел по нему пальцем. Потом расширил ручеек, потом сделал из него речку и сквозь нее увидел красный фургон «Перевозка мебели. Филипп Чейз». И серенький приземистый «джелектрик». Они остановились около дома, и из легкой машины быстро вышли двое. И направились к входу.

В голове у меня кувыркалось одно слово: «Быстрее!» Больше не было ничего.

— Оскар! — крикнул я. — Быстрее! Быстрее!

Я буквально вытащил его из квартирки, успев по дороге сунуть в карман пистолет. Лифт был занят. Может быть, уже ими. Скорей всего, ими. Они, должно быть, деловито проверяют пистолеты и перекладывают их в карманы пальто. Лица их напряжены. Но, в общем, буднич-

ны. Работа. Обычная работа. Ну, может, немножко и опаснее, но ведь и платят неплохо.

Бежать по лестнице вниз? А если и там ждут? Возникнуть в подъезде идеальной мишенью? Из «Перевозки мебели» так удобно заранее прицелиться...

Оставался один путь — наверх. На каждом из двух верхних этажей по три квартиры. Где-нибудь закрыто, куда-нибудь не пустят. И правильно сделают, потому что люди Филиппа Чейза привыкли ходить по квартирам. Они ведь перевозят мебель. Они знают, как разговаривать с людьми.

Ну что же, может быть, их остановит то, что я скажу им про оригиналы? Вряд ли. Они, наверное, из тех, что сначала стреляют, а потом думают.

Последний этаж. Есть ли чердак?.. Отцы-программисты... Есть. Только бы дверь была не заперта.

Она была заперта.

— Пусти... — прошептал Оскар. Он ничего не спрашивал. Он держался молодцом. Он ударил в дверцу плечом и вышиб ее.

Мы бежали по мягкой пыли почти в полном мраке, натываясь на трубы, на какой-то хлам. Единственное окошко вспыхивало оранжевыми отблесками рекламы.

— Куда мы бежим? — пробормотал Оскар, и я вдруг сообразил, что бежать нам некуда. Хорошо, если бы к окошку вела пожарная лестница. Что было бы, если бы ее не было, я подумать не успел, потому что услышал голос:

— Я посмотрю на чердаке. Тут как будто дверь открыта.

Другой ответил:

— Давай, а я закончу с квартирами.

Молча я придавил Оскара вниз. В пыль. В грязь.

Он понимал. Он знал, что такое страх и как нужно притаиться.

— У, черт! — пробормотал голос, и я понял, что он ударился обо что-то. — Хорошо бы фонарик...

Голос был хриплый, сонный, спокойный. Голос охотника. Не жертвы, а охотника.

Он щелкнул зажигалкой, и я увидел его лицо. В желтом пятнышке слабого света оно показалось мне задумчивым и сосредоточенным. Почти привлекательным. Лицо человека, думающего, как бы убить себе подобного.

Он приподнял зажигалку, чтобы лучше было видно, и я понял, что еще два-три шага — и он увидит нас. Теперь мишенью был он. Я медленно поднял пистолет. Нас, помонов, учат употреблять оружие как можно реже, но когда нужно его употребить, мы знаем, как это делать.

Я затаил дыхание и плавно, не дергая, нажал на спуск. Выстрел был оглушительным. Выстрелы всегда звучат особенно громко в тесном помещении.

— Эй, что там? Они? — слышался голос с лестничной площадки.

— Они! — сдавленно крикнул я.

Дверной прямоугольник осветился, и тут же свет заслонила фигура. Я выстрелил. Удивительно, как охота на человека притупляет у охотника чувство опасности. Этим двум, наверное, и в голову не приходило, что намеченные жертвы могут поменяться с ними ролями. А впрочем, если бы они это представляли, они бы не перевозили мебель для Филиппа Чейза.

— Помогите мне... — шепотом попросил я Оскара. — Поищи около первого зажигалку — он держал ее в руке, — где-нибудь около него. А я займусь вторым.

Чердачное окошко по-прежнему ритмично освещалось оранжевыми всполохами. Я переступил первого и осторожно пошел на светлый прямоугольник двери. Я не боялся, что промахнулся. На таком расстоянии я не промахиваюсь.

Он лежал, уткнувшись лицом в бархатистую чердачную пыль. Но это было не страшно. Задохнуться он не мог. Потому что был мертв. Совсем мертв.

— Нашел зажигалку, — громко прошептал Оскар. — Вот она.

— Хорошо. Зажги ее.

— Как?

— Ну, нажми кнопку. Посмотри сам.

— Зажег.

— Человек умер? Ты ведь теперь знаешь, что такое умереть?

— Да, Дин. У него дырка во лбу.

Что делать дальше? Красный фургон все еще внизу. Они, наверное, уже нервничают: куда девались двое из «джелектрика»? Они прикуривают новые мариси от старых и глубоко затягиваются. Скоро два-три человека

поднимутся наверх. Теперь они будут напуганы. Они будут прислушиваться к каждому шороху. Они будут знать, что мы здесь, в этом новом ковчеге, потому что в нем только что исчезли двое их товарищей. Они оставят коллег у подъезда и будут действовать методично и неторопливо. В конце концов они придут и на чердак. С фонариками.

Мне пришла в голову дурацкая мысль. Переодеться в одежду убитых и нагло спуститься вниз, рассчитывая, что они не сразу определяют, кто мы. Увы, так бывает только в фантазиях. Оставалось чердачное окошко. Я пошел на рекламные всполохи. Стекло едва пропускало свет. Последний раз его мыли, должно быть, перед второй мировой войной. Я дернул изо всех сил, и рама со скрипом распахнулась. Ворвался холодный воздух, и я постарался вздохнуть поглубже, чтобы хоть как-то успокоиться и оценить наши шансы.

Окно выходило на крышу. Я положил руки на подоконник, подпрыгнул, вышел в упор и оказался на крыше, обнесенной проржавевшим металлическим парапетом. Ветер пронизывал меня без малейших усилий, я с трудом унял дрожь и огляделся в поисках пожарной лестницы. Я знаю, как устроены пожарные лестницы в старых домах. Мое детство прошло на такой лестнице. Она была клубом, цирком и кафе. С нее я хотел прыгнуть, когда жизнь показалась мне невыносимой. Около нее я впервые увидел пактора Брауна.

Справа от себя сквозь гребенку парапета с выломанными зубьями я увидел рожки пожарной лестницы, загигавшиеся внутрь, на крышу.

— Оскар! — позвал я, всунув голову в окошко. — Вылезай.

Он держался молодцом. Ни паники, ни лишних вопросов. Может быть, потому, что он плохо понимал, что происходит. А может быть, он понимал это лучше меня.

Мы подошли к лестнице. Она выходила во двор. Ветер принес откуда-то мелкую водяную пыль. Он швырял ее пригоршнями в мигающий свет рекламы зубной пасты, высвечивал ее.

— Ты не побоишься спускаться? — спросил я Оскара.

— Нет, Дин. Не побоюсь.

Он боялся. Я почувствовал это и по его голосу, и по легкой дрожи, которую ощутил, коснувшись его руки своей. Это было хорошо. Он боялся и пересиливал страх.

— Я полезу первым, ты за мной. Что бы ни происходило, не отпускай лестницу. Если со мной что-нибудь случится, позвони Генри Клевинджеру в Хиллтоп. Придется тебе тогда остаться Оскаром...

— Нет,— прошептал Оскар,— с тобой ничего не может случиться, ты ведь мой... мой покровитель.

Я взялся руками за лестницу. Ржавое железо было холодным и мокрым. Я отпустил одну руку и посмотрел на ладонь. Она была темно-коричневой. Ржавчина.

Я спускался осторожно, тщательно нащупывая ногой каждую перекладину. Я особенно не боялся, что меня кто-нибудь заметит из окон,— было темно, шел дождь, какой идиот будет смотреть в окно... Зато смотрел я. Сквозь неплотно задернутые занавески в теплых светлых мирках я видел людей, которые не лазили по мокрым и ржавым лестницам. Они сидели у телевизоров, ели, разговаривали.

Вдруг я не нащупал ногой очередной перекладины — очевидно, она была выломана. А может быть, вообще лестница обрывалась. Я поднял голову. Оскар спускался медленно, так же как и я нащупывая ногами перекладины.

— Оскар...— тихо позвал я, и он замер надо мной.— Осторожнее. Одной перекладины не хватает.

Я крепко сжал руками перекладину, за которую держался, и попытался дотянуться ногой до следующей опоры, но не мог. Оставался один способ. Я обхватил боковую стойку, всем телом прижался к ней и начал осторожно опускаться. Мне показалось, что вот-вот руки соскользнут с мокрого, ржавого металла, и я на секунду коснулся стойки щекой, уловил ее запах.

Наконец я нащупал перекладину. Я перевел дух. Удивительно избирательно все-таки работает мозг, подумал я. Спуститься с лестницы — и больше ничего. Фильтры срезали крайности — до и после. А опасность могла подстерегать нас и сверху и снизу.

Вот наконец и последняя перекладина. Я огляделся. Двор был пуст. Освещенные окна отражались в мокром асфальте.

Я спрыгнул и подождал Оскара. Даже в полумраке

двора видна была потемневшая от влаги пыль на его лице. Да и я, наверное, выглядел не лучше. Я быстро намочил платок в лужице, вытер лицо и протянул платок Оскару.

И снова надо было решать. Попытаться спрятаться где-нибудь во дворе или рискнуть выбраться на улицу. Все зависело от того, нашли ли уже люди снизу своих двух товарищей. Этого я не знал. Я автоматически поднял голову и в рекламной оранжевой вспышке увидел человека на крыше. Он смотрел вниз.

Я схватил Оскара за руку, и мы кинулись к выходу — небольшой арке. Каждая клеточка моего тела напряглась, ожидая, что сейчас, в следующее мгновение тишина двора взорвется грохотом выстрелов.

Мы нырнули под арку и оказались на улице. Я знал, что бежать нельзя, нельзя привлекать внимание, но ноги не слушались. Они взбунтовались против приказа двигаться медленно и чинно. Мы бежали минут пять, не меньше. Я хватал воздух широко открытым ртом, но его никак не хватало, чтобы наполнить легкие. Сердце колотилось о ребра так, что оно или ребра вот-вот должны были разбиться.

И тут возникло такси. Подарок судьбы. Самый желанный в ту секунду подарок. Островок безопасности. Крепость на четырех колесах, в которой можно перевести дух.

— Смотрю, бегут,— покачал головой водитель, когда мы в изнеможении рухнули на заднее сиденье.— Промокли, значит, или от нарка какого-нибудь дали деру...

— Их там, по-моему, и не один был,— пробормотал я.— Будьте добры к «Оку».

— Хоть и не выезжай с темнотой. Никто на улицу носа не кажет. За целый час вы одни...

Охранник в штабквартире «Ока» с сомнением оглядел нас и хмыкнул. Должно быть, мы выглядели не слишком элегантно. Впрочем, их телеразбойники, бывало, возвращались после своих налетов и в более непристойном виде.

Ники только ахнул, увидев нас.

— Что случилось? — спросил он.

Я рассказал о том, что произошло за последний час.

— Но как они узнали, где вы? — недоуменно пожал

Ники плечами.— Клянусь, я не проговорился ни одному человеку. Вы не выходили на улицу. Никому не звонили.

— Я звонил,— сказал я.— Я вознес молитву Машине. Ты ведь знаешь, как мы молимся в Первой Всеобщей... Я просил, чтобы она послала кого-нибудь в «Сансет вэл-ли» проверить, не интересовались ли там нами... Я сообщил Машине, где мы.

Я замолчал. Меня охватило оцепенение. Я слышал, как Ники вышел, захлопнул дверь и щелкнул замком. Я слышал, как скрипнул стул под Оскаром. Я слышал свое дыхание — оно все еще не могло успокоиться. Но я не мог собрать свои мысли. Они не слушались меня, не подчинялись моим жалким попыткам собрать их в послушное стадо. Только мне казалось, что вот-вот я ухвачу за хвост хоть одну из них, как она неторопливо уворачивалась, и я снова ничего не понимал.

Никто не знал, кроме Машины. И людей Филиппа Чейза. Сначала узнала Машина, а потом люди из красного фургона и серенького «джелектрика». Вот над логическим соединением этих двух фактов и бился безуспешно мой парализованный мозг.

Я знал, я чувствовал, что соединить эти два звена совсем не трудно, но мозг выставлял свою охрану. Он не хотел расставаться с тем, во что еще совсем недавно верил. Он храбро сражался против фактов, но силы были неравны. И он сдался.

Я почувствовал странную, холодную пустоту. Сначала узнала Машина, потом люди Филиппа Чейза. Так же, как два с половиной месяца тому назад Машина знала, что я буду разыскивать стражника ОП Семь. Знала и предупредила тех, кому не нужно было, чтобы я его нашел. Знала и предупредила и Генри Клевинджера, чтобы он приготовился к моему визиту. А теперь выдала меня перевозчикам мебели.

Отцы-программисты! Машина, мозг наливии и центр Первой Всеобщей Научной Церкви, сообщала об инлитвах прихожан банде корыстных убийц... Ей же свято верят сотни тысяч людей... Священный Алгоритм... Информационные молитвы, которыми торгуют... Сколько, интересно, должны были перечислить люди Филиппа Чейза на счет Священного центра за информацию, где я? Впрочем, какое это имело значение...

Отцы-программисты были правы. Вера живет, пока есть сомнения. У меня уже не было сомнений.

Я вдруг увидел грустную улыбку пактора Брауна и услышал его голос: «Не слишком старайся, запасая себе идеалы. Товар это скоропортящийся...»

Я, должно быть, задремал сидя. Я чувствовал, как затекла шея, как голова клонилась на грудь. Я вздрагивал, распрямлялся и снова начинал клевать носом. Я знал, что дремлю, что надо было встать и разогнать сон, но здесь, в дремоте, был еще старый, привычный мир, мир обжитый, а явь принесет холодную, непоправимую ясность сознания утраты этого мира.

Наконец я окончательно проснулся. По затекшей ноге бегали мурашки. Оскар спал, положив голову на стол. Лицо его подрагивало. Наверное, ему что-то снилось. У него более чем достаточно отличных тем для снов, от которых вздрагиваешь во сне.

Щелкнул замок, и вошел Ники.

— Ну-ка, убийца,— радостно крикнул он мне,— включи-ка телевизор!

Новости «Ока» уже начались. Голос диктора дрожал от возбуждения:

— ...полагают, что убийца или убийцы скрылись через пожарную лестницу...

В кадре появилась покачивающаяся мокрая крыша. Она по-прежнему отражала оранжевые рекламные всполохи.

«Клянусь,— твердо сказал я про себя,— что отныне всегда буду чистить зубы только зубной пастой «Ориндж».

— ...Есть основание считать, что убийство представляет обычное сведение счетов двух враждующих шаек. «Око» сообщит зрителям дальнейшие подробности, как только они станут известны.

— Как? — спросил горделиво Ники.— А если бы ты видел начало... Мы втащили на чердак свет. Кровь на серой пыли выглядит почти черной...

— Какого цвета, интересно, твоя кровь?

— У нас нет крови. Мы на транзисторах... Вот что, Дин, у меня появилась идея, как узнать у Клевинджера координаты Новы. Надо сказать ему, что у Оскара резко ухудшилось состояние. Если он будет сомневаться, можно устроить им свидание. Это я беру уже на себя...

— Доктор Халперн,— сказал Грейсон,— я просил вас прийти, чтобы обсудить создавшееся положение...

Голос Грейсона звучал тускло, веки набрякли, и он то и дело потирал их пальцами. Он выглядел на десять лет старше, чем обычно. Он посмотрел на помощника.

— Какое положение? — настороженно спросил Халперн. С доктором Грейсоном никогда не знаешь, что он имеет в виду. В лагере, слава богу, кажется все в порядке. Через день-другой предстоит рождение.

На следующую неделю намечены две операции: пересадка сердца и полная.

— Я только что получил отчет оттуда. До сих пор Ди-на Дики и Лопо ликвидировать не удалось.

— Не может быть... Филипп Чейз не такой человек, чтобы...

— На этот раз он оказался таким человеком... Сначала всё шло хорошо. Они остановились в «Сансет вэлли», как мы им рекомендовали, и вскоре отправились в Топхилл к Генри Клевинджеру. Если вы помните, мы просили Чейза, чтобы он ничего не откладывал и постарался ликвидировать их на обратном пути. Перед самым выездом на шоссе они вдруг повернули обратно и вернулись к Клевинджеру. Чейз клянется, что они ничего не могли узнать, что вся подготовка была проведена самым тщательным образом. Но факт остается фактом, они бросили машину.

— Но они как-то выбрались из Топхилла или сидят там до сих пор?

— По-видимому, они вызвали аэротакси.

— Но они вернулись, черт их драл, в гостиницу? — Халперн набрал в легкие побольше воздуха и медленно выпустил его. Он всегда делал так, когда хотел успокоиться.

— Они не вернулись в гостиницу. Чейз связывался с Машиной каждые полчаса, но Дики не возносил ни одной инлитвы... так, что ли, называется у них их информационная молитва... Вместо них в гостинице появился какой-то врач. Идиот видел встречу Лопо с Генри Клевинджером по телевидению; до этого он знал, в каком состоянии был Оскар Клевинджер после катастрофы. Хотел увидеть чудо исцеления. Его убрали.

— Неужели их так и не нашли? Почему Дики не возносил инлитвы? Не мог же он знать, что Чейз абонирован на справочную службу Машины. Ему это, кстати, влетает в полмиллиона в год.

— В конце концов Дики все-таки вознес инлитву. Он действительно что-то подозревал и просил, чтобы Машина послала кого-нибудь в гостиницу проверить, не интересовались ли им...

— Я уж начал было волноваться,— признался Халперн.

Напряжение разом покинуло его. Он откинулся на спинку кресла и привычным жестом скрестил на животе толстые пальцы.

— И рано перестали,— сухо сказал доктор Грейсон. Он помассировал кончиками пальцев веки.— Чейз был на месте через десять минут. Но Дики и Лопо удрали через чердак, убив сначала двух человек... В квартире, где они скрывались, нашли фото Новы, слепков и магнитную пленку.

— Слава богу!

— Не богу! — вдруг крикнул Грейсон.— Вам! Кто должен был проследить за досмотром их вещей? Кто? Вы отвечаете за это! Вы! Вы!

— Но ведь фото и пленка в наших руках...

— Копии! Понимаете вы, идиот,— ко-пи-и! И знаете ли вы, кретин, где оригиналы? По-видимому, у «Ока». Разбойники «Ока» были на чердаке со своими камерами раньше полиции. Им мог сообщить только Дики. Вы понимаете, что это значит?

— Они не рискнут,— неуверенно пробормотал Халперн.— И потом, они не знают наших координат...

— Знают, Генри Клевинджер дал им.

— Что же делать? Что же делать? — Халперн судорожно вздохнул и подумал: «Завертелся наш гений... Сколько у меня уже в банке? Почти четыреста тысяч... Надо подумать, как смотать отсюда удочки... В общем, неплохо, что я не стал обыскивать Дики при отлете... Как чувствовал. В случае чего это тоже сыграет свою роль...» — Как же мы ошиблись в Дики,— пробормотал он вслух.

— Мы? И вы еще осмеливаетесь говорить «мы»? Это была ваша идея. Ускоренный метод промывания мозгов! Промыли, нечего сказать!

— Но ведь вы одобрили эксперимент. Вы вывели его из сурдокамеры. Вы хотели привязать его к себе...

— Послушайте, Халперн,— тихо, с угрозой в голосе сказал Грейсон,— вы забываетесь. Вы забыли, кем вы были. Я вас вытащил из тюрьмы, и там, видно, вы все-таки окончите свои дни... Через два часа соберите всех слепков и всех сотрудников Нову, всех без исключения, в кинозале. Предварительно поставьте туда два или три мощных заряда взрывчатки. Добавьте несколько баллонов с газом Р-4. Подсоедините к ним небольшие взрыватели. Когда все будут в сборе, вы включите ток. Через четыре часа мы будем с вами в порту, а там... Идите. И побыстрее.

Доктор Грейсон уперся головой в ладони. Боже, как он устал! Лечь бы, вытянуться, так, чтобы косточки хрустнули. И заснуть. Как спят обычные люди. Кто не знает бремени ответственности. Кого не давит груз гения.

Погубить такой мир... Погубить Нову — его детище, его любовь. Нову — модель лучшего мира. Модель нового мира...

Ему не было жалко людей. Ни сотрудников, ни слепков. Он не был жесток, просто он не воспринимал их как отдельных индивидуумов. Они были кирпичиками, из которых он построил Нову. Не больше. Он понял бы, если бы ему сказали, например, что доктор Салливан не хочет умирать. Но понял бы абстрактно, как понимают абстрактную формулу. Он просто не ассоциировал чужие чувства со своими. Разные величины. Чувства кирпичиков и чувства гения.

Он не желал никому зла, не хотел никому причинять страданий. Он просто хотел строить мир так, как хотелось это ему, его гению.

Ему было бесконечно жаль себя. Столько потратить сил и бросить все. Чтобы потом начать снова. Что ж, таков удел всех гениев. Они ведут за собой мир, давая ему новые нормы и новую мораль, но рано или поздно должны уйти.

Он подумал о смерти, о том, что операция замены не решает всего, что стареет не только тело, но и мозг. Да, он научился воздействовать на гипоталимус, но старение стоголаво... Пока он не найдет подлинного бессмертия, он будет знать, что не исполнил своей миссии.

Доктор Грейсон посмотрел на часы. Надо было вставать. Идти. Лететь. Жить. Работать. Нести бремя. Без славы, без изумленных возгласов толпы, без жалких ничтожеств, из которых строит свои коралловые рифы наука. Самому. Одному. Потому что в нем было все и никто ему не был нужен.

Доктор Халперн смотрел, как тянулись через площадь люди и слепки. Слепки брели отдельно, подгоняемые покровительницами и стражниками.

Сначала дать газ, потом взрывчатку... Никто в мире, наверное, не знает, что он, доктор Халперн, работал здесь. И не узнает. Даже доктор Грейсон. И до порта он не доберется. И в самолет не сядет, уж он об этом позаботится. Он ощутил в кармане тяжесть пистолета. Посмотрим, кто умней...

Откуда-то издалека донесся рокот самолетных двигателей. «Неужели же Грейсон? — вздрогнул Халперн. — Нет, не может быть. Он же здесь. Но кто же там, на аэродроме? Все же вызваны сюда».

Рокот усилился, и Халперн уже знал, что это не Грейсон, и не их самолет, что случилось нечто такое, чего боялся доктор Грейсон. Он опоздал. Не рассчитал гений. Ошибся. Это он, Халперн, предупредил взрыв. Воспрепятствовал дьявольскому плану... Бежать или остаться? Может быть, схватить Грейсона? Человек, который вынужден был под угрозой работать на хозяина Новы, но в решающий момент спас людей и слепков и помешал бегству чудовища...

Первый самолет начал поворачивать двигатели, и столбы пламени ударили вниз, к земле. На мгновение самолет повис в воздухе, а потом начал опускаться. Коснулся земли, и тут же из него начали выскакивать люди.

Заика боязливо отняла пальцы от ушей. Грохот стих, но появился второй самолет.

Рев, толкотня, кто-то бежит, кричит, падает... Она сжалась.

Спрятаться. Стать маленькой. Она закрыла глаза и вдруг сквозь шум услышала голос:

— Заика!

Голос мог принадлежать только одному человеку.

Может быть, не открывать глаза, и тогда голос еще раз назовет ее имя? Но голос больше не звучал.

Он дотронулся до ее щеки пальцем, провел по ней, и она, не открывая глаз, прижалась к его груди.

Это был один из самых трогательных кадров в передаче «Люди и слепки», показанной «Оком».



СОДЕРЖАНИЕ

БЕЛОЕ СНАДОБЬЕ	5
ЧЕЛОВЕК ПОД КОПИРКУ	213



Для старшего возраста

Зиновий Юдович Юрьев

БЕЛОЕ СНАДОБЬЕ

Ответственный редактор *Н. М. Беркова*. Художественный редактор *Т. М. Токарева*. Технический редактор *Л. П. Костинова*. Корректоры *Г. Ю. Гнетова* и *Е. Б. Кайрукцис*.

Сдано в набор 1/X 1973 г. Подписано к печати 23/IV 1974 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типогр. № 2. Печ. л. 11,5. Усл. печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 19,87. Тираж 100 000 экз. А 03762. Заказ № 1447. Цена 74 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, Сушевский вал, 49.

Юрьев З. Ю.

Ю85 Белое снадобье. Научно-фантастические роман и повесть. Рис. В. Высоцкого. М., «Дет. лит.», 1974.

367 с. с ил. (Б-ка приключений и научной фантастики).

«Белое снадобье» З. Юрьева состоит из научно-фантастического романа того же названия и научно-фантастической повести «Люди под копирку». Оба произведения, изобилующие острыми приключенческими и детективными эпизодами, связаны общей темой: деградация буржуазного общества и место в нем честного человека.

P2





21

74 коп.